Цена 1 руб. 50 к.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“

МОСКВА, 9, Тверская, 48.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1929 г.

на ежемесячный философский и общественно-эконом. журнал

„Под Знаменем Марксизма“

8-й год издания.

Журнал выходит под редакцией: А. М. ДЕБОРИНА, А. А. МАКСИМОВА, М. Н. ПОКРОВСКОГО, Я. Э. СТЭНА, А. К. ТИМИРЯЗЕВА.

Отв. редактор **А. М. ДЕБОРИН.**

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» имеет перед собою задачу защиты ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

В своей статье, ставшей для журнала программной, В. И. ЛЕНИН подчеркивал боевое для дела революции значение поставленных перед журналом задач и его величайшую важность, как идейного проводника воинствующего материализма.

В наши дни, когда к этим намеченным В. И. Лениным задачам журнала прибавилась, как важнейшая задача—борьба с ревизией теоретических основ марксизма и ленинизма, значение журнала выросло еще более.

В журнале принимают участие видные марксисты, коммунисты и беспартийные ученые материалисты.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» имеет постоянные отделы: Ленин и ленинизм, актуальные проблемы философии диалектического материализма, история материализма, современные течения философской мысли, исторический материализм, статьи по вопросам теоретической экономии, статьи по теории советского хозяйства, история социализма, вопросы литературы и искусства в материалистическом освещении, психология и марксизм, диалектика и естествознание, дискуссионный отдел, критика и библиография, отдел переписки с читателями, сообщения и заметки.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» рассчитан на активных работников партии, преподавателей и слушателей комвузов, вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на 1 мес.	1 р. 50 к.
» 3 »	4 р. 25 к.
» 6 »	8 р. — к.
» 12 »	15 р. — к.

Цена отдельн. номера—1 р. 50 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в Главной Конторе Издательства «Правда» и «Беднота» (Москва, 9, Тверская, 48) и во всех провинциальных отделениях и представительствах «Правды».

Центр. бюро по распространению

2384о

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 6

ИЮНЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“

МОСКВА — 1-9-2-9

Содержание вышедших из печати номеров.

№ 1.

Ст. Кривцов.—Проблема стихийности и сознательности в ленинизме. Вл. Бонч-Бруевич.—Женевские воспоминания. Ф. Шиллер.—Франц Меринг. Л. Зивельчинская.—Готгольд Эфраим Лессинг. В. Позняков.—Марксовы схемы воспроизводства и производство золота. Э. Брегель.—Об одной неудачной вылазке (к понятиям денежного и ссудного капитала у Маркса). С. Горловский.—Борьба течений в германской социал-демократии в первые годы эпохи исключительных законов. Д. Джинс.—Физика вселенной. Р. Миллькэн.—Полезная энергия. КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ. Ф. Энгельс.—Положение рабочего класса в Англии в 1844 г. Паркер Томас Мун—Империализм и мировая политика. «Николай Гаврилович Чернышевский. 1828—1928 г. Неизданные тексты, материалы и статьи».

№ 2—3.

Ник. Карев.—Л. Аксельрод на пути от материализма к позитивизму. К. Виттфогель.—Геополитика, географический материализм и марксизм. Н. Цаголов. К пониманию марксовой теории кризисов. Вл. Дунаевский.—Закон трудовой стоимости при капитализме в «Очерках» И. Рубина. В. Погонкин.—О пределах морального снашивания в хозяйстве капиталистическом и в хозяйстве социалистическом. Ц. Фридлянд.—О борьбе за марксистскую историческую науку в СССР. Я. Захер.—Конец Жака Ру. С. Горловский—Борьба течений в германской с.-д. в первые годы эпохи исключительных законов. В. Гриб.—О принципах построения марксистской эстетики. В. Боровский.—Роль инстинктов в поведении человека. П. Вальден.—Значение велеровского синтеза мочевины, с предисл. А. Максимова. З. Цейтлин.—Внутреннее строение звезд. КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ. И. А. Трахтенберг.—Современный кредит и его организация, ч. I. Теория кредита. Dr. Willy Hirsch.—Grenznutzentheorie und Geldwerttheorie. Труды секции теории и методологии. Институт археологии и искусствознания. Вып. II «La Rewue Marxiste», № 1, 1929. Paris.

№ 4.

Гр. Баммель.—Ленин и проблема логики в марксизме. В. Асмус.—Формальная логика и диалектика. М. Фурщик.—К. Каутский и диалектический материализм. И. Рубин.—Диалектическое развитие категорий в экономической системе Маркса. Гр. Деборин.—Предмет политической экономии в современных спорах. Е. Ривлин.—Проблема революции в германской социал-демократии в первые годы после падения исключительного закона. П. Серебровский.—Дарвинизм и «дарвинизм». КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ. К. Маркс.—Нищета философии. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Под редакцией Д. Рязанова. В. Зомбарт.—Современный капитализм, т. III, ч. 1. Пугачевщина, т. II. Из следственных материалов и официальной переписки. Фриц Кристман.—Биологическая причинность. Исследование по вопросу о преодолении противоположности механизма и витализма.

№ 5.

Передовая.—Новый этап. Резолюции II Всесоюзной конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений. К. Шмюкле.—Заметки по поводу «возрождения Гегеля» в Германии. П. Кучеров.—Практика, как единство суб'екта и об'екта. Ник. Карев.—К вопросу о предмете политической экономии. И. Рубин.—Диалектическое развитие категорий в экономической системе Маркса. Е. Ланде.—Механистический метод и обоснование теории стоимости. Я. Захер.—Идеология «бешеных». I Всесоюзное совещание обществоведствующих материалистов-диалектиков. Резолюции совещания. КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ. Летописи марксизма, вып. I—VIII, К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинение, т. II. С. А. Оранский. Основные вопросы марксистской социологии, т. I. Альберт Матьез. Термидорианская реакция. Ц. Фридлянд. История Западной Европы.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

ИЮНЬ № 6 1929

СОДЕРЖАНИЕ.

К. ВИТТФОГЕЛЬ.—Геополитика, географический материализм и марксизм (статья II) (1). *З. АЛЛАС.*—К теории банковского кредита. (Капиталоаккумуляция и кредитная эмиссия (30). *Г. МОГИЛОВ.*—Проблема рыночной стоимости у Маркса (59). *А. ОСТРЕЦОВ.*—К вопросу о диалектике художественного процесса (86). *Н. КУРМАНОВ.*—Рефлексология или психология (127). *Акад. Н. ВАВИЛОВ.*—Географическая локализация генов пшеницы на земном шаре (146). *В. РУЗАИН.*—Проблема материи в новейшей естественно-научной и философской литературе (156). КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: *Е. КАГАНОВИЧ.*—И. Петров и И. Степанов. Предметный указатель к первому тому „Капитала" Маркса (184). *А. РЕЗЭЛЬ.*—С. Гурвич и В. Позняков. „Заработная плата. Теоретические основы и современные проблемы (189). *А. ОСТРЕЦОВ.*—Л. Зивельчинская. Опыт марксистск го анализа истории эстетики (193). *М. БАИЧ.*—Проф. Г. Е. Шумков. Основы эволюционной персоно-рефлексологии, со схемой по изучению личности человека (197).

Геополитика, географический материализм и марксизм.

Статья II [1]).

К. Виттфогель.

1. Географический материализм как научное орудие буржуазной революции.

В первой части нашего исследования мы назвали современных геополитиков эпигонами географического материализма. На каком основании? Каковы были особенности «подлинных» географических материалистов по сравнению с их преемниками? В каком отношении находился Маркс к пионерам географически-материалистического взгляда на развитие истории? Не явился ли он до некоторой степени продолжателем их взглядов? И в какой мере его исторический материализм представляет все же нечто принципиально новое по сравнению с этими взглядами? На все эти вопросы мы должны теперь постараться дать ответы.

Для правильной оценки исторического значения великих географических материалистов необходимо знать, против кого были направлены их тезисы, их попытки новой интерпретации исторического развития. Как в изящной литературе в эпоху абсолютизма на первом плане стояли придворно-дворянские интересы, господствовавшие в официальном театре в форме изображения царей и героев, так же обстояло дело, с различными оттенками в зависимости от исторических особенностей отдельных стран, и в области историографии. Немецкий историк Слейдан считал, во времена Карла V, подлинными движущими силами событий императора, имперские

[1]) См. № 2—3 «П. З. М.» за 1929 г.

чины и высоких духовных советников. В глазах француза Жака Огюста де-Ту определяющие мотивы новейшего политико-религиозного развития коренятся в личных интересах отдельных сановников и высокопоставленных фамилий. Контрреволюционный английский историк Кларендон выводил события английской революции из грехов представителей старого режима, а также из «одаренности» и «невероятной энергичности» вождей революции[1]). Гвичардини, Хемниц и Пуфендорф своим подчеркиванием внешне-политического момента выдвигают действия государственных деятелей, пожалуй, еще сильнее в центр исторических событий. У всех троих, хотя они иногда касаются и других мотивационных моментов, которые ни у одного историка не отсутствуют совершенно, «господствует все-таки формалистический подход к внешней политике как к борьбе за власть и свободу»[2]).

Против ритмически размеренной пышности придворной литературы выдвинулась буржуазно-ориентированная «прозаическая» литература с ее новой формой прозы в соответствии с новыми, более прозаическими мотивами: Вольтер, Руссо во Франции; английский буржуазный роман; в Германии Лессинг с его драмами в прозе «Мисс Сара Сампсон» и «Эмилия Галотти», Шиллер с его «Разбойниками» и «Коварством и любовью». Третье сословие выдвигает свою бытовую обстановку, свои интересы на место господствовавших до тех пор интересов абсолютизма. И совершенно так же изменяется подход к историческим явлениям. На ряду с действиями и интересами государства, которое повсюду кроме Голландии и Англии еще находится в руках абсолютистской власти, выступает — в бесконечных вариациях, но в принципе совершенно четко — «буржуазное общество» с его более «прозаическими» буржуазными интересами. В понимании истории отражается только то, что реально осуществляется в классовом развитии. Вместо случайных судеб отдельных «звезд» придворной политики начинают заниматься анонимной жизнью третьего сословия, «народа». Военную историю стремятся заменить историей культуры (Вольтер). В сфере политики интересуются уже не делами отдельных, более или менее способных представителей старого порядка, а самим принципом, являющимся политическим выражением этого порядка, конституцией страны — или ее отсутствием и вытекающей отсюда необходимостью добиться действительной, т.-е. буржуазной, конституции (Монтескье, Руссо). Новому направлению интересов соответствует и новый подход к историческим явлениям. Из области индустриализирующихся хозяйственных процессов естественно-научный дух проникает в мировоззрение буржуазно-революционных мыслителей. В соответствии с тогдашним уровнем промышленности и естествознания метод последних по существу механистичен; материализм, противопоставляемый ими метафизическим мистификациям полуфеодальной богословской идеологии, есть механический материализм. От раскрытия механических законов природы, которой все настойчивее овладевали практически и теоретически, был неизбежен переход к поискам подобных же общеобязательных, и по возможности тоже механических, законов в царстве истории.

Что же является, с этой точки зрения, реальной основой — не действий и судеб отдельных героев всемирной истории, а анонимных исторических масс — племен, народов, человечества? Бог либо совсем отрицается буржуазно-революционными мыслителями (Гольбах), либо об'является пленником им же самим установленных законов (Монтескье); во всяком случае он сбрасывается со счета. Нет места и для свободной воли человека; машина «человек» лишена свободной воли. Остается таким образом только «природа» в качестве фактора, предначертывающего человеку, как и живо-

[1]) M. Ritter, Die Entwickelung der Geschichtswissenschaft, an den führenden Werken betrachtet. Мюнхен—Берлин 1919 г., стр. 183.

[2]) Там же, стр. 169.

ному, формы его жизни и развития, — природа в том широком, расплывчатом, пространственно ориентированном смысле, который наглядней всего выражается в энциклопедической естественно-научной дисциплине географии. И действительно, прогрессивные мыслители назревающей буржуазной революции, особенно французские и немецкие, становятся сознательно или стихийно провозвестниками географически-материалистической философии истории.

Гольбах говорил о влиянии «климата» на человека, однако, как установил Плеханов, часто с гораздо меньшей глубиной, чем Монтескье[1]). Гельвеций уже не ограничивается констатированием влияния климата на духовный облик человека, а говорит о ремеслах, которыми человек занимается в силу различных естественных условий, и которые создают различные формы жизни и мировоззрения. «Это совсем другая точка зрения» — справедливо замечает Плеханов. Но великий русский марксист не совсем справедлив к Монтескье, утверждая, что ему эта точка зрения была чужда. Монтескье в своем об'яснении истории самым систематическим образом выдвинул в центр естественный момент, включив в него, как мы покажем ниже, и момент труда. Вместе с тем именно географически-материалистические идеи Монтескье были наиболее широко распространены в Германии (Гердер не только называет его «великим Монтескье», но и фактически находится под его сильным влиянием[2]) Мезер (Möser) пришел с помощью Монтескье, которого он знал и высоко чтил, к более глубокому взгляду на сущность государства[3]). Гегель всегда произносит имя Монтескье с величайшим уважением[4]). Мы остановимся поэтому на Монтескье, чтобы на его примере показать, как научные пионеры Великой Французской революции пытались с помощью географии проложить путь материалистическому взгляду на историю.

а) Монтескье.

Плеханов находит, что Монтескье «только повторил взгляды некоторых греческих и римских авторов», а сам не «сказал ничего нового по этому вопросу». Без сомнения, уже античные философы и историки определенно подчеркнули роль естественного момента; но Монтескье оставляет их далеко позади себя хотя бы уже с чисто-фактической стороны, ибо, как человек более поздней эпохи, он мог обозреть более длинный отрезок истории, а также имел перед собой, благодаря новейшим успехам промышленности и техники сношений, гораздо более обширное поле для географических анализов. Кроме того у него появляется новая нотка, которая характеризует его как настоящего сына индустриализирующегося, естественно-научного, младобуржуазного

[1]) G. Plechanow, Beiträge zur Geschichte des Materialismus. Holbach, Helvetius, Marx, третье издание, Штутгарт 1921 г., стр. 23, прим.

[2]) I. G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, издание Гемпеля, Берлин, седьмая книга, III, стр. 50. Важную роль в развитии взглядов Гердера сыграли также античные авторы, писавшие о влиянии естественных моментов. Гердер особенно выдвигает Гиппократа, которого он прямо называет «главным автором по вопросу о климате».

[3]) Ritter, Die Entwickelung der Geschichtswissenschaft, стр. 288.

[4]) G. W. F. Hegel, Die Vernunft in der Geschichte. Einleitung in die Philosophie der Weltgeschichte, второе издание, редакция Лассона, Лейпциг 1920 г., стр. 100 и 175. В своих «Grundlinien der Philosophie des Rechts» (цитируем по второму изданию в редакции Лассона, Лейпциг 1921 г.), Гегель тоже местами опирается на идеи Монтескье, которого он превозносит за «глубину взгляда» в вопросе о конституциях, как и «во многом другом» (стр. 223). На стр. 21 он называет метод Монтескье, который выводит законодательство страны из совокупности определений, «образующих характер данной нации и данной эпохи», «действительно историческим воззрением, подлинно-философской точкой зрения», противополагая его абстрактному, изолирующему подходу к явлениям.

чины и высоких духовных советников. В глазах француза Жака Огюста де-Ту определяющие мотивы новейшего политико-религиозного развития коренятся в личных интересах отдельных сановников и высокопоставленных фамилий. Контрреволюционный английский историк Кларендон выводил события английской революции из грехов представителей старого режима, а также из «одаренности» и «невероятной энергичности» вождей революции[1]). Гвичардини, Хемниц и Пуфендорф своим подчеркиванием внешне-политического момента выдвигают действия государственных деятелей, пожалуй, еще сильнее в центр исторических событий. У всех троих, хотя они иногда касаются и других мотивационных моментов, которые ни у одного историка не отсутствуют совершенно, «господствует все-таки формалистический подход к внешней политике как к борьбе за власть и свободу»[2]).

Против ритмически размеренной пышности придворной литературы выдвинулась буржуазно-ориентированная «прозаическая» литература с ее новой формой прозы в соответствии с новыми, более прозаическими мотивами: Вольтер, Руссо во Франции; английский буржуазный роман; в Германии Лессинг с его драмами в прозе «Мисс Сара Сампсон» и «Эмилия Галотти», Шиллер с его «Разбойниками» и «Коварством и любовью». Третье сословие выдвигает свою бытовую обстановку, свои интересы на место господствовавших до тех пор интересов абсолютизма. И совершенно так же изменяется подход к историческим явлениям. На ряду с действиями и интересами государства, которое повсюду кроме Голландии и Англии еще находится в руках абсолютистской власти, выступает — в бесконечных вариациях, но в принципе совершенно четко — «буржуазное общество» с его более «прозаическими» буржуазными интересами. В понимании истории отражается только то, что реально осуществляется в классовом развитии. Вместо случайных судеб отдельных «звезд» придворной политики начинают заниматься анонимной жизнью третьего сословия, «народа». Военную историю стремятся заменить историей культуры (Вольтер). В сфере политики интересуются уже не делами отдельных, более или менее способных представителей старого порядка, а самим принципом, являющимся политическим выражением этого порядка, конституцией страны — или ее отсутствием и вытекающей отсюда необходимостью добиться действительной, т.-е. буржуазной, конституции (Монтескье, Руссо). Новому направлению интересов соответствует и новый подход к историческим явлениям. Из области индустриализирующихся хозяйственных процессов естественно-научный дух проникает в мировоззрение буржуазно-революционных мыслителей. В соответствии с тогдашним уровнем промышленности и естествознания метод последних по существу механистичен; материализм, противопоставляемый ими метафизическим мистификациям полуфеодальной богословской идеологии, есть механический материализм. От раскрытия механических законов природы, которой все настойчивее овладевали практически и теоретически, был неизбежен переход к поискам подобных же общеобязательных, и по возможности тоже механических, законов в царстве истории.

Что же является, с этой точки зрения, реальной основой — не действий и судеб отдельных героев всемирной истории, а анонимных исторических масс — племен, народов, человечества? Бог либо совсем отрицается буржуазно-революционными мыслителями (Гольбах), либо об'является пленником им же самим установленных законов (Монтескье); во всяком случае он сбрасывается со счета. Нет места и для свободной воли человека; машина «человек» лишена свободной воли. Остается таким образом только «природа» в качестве фактора, предначертывающего человеку, как и живо-

[1]) M. Ritter, Die Entwickelung der Geschichtswissenschaft, an den führenden Werken betrachtet. Мюнхен—Берлин 1919 г., стр. 183.

[2]) Там же, стр. 169.

ному, формы его жизни и развития, — природа в том широком, расплывчатом, пространственно ориентированном смысле, который наглядней всего выражается в энциклопедической естественно-научной дисциплине географии. И действительно, прогрессивные мыслители назревающей буржуазной революции, особенно французские и немецкие, становятся сознательно или стихийно провозвестниками географически-материалистической философии истории.

Гольбах говорил о влиянии «климата» на человека, однако, как установил Плеханов, часто с гораздо меньшей глубиной, чем Монтескье[1]). Гельвеций уже не ограничивается констатированием влияния климата на духовный облик человека, а говорит о ремеслах, которыми человек занимается в силу различных естественных условий, и которые создают различные формы жизни и мировоззрения. «Это совсем другая точка зрения» — справедливо замечает Плеханов. Но великий русский марксист не совсем справедлив к Монтескье, утверждая, что ему эта точка зрения была чужда. Монтескье в своем об'яснении истории самым систематическим образом выдвинул в центр естественный момент, включив в него, как мы покажем ниже, и момент труда. Вместе с тем именно географически-материалистические идеи Монтескье были наиболее широко распространены в Германии (Гердер не только называет его «великим Монтескье», но и фактически находится под его сильным влиянием[2]) Мезер (Möser) пришел с помощью Монтескье, которого он знал и высоко чтил, к более глубокому взгляду на сущность государства[3]). Гегель всегда произносит имя Монтескье с величайшим уважением[4]). Мы остановимся поэтому на Монтескье, чтобы на его примере показать, как научные пионеры Великой Французской революции пытались с помощью географии проложить путь материалистическому взгляду на историю.

а) Монтескье.

Плеханов находит, что Монтескье «только повторил взгляды некоторых греческих и римских авторов», а сам не «сказал ничего нового по этому вопросу». Без сомнения, уже античные философы и историки определенно подчеркнули роль естественного момента; но Монтескье оставляет их далеко позади себя хотя бы уже с чисто-фактической стороны, ибо, как человек более поздней эпохи, он мог обозреть более длинный отрезок истории, а также имел перед собой, благодаря новейшим успехам промышленности и техники сношений, гораздо более обширное поле для географических анализов. Кроме того у него появляется новая нотка, которая характеризует его как настоящего сына индустриализирующегося, естественно-научного, младобуржуазного

[1]) G. Plechanow, Beiträge zur Geschichte des Materialismus. Holbach, Helvetius, Marx, третье издание, Штутгарт 1921 г., стр. 23, прим.

[2]) I. G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, издание Гемпеля, Берлин, седьмая книга, III, стр. 50. Важную роль в развитии взглядов Гердера сыграли также античные авторы, писавшие о влиянии естественных моментов. Гердер особенно выдвигает Гиппократа, которого он прямо называет «главным автором по вопросу о климате».

[3]) Ritter, Die Entwickelung der Geschichtswissenschaft, стр. 288.

[4]) G. W. F. Hegel, Die Vernunft in der Geschichte. Einleitung in die Philosophie der Weltgeschichte, второе издание, редакция Лассона, Лейпциг 1920 г., стр. 100 и 175. В своих «Grundlinien der Philosophie des Rechts» (цитируем по второму изданию в редакции Лассона, Лейпциг 1921 г.), Гегель тоже местами опирается на идеи Монтескье, которого он превозносит за «глубину взгляда» в вопросе о конституциях, как и «во многом другом» (стр. 223). На стр. 21 он называет метод Монтескье, который выводит законодательство страны из совокупности определений, «образующих характер данной нации и данной эпохи», «действительно историческим воззрением, подлинно-философской точкой зрения», противополагая его абстрактному, изолирующему подходу к явлениям.

века и заодно отличает его от античных географических материалистов: это — его обращение к эксперименту для изучения способов реагирования человека на его естественную среду [1]). Гердер не мог, при всем своем преклонении перед Монтескье, не повторить по его адресу легкого упрека, «что свой климатологический дух законов он построил на обманчивом эксперименте с бараньим языком» [2]); но от этого стремление Монтескье об'яснить факты общественно-исторической действительности естественно-научным способом не становится менее великолепным и революционным.

Человек для Монтескье—машина, определяемая в своих чувствованиях, хотениях и действиях климатическими условиями. В южных странах образуется «хрупкая, слабая, но чувствительная машина»; «на севере здоровая и крепкая, хотя и громоздкая, машина увлекается всем, что способ расшевелить дух, — охотой, путешествиями, войной и вином» [3]). Несостоятельность этого—назовем его климатологическим—материализма было нетрудно усмотреть и опровергнуть. Однако, во-первых, очень важно, из чего исходят при его опровержении (когда, напр., Вольтер об'ясняет развитие Европы, вместо власти климата, властью идей великих мыслителей [4]), то это, конечно, шаг назад, а не вперед); а, во-вторых, необходимо помнить, что анализ Монтескье отнюдь не исчерпывается указанием на влияние климата, но что он весьма подробно, на протяжении всей XIII книги своего главного труда, исследует зависимость политических и конституционных порядков различных народов от той почвы, на которой они живут, и от тех хозяйственных форм, которые на ней развиваются. Там, где почва слишком плодородна, как в Южной Америке, или где обилие буйволов влечет к охоте, люди остаются дикарями [5]), а дикари или варвары живут небольшими нациями [6]) и пользуются благами свободных политических порядков, потому что их подвижность не дает подчинить их тиранической власти [7]). При небольшом количестве пахотной земли, работающие на ней люди становятся прилежными, упорными, смелыми и воинственными [8]); плодородная почва создает тип людей, целиком ушедших в свою работу и мало помышляющих о свободе [9]), неторопливое, несколько изнеженное и дорожащее жизнью население [10]). Там, где для сохранения созданных трудом человека, культурных условий требуются постоянные усилия, народ создает умеренное правительство, как на великой китайской равнине, в Египте, в Голландии [11]). Гражданское законодательство возникает только после перехода земли в частную собственность [12]). Народы, у которых этот переход еще не совершился, в сущности еще не знают законов; они живут по своим обычаям. На этой стадии большим авторитетом пользуются старики, как бы воплощающие в себе память о прошлом...[13]). Свободные порядки древних

---

[1]) Montesquieu, De l'esprit des lois, изд. Фламмариона, Париж, т. I, стр. 248.
[2]) Herder, Ideen, в указ. месте, стр. 50.
[3]) Montesquieu, в указ. месте, стр. 249.
[4]) Примечание к произведению Монтескье (в цитируемом нами издании стр. 263). Подвергнув критике точку зрения Монтескье, Вольтер пишет: «Философам из Афин, Милета, Сиракуз и Александрии обязаны современные жители Европы своим превосходством над остальными людьми».
[5]) Montesquieu, De l'esprit des lois, I, стр. 308.
[6]) Там же, стр. 309.
[7]) Там же, стр. 311.
[8]) Там же, стр. 306.
[9]) Там же, стр. 304. Монтескье бросил здесь мысль, которую в наше время постарался развить Гаусгофер.
[10]) Там же, стр. 306.
[11]) Там же, стр. 307.
[12]) Там же, стр. 310.
[13]) Там же, стр. 310.

германцев об'ясняются тем, что в описанную Тацитом эпоху германские племена еще не перешли к земледелию [1]).

Мы привели несколько примерных анализов из в высшей степени замечательной XIII книги главного произведения Монтескье. Правда, в другом месте своего труда он сам ослабляет значение этих мыслей, заявляя: «ряд факторов (choses) властвует над человеком: климат, религия, законы, принципы правления, пример прошлого, нравы и обычаи; все это вместе порождает общий дух (esprit général)» [2]); но все же он решительно подчеркивает примат естественного момента: «царство климата первее всех других царств» [3]). То, что согласуется с этим царством, исторически жизнеспособно. Все остальное может держаться только насилием и тиранией. Верно и то, что момент климата прямо поставлен рядом с моментом почвы, без всякого выяснения их взаимной связи, и что Монтескье не дает ни действительного анализа весьма сложного явления «почвы», ни исследования естественных основ индустрии. Все это верно. Но вспомним только о характере тех исторических взглядов, против которых выступили великие материалисты XVIII века, о всецелой замкнутости феодально-абсолютистской историографии в сфере дипломатии, войн, интриг и единоличных политических подвигов,—и мы оценим всю значительность шага, сделанного здесь на пути к более полному познанию истины. Бог был устранен или обречен на бездействие [4]); в природе была обретена та безымянная сила, действия которой на человека были поставлены выше всех старых законов и порядков, противоречивших его благоденствию. За географическим материализмом Монтескье и других материалистов XVIII века стоит требование «равенства» [5]) (разумеется, политического!); вопреки всем поклонам в сторону правительства эта географически-материалистическая философия истории содержит в себе притязание молодой, самоуверенной буржуазии на захват политической власти.

б) *Немецкие географические материалисты.*

Немецкие географические материалисты расшаркивались еще гораздо усерднее перед своими многочисленными престолами и престоликами; молодая немецкая буржуазия была, в виду отсталости промышленного развития страны, значительно менее развита, а потому и ее самоуверенность, ее притязание на власть были много слабее. Характерно, что немецкие мыслители не доходят до такого же безоглядно радикального материализма, как их собратья по ту сторону Рейна. Взгляд на человека, как на извне регулируемую машину,—этот дерзкий вызов освященной веками метафизически-богословской лжи абсолютизма,—не мог быть воспринят еще не уверенной в себе, еще в большинстве своем холопской немецкой буржуазии. Географические материалисты Германии должны были, при всем их желании, говорить à la Монтескье, считаться все-таки с богословскими предрассудками по существу еще мелкой и средней германской буржуазии. В их теоретических уступках идеологии господствующего класса в точности отражалась их практически-политическая классовая слабость!

Гердер систематически и сознательно выдвинул географический момент в центр своего великого очерка новой (материалистической) концепции всемирной истории, но все-таки на ряду с «климатом» и даже над ним он ставит внутреннюю энергию, так называемую «генетическую силу»—«мать

---

[1]) Там же, стр. 326 слл.
[2]) Там же, стр. 330.
[3]) Там же, стр. 337.
[4]) Там же, стр. 7 слл.
[5]) Там же «Предисловие» (стр. 6): «Республиканской добродетелью я называю любовь к отечеству, т.-е. любовь к равенству».

всех земных образований, которой климат только противодействует или содействует своими влияниями» [1]). Каков же характер этой генетической силы? Подчинена ли она законам природы, закономерны ли ее действия? Гердер уклоняется от ответа на этот вопрос. Это—«живая органическая сила, — говорит он, — я не знаю, ни откуда она пришла (*К. В.*), ни какова она по своей внутренней сути»... Это дух, существующий «прежде тела». Невидимая сила «становится видимой в соприкасающейся к ней массе и должна, так или иначе, заключать в себе тип своего явления. Новое существо есть не что иное, как осуществившаяся идея творящей природы» [2]... Своеобразие этой жизненной силы налагает печать сложности и неоднородности на действия природы. «Как бы ни действовал климат, каждый человек, каждое животное, каждое растение имеет свой собственный климат; ибо все внешние воздействия воспринимаются каждым по-своему и перерабатываются органически» [3]). Этим, конечно, факт, естественно образования живых существ не устраняется, но он становится чрезвычайно темным: «Климат есть хаос причин, весьма неодинаковых, а потому и действующих очень медленно и разнообразно, пока они не проникнут, наконец, в самое нутро и не изменят его посредством привычки и генезиса. Живая сила сопротивляется долго, крепко, самобытно и самотождественно; но так как она все же не независима от внешних испытаний, то с течением времени она должна к ним приноровиться» [4]).

Мы видим, что это есть отказ от взгляда французского материализма на человека, как на механически функционирующую машину, действия которой принципиально могут быть учтены с полной точностью. Возможен, правда, и такой отказ от механистической точки зрения, который исходит из убеждения, что уже область биологии должна быть исследована особыми методами, соответствующими своеобразию биологической сферы существования, и что для общественной жизни тем более существуют совсем особые «законы природы», доступные только анализу особой социологической науки,—это была бы прогрессивная критика. Так критиковал впоследствии Маркс английских и французских материалистов при всем его признании их великих заслуг. Но критика Гердера совсем иного рода. Механистически-материалистический подход к явлениям жизни и общества он не заменяет попыткой более высокого, более адэкватного материалистического понимания, а отказывается совсем от материалистической точки зрения. Иррациональный, недоступный научному уяснению момент вторгается в лице «генетической силы» в мир закономерных естественных отношений. Средневеково - богословские элементы абсолютистской идеологии отражаются здесь в не до конца материалистической теории еще не созревшей до политической революционности немецкой буржуазии.

Характерно, что остальные идеологи тогдашней германской буржуазии, а равно и их преемники, усердно подхватывают и поддерживают формулированную Гердером реакционную оговорку против радикального материализма французов. Так, в своем отзыве о книге Гердера Кант заявляет, что поскольку Гердер отвергает чисто-механическое воздействие внешних причин, «рецензент целиком присоединяется к нему». И далее Кант прямо высказывает ту мысль, что генетическая сила Гердера приводит к самообразующейся способности, «которую мы точно также не можем об'яснить или сделать понятной» [5]).

---

[1]) Herder, Ideen, седьмая книга, IV, стр. 54.
[2]) Там же, стр. 55.
[3]) Там же, стр. 57.
[4]) Там же, седьмая книга, V, стр. 62. Подчеркнуто нами.
[5]) Отзыв Канта о второй части «Идей» (напечатан в издании «Идей» под редакцией Э. Кюнемана, Берлин, стр. 315).

Великий германский географ Карл Риттер, лекции которого в Берлине посещал Маркс [1]), тоже ввел в свою систему гердерову оговорку. На ряду с «воздействиями внешних естественных условий на ход развития человечества», существует, по Риттеру, «еще другая область в развитии людей народов и государств — область внутренних импульсов независимой от всего внешнего, чисто-духовной природы...» [2]). Правда, в противоположность Гердеру и Канту Риттер считает, что эта самостоятельная «духовная природа» человека доступна научному рассмотрению; но из своего исследования он ее во всяком случае исключает. Он довольствуется тем, что ради спасения души делает вежливый поклон в сторону «независимых» духовных сил. В своей исследовательской практике он об этой мистической сфере уже не вспоминает.

Последнее замечание применимо не только к Риттеру, но—в пределах довольно узкого круга его исторических размышлений—также к Канту [3]) и, с известной оговоркой, к Гердеру. В сущности, и они вполне убеждены во всеобщей зависимости человека от окружающих его естественных условий (правда, у Гердера его «генетический принцип» вредно дает себя знать в виде очень высокой оценки значения расового, «национального характера», хотя, впрочем, в конце концов, естественные влияния видоизменяют и этот момент [4]). Вот, напр., что говорит Гердер, тот самый Гердер, который своей «генетической силой» заплатил дань фидеизму: «В области физической природы мы никогда не считаемся с возможностью чудес; мы наблюдаем законы, которые оказываются всюду одинаково действующими, неизменными и регулярными. Неужели же царство человечества с его силами, изменениями и испытаниями может вырваться из этих цепей природы?». «Вся история человечества есть чисто-естественная история человеческих сил, действий и страстей в разных местах и в разные времена». О непроницаемости и самоутверждении генетического момента здесь нет и помину. Остается одна лишь система точных законосообразных отношений. «С появлением этого строгого принципа исчезают все идеалы, все волшебные фантомы; всюду стараются выделить в чистом виде то, что есть, и, увидев это, большей частью убеждаются, почему оно и не могло быть иным. Усвоив себе эту привычку на изучении истории, ум обретает путь к здравому миропониманию, который он едва ли мог бы обрести еще где-нибудь, кроме как в естественной истории и философии» [5]). Это самоуверенный язык молодой революционной науки, которая, несмотря на все оговорки, считает себя способной вскрыть с помощью своих методов законы исследуемого ею предмета. Риттер был не менее крепко убежден в плодотворности своего географического об'яснения истории. Человек, пишет он, «есть зеркало... обитаемой им местности». «Каждый человек есть представитель своей естественной родины, которая его произвела и воспитала. В народах отображается их отечество. Воздействия естественных свойств страны на характер ее жителей, вплоть до их физического облика, формы черепа, цвета кожи, темперамента, языка и

---

[1]) Д. Рязанов, Введение к «Диалектика и природа» Ф. Энгельса,—Архив Маркса и Энгельса, т. II, немецкое издание, Франкфурт н/Майне 1927 г., стр. 118
[2]) K. Ritter, Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie, Берлин 1852 г., стр. 22 слл.
[3]) Ср., напр., работу Канта «Предположительное начало человеческой истории». Правда, телеологический момент постоянно подчеркивается всеми тремя названными мыслителями, а равно и Гегелем.
[4]) «Переселите мавра в Европу—он останется тем, чем был». В конце концов другая часть света переродит и его,—стало быть, даже раса не является для Гердера вечной категорией,—но это произойдет «крайне медленно»» (Седьмая книга IV, стр. 59).
[5]) Там же, четырнадцатая книга, VII, стр. 120 слл. Подчеркнуто нами.

духовного развития, не подлежат никакому сомнению... Существование человека целиком связано с землей, прикреплено к ней тысячью неразрывных корней» [1]).

Это чистый материализм. Это—Монтескье со всеми его сильными, но и со всеми слабыми сторонами. Теория отображения в формулировке Риттера повторяет тезис Монтескье о непосредственной зависимости человека от «климата», только само понятие климата берется здесь более широко. Посредствующие звенья опущены; паралогизм «укороченного умозаключения» очевиден. Впрочем, подобно великому французскому мыслителю, и его «более умеренные» немецкие собратья часто (но не последовательно!) возвышались над этим паралогизмом, состоящим в пропуске промежуточных звеньев, и включали в свои расчеты хотя бы экономическое звено (социальное почти никогда). Гердер подчеркивает, что на ряду с «гением» народа, т.-е. с его «прирожденными, органическими, генетическими» свойствами, мощно влияет на представление о мире и «род занятий». «Пастух смотрит на природу не такими глазами, как рыболов и охотник...» [2]). Однако «ни один род занятий не произвел стольких изменений в образе мысли людей, как земледелие на ограниченном участке земли» [3]). Далее следует описание воздействий земледелия на хозяйство, политический строй и склад характера, при чем повторяются, только в менее подробном и расчлененном виде, рассуждения Монтескье из XIII книги его «Духа законов».

Кант тоже отмечает («Предположительное начало человеческой истории»), что из оседлости и земледелия возникают определенные формы расселения, понятия о собственности и типы общежития, существенно противоположные формам охотничьего и пастушеского быта.

Гегель, для которого естественная обусловленность истории имеет две стороны, суб'ективную и внешнюю,—«естественная воля народа» и «географическая обусловленность» [4]) — теоретически провозглашает предустановленную гармонию между духовной и естественной стороной [5]), но практически вскрывает зависимость различных укладов жизни от географической среды. Определенному типу ландшафта соответствует кочевой быт со всеми его политическими, характерологическими и моральными последствиями [6]). Но низменности — и тут Гегель внезапно забывает о своей предустановленной гармонии и дает самый настоящий генетический анализ— влекут человека к другому способу хозяйства. «Плодородная почва сама несет с собой переход к земледелию (!)... Забота человека уже не ограничивается данным днем, а простирается на продолжительный срок. Приходится изобретать инструменты; развивается изобретательность и искусство. Возникает прочный имущественный порядок, собственность и право... Эта взаимно обусловленная, исключающая, но всеобщая самостоятельность прорывает естественное одиночество... Так открывается возможность единоличного господства и особенно господства законов. Возникают... большие империи, начинается образование могучих государств» [7]).

Это, конечно, еще не исторический материализм; но нельзя отрицать, что, несмотря на все мистифицирующие элементы, мы имеем здесь серьезную попытку вскрыть единство общественных явлений, и именно вскрыть его со стороны производства и трудового процесса. Интересны в этом отношении и анализы Риттера, который также то-и-дело наталкивается на трудовой

---

[1]) K. Ritter, Allgemeine Erdkunde, Берлин 1862 г., стр. 14 слл.
[2]) Herder, Ideen, восьмая книга, II, стр. 79.
[3]) Там же, восьмая книга, III, стр. 88.
[4]) Hegel, Die Vernuft in der Geschichte, стр. 179.
[5]) Там же, стр. 180.
[6]) Там же, стр. 183 слл.
[7]) Там же, стр. 185 слл.

процесс (и его естественные основы) в своих попытках об'яснить особенности определенных народов и этических групп. Подобно Гегелю [1]), и Риттер [2]) выводит, напр., своеобразный характер китайского общества (так поражавшего и восхищавшего всех буржузано-революционных мыслителей отсутствием феодальных порядков, от которых сильно страдала буржуазия Запада [3]) из решающего значения водяных сооружений для всей материальной основы гигантской дальне-восточной империи. Различие в мировоззрении арабов и индусов Риттер об'ясняет естественно-обусловленным различием формы трудового процесса у тех и других (кочевой быт—оседлость), при чем, однако, трудовой момент простуает у него не совсем ясно. Указывая далее на разнообразные комбинации естественных условий, Риттер устанавливает, что отсюда проистекает такое же богатство различий между «сухопутным и водным хозяйством, охотничьим и горским укладом жизни, пастушеским, оседлым и кочевым бытом,— и далее идут уже нехозяйственные категории: между войной и миром, изолированностью и общественностью, диким и цивилизованным состоянием и т. д.» [4]). Нельзя таким образом сказать, что он не видит промежуточных звеньев; он видит их, как их видят и другие географические материалисты, но он не отдает себе ясного отчета в их взаимной связи.

в) Ограниченность географического материализма и определение задачи.

Перейдем теперь к критике буржуазно-революционных географических материалистов. Их великая историческая заслуга, несомненно, заключается в том, что они, продолжая и вместе с тем углубляя мысли греко-римских писателей, старались заменить формалистически-идеалистический, государственный и религиозный подход прежних историков материалистической точкой зрения, при чем определяющим фактором они считали «природу», точнее — некоторую часть или общую совокупность географических моментов. На ряду с этим у них сохраняются, особенно у немецких географов-историков, идеалистические моменты в разных формах — в виде телеологизма, об'ективного идеализма, подчеркивания иррационального генетического момента [5]), наконец, в форме утверждения, что зависимость человека от

---

[1]) Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, издание под редакцией Лассона, Лейпциг 1919 г., Восточный мир, стр. 286 и 298.
[2]) K. Ritter, Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und zur Geschichte des Menschen, четвертая часть, вторая книга, Азия, т. III, Берлин 1834 г., стр. 723—725.
[3]) Вот, напр., что пишет о Китае Вольтер (не говоря уже о Монтескье, который в своем главном произведении то-и-дело упоминает о Китае): «Не надо быть фанатическим поклонником Китая, чтобы признать, что политическое устройство китайской империи наилучшее из существующих на земле», ибо оно— «единственное, при котором правитель области наказуется, когда его действия не пользуются одобрением населения» (Dictionnaire philosophique, статья «Китай», издание Фламмариона, Париж, стр. 112). Не будем останавливаться на споре, завязавшемся вокруг этого вопроса в наши дни; во всяком случае, по мнению философов просвещения, основанному на тогдашних (довольно значительных) сведениях о Китае, Китай был в противоположность еще феодальному европейскому континенту не феодальным, а демократическим государством.
[4] K. Ritter, Einleitung, стр. 188.
[5]) Иногда этот момент понимается в смысле «наследственной массы»—так, напр., в ряде формулировок самого Гердера. В таком случае это уже не иррациональная категория, а хоть и с трудом поддающийся исследованию, но принципиально вполне познаваемый и закономерный естественный момент. Однако из сферы рациональных естественно-научных явлений мы снова тотчас же переносимся в область метафизики, когда узнаем, что генетическая сила, только что названная «прирожденной» способностью, не есть такая же сила природы, как всякая другая, а представляет собою «основание сил природы» (Ideen, седьмая книга, IV, стр. 57).

«природы» постепенно уменьшается [1]). Этот последний тезис, основанный на ошибочном обобщении частично правильного взгляда, приводит к новой, оригинальной разновидности идеалистического суб'ективизма.

Помимо этих идеалистических пережитков, которые, как сказано, в отсталой Германии у идеологических представителей отсталой германской буржуазии играют более значительную роль, чем во Франции, имеется далее целый ряд методологических ошибок в пределах самого материалистического мировоззрения историков-географов. Мы выделим три важнейшие из этих типичных ошибок, общие всем географическим материалистам. Их необходимо выяснить прежде всего, чтобы правильно ответить на вопрос, кем и как были впоследствии подхвачены и разрешены (или не разрешены) проблемы, оставшиеся нерешенными у этих пионеров нового понимания истории.

1. Метод нерасчлененного подхода. Под этим мы понимаем ссылки географических материалистов на «климат», «почву», «естественные условия», без уразумения внутренней связи этих различных моментов и без указания на то, которому из них — может быть, на разных исторических ступенях разным — принадлежит господство. Неясность в этом пункте не случайна; она вытекает из классового положения географических материалистов. Так как вследствие своей буржуазной исходной точки они берут трудовой процесс не систематически, а лишь в отдельных случаях, за основу общественного развития, то у них нет единственно возможного твердого критерия для точного определения связи и динамической иерархии различных естественных моментов. По Гердеру, климат охватывает «высокое или низкое расположение данной местности, свойства ее самой и ее продуктов, пищу и питье, потребляемые человеком, его образ жизни, выполняемую им работу, одежду, даже привычные позы, развлечения и искусства и бесчисленное множество других обстоятельств, оказывающих в своем живом сочетании большое влияние». И, отнеся все эти моменты, которым никак нельзя отказать в пестроте, к «общей картине многоизменяющего климата», он смиренно восклицает: «чья рука смогла бы превратить этот хаос причин и следствий в стройный мир, в котором каждое отдельное явление, каждая отдельная область заняли бы подобающее им место и ничто не было бы ни слишком выдвинуто вперед, ни слишком отодвинуто назад?» [2]).

В результате такого нерасчлененного подхода действительно получается хаос. Самое тщательное исследование естественных моментов, как таковых, не в силах уяснить картину; уяснить ее может только анализ особенностей наличного общественного процесса производства, а именно до этого-то анализа и не дошли географические материалисты вследствие своего классово положения в обществе [3]).

---

[1]) Это утверждение встречается уже у Монтескье (в указ. месте, т. I, стр. 330, где говорится о том, что только у дикарей природа «властвует почти исключительно», тогда как у более или менее культурных народов действуют еще и другие моменты—обычаи, законы и принципы правления; но все же климат всегда остается у Монтескье «первее всех других царств»). Очень резко подчеркивает ту же мысль Риттер. «Неоспоримо,—говорит он,—что влияние сил природы на индивидуальное развитие народов должно было все больше отступать на задний план, по мере того, как народы шли вперед». «Цивилизованное человечество все больше высвобождается, как и отдельный человек, из-под непосредственной (здесь Риттер сам делает принципиально важную оговорку! *К. В.*) власти природы и условий места» (Einleitung, стр. 165).

[2]) Herder, Ideen, седьмая книга, III, стр. 51.

[3]) Что здесь перед нами общая познавательная граница всей буржуазной науки, а не только случайная ограниченность «цеха» историков и географов, это вполне выяснится ниже, когда мы будем говорить об отношений великих буржуазных экономистов к обсуждаемым здесь вопросам.

2. Метод укороченного умозаключения. Этим термином мы обозначаем установленный нами уже у геополитиков прием, состоящий в пропуске одного или нескольких важнейших звеньев анализа и приводящий таким образом к «чисто-произвольным определениям», которые случайно могут быть и правильными, но которые большею частью, как полученные путем догадки, а не действительно научным способом, правильны только наполовину, а то и вовсе неправильны. При этом либо выпадает из анализа трудовой процесс (так это бывает у Монтескье и его преемников там, где от климата или особенностей ландшафта делается непосредственное умозаключению к политическому, моральному и умственному состоянию), либо остается невыясненным «процесс социальной жизни», что у географических материалистов бывает почти всегда. Наконец, оба эти пробела могут гармонически об'единяться вместе. Как это отражается на научном достоинстве анализа, об этом можно не распространяться.

3. Перспектива эмансипации от власти природы. Здесь мы имеем дело как будто не с методологической ошибкой, а с ошибкой материального характера. О сущности этого взгляда, подчеркивающего, что человек все больше «овладевает» природой и освобождается от ее влияния, мы уже говорили. Отделить в этом тезисе правильное от ошибочного можно только при диалектическом и материалистическом подходе к вопросу. Тут географические материалисты затронули одну из глубочайших проблем истории философии вообще, но по необходимости должны были оставить ее неразрешенной. Намеченное ими «разрешение» приводит, если последовательно додумать его до конца (характерно, что здесь их формулировки становятся большей частью неуверенными и сбивчивыми, но это, конечно, нисколько не помогает делу), обратно к идеалистическому принципу; применение же «перспективы эмансипации» к практической разработке конкретных проблем дает в результате ряд грубо ошибочных анализов, равно как и неправильное истолкование основных исторических связей вообще.

Дальнейшее исследование вопроса о значении естественного момента для исторического развития могло, формально говоря, пойти следующими тремя путями. Можно было, во-первых, сохранить основную установку просветителей и их ближайших преемников, видоизменяя ее в отдельных деталях, но оставаясь при их коренных ошибках. Такова позиция английского исследователя Бокля. Несмотря на его попытку дать материалистическое об'яснение успехов цивилизации и помех ее успешному развитию в различных частях земного шара [1]), он принципиально не идет дальше Монтескье и Гердера [2]), а его фактическое изложение истори-

---

[1]) Плодородие почвы и климат—таковы по Боклю регуляторы исторического развития, особенно на низшей ступени. Свойствами почвы определяется высокая или низкая продуктивность сельского хозяйства и, следовательно, количество народонаселения, климат же определяет трудоспособность человека (H. Th. Buckles Geschichte der Civilisation in England, нем. перевод Арнольда Руге, 6-е изд., Лейпциг и Гейдельберг 1881 г., т. I, первый отдел, стр. 40). Азия и Африка (Египет) обладают, по Боклю, более плодородной почвой, чем Европа, но европейский климат благоприятнее для труда. А так как силы природы «ограничены и стационарны», то плодородные области юга не могли подняться выше определенного уровня, между тем как в Европе климат позволил человеку развить свою «неограниченную» энергию и сделаться таким образом культурным гегемоном мира. Что такая страна, как Китай, где в ряде районов крестьянин может работать, и весьма интенсивно, почти круглый год, оставалась стационарной, а страны к северу от Альп, где земледельческий труд прерывается длительными паузами (зима) и где он был сравнительно примитивен, пережили под'ем от феодализма к капитализму,—это с точки зрения Бокля представляется чистейшим парадоксом.

[2]) Метод нерасчлененного подхода встречается у Бокля. Влияния природы он сводит к четырем факторам: к «климату, питанию (!), почве и явлениям природы в целом» (в указ. соч., стр. 35). Дифференциацию первых трех

ческого развития только демонстрирует самым ярким образом бессилие превозносимого им метода [1]).

Вторая возможность исчерпана геополитиками. Обороняясь против вновь возникшего марксизма, несравненно более крепкого и опасного в политически-общественном смысле, они были вынуждены, несмотря на свои старания удержаться хотя бы на уровне старого географического материализма, снизить эту когда-то великолепную и воинственную науку. Если пионеры географического материализма рассчитывали вскрыть с помощью своего метода законы движения истории, то их эпигоны сделались гораздо скромнее. По удачному выражению Гаусгофера, они готовы удовольствоваться 25% истины. Перед лицом марксистского анализа истории они утратили спокойствие совести. Они еще могут быть крупными географами, как Рихтгофен и Ратцель, или дельными советниками во внешне-политических и военных вопросах, как Гаусгофер, но они все до одного плохие географы-историки. Когда-то честная материалистическая наука вырождается в метафизику потребностей империализма (Челлен, Обст, Дикс) или в собрание внешне-политических и стратегических рецептов.

2. Роль естественного момента в исторической концепции Маркса.

В качестве третьей и последней возможности остается подойти к предмету с другого конца и разрешить новыми методами проблему, содержащуюся в противоречивых и неудовлетворительных формулировках географических материалистов. Что новизна методов не может при этом заключаться только в их принадлежности другой научной дисциплине, доказывается неспособностью и великих буржуазных экономистов выяснить роль естественного момента в историческом процессе.

факторов он отклоняет сознательно, как источник недоразумений; вместо этого он об'единяет их в одно нерасчлененное целое, чтобы «тотчас же подняться к более широкому взгляду» (стр. 37). Этот более широкий взгляд заключается в полном игнорировании специфических форм трудового процесса, который рассматривается исключительно с той точки зрения, создает ли он много или мало «богатств». Что природа, будучи источником средств существования в марксовом смысле, является вместе с тем и арсеналом средств труда, этого Бокль со своей «широкой» точки зрения не замечает. Так, он вовсе не видит особенностей египетского и индийского хозяйства, вытекающих из того, что земледелие в этих странах связано с искусственным регулированием течения рек; культуры этих двух восточных стран он целиком выводит из плодородной почвы и жаркого климата.—Невнимание к естественным средствам труда приводит Бокля прямым путем к «теории эмансипации». В таких промышленных странах, как Франция и Англия, где значение естественно обусловленных средств труда отступает на второй план, власть природы представляется ему «сравнительно слабой». Европу он прямо считает примером того, как «органическая и неорганическая природа преодолевается умом человека». Здесь «человеку действительно удалось покорить власть природы» (стр. 130 слл.).—Что Бокль пользуется методом укороченного умозаключения, мы уже показали на его анализе Индии и Египта. Но резче всего этот метод проявляется у него при выводе миросозерцаний, которые он считает продуктом «фантазии» и выводит непосредственно из влияний природы в целом (стр. 35, 103 слл.).

[1]) Так как Бокль занимается преимущественно историей Европы и в особенности Англии, то в конкретной части своего труда, там, где он осуществляет свои тезисы практически, он имеет дело со странами, в которых, по его собственному мнению, власть природы «слаба». Поэтому фактически его сочинение, выступающее с такими большими теоретическими притязаниями, сводится к описанию событий политической и культурной истории; резкая полемика против всевозможных форм суеверия, которую он ведет в тонах позднего просвещения, не может затушевать того факта, что естественный момент, об'явленный вначале столь существенным, играет в конце концов в его книге только роль побочного аксессуара

а) Роковая неспособность великих буржуазных экономистов понять естественную обусловленность труда.

Как специалистов экономического анализа, буржуазных экономистов должен был бы натолкнуть на значение естественного момента самый характер исследуемого ими предмета. И все-таки им не удается преодолеть три коренные ошибки географических материалистов. Правда, в вопросе о поземельной ренте классики политической экономии весьма энергично выдвигают естественный момент (фактическая невозможность увеличить земельную площадь, так называемый закон убывающего плодородия почвы); и их взгляд на значение сил природы действительно представляет собою крупный шаг вперед по сравнению со взглядами физиократов, у которых природа является еще источником всех богатств, а следовательно, и прибавочной стоимости [1]). Рикардо определенно говорит, что действие сил природы влияет на потребительную стоимость, но не затрагивает стоимости меновой[2]). Однако анализ естественного момента в вопросе о поземельной ренте остается у него недиалектически застывшим [3]), и до принципиально удовлетворительного учета естественного момента не могут возвыситься, несмотря на отдельные, временами блестящие указания, ни классики, ни их преемники и противники. Смит перевертывает вверх ногами (интересная экономическая параллель к гносеологическому перевороту Канта!) ошибочный тезис физиократов и превращает суб'ективный момент, труд, в единственный источник всех богатств общества [4]). Рикардо, будучи не в состоянии, как и Смит, постигнуть сущность постоянного капитала, а потому и противопоставить рабочему капитал как обособившуюся силу предметных условий труда [5]), — Рикардо перенимает вместо этого традиционное различение основного и оборотного капитала [6]) и уходит таким образом в сферу процесса обращения, оставляя совершенно незатронутыми проблемы органического состава «внутри производственного процесса в собственном смысле» [7]). Так оба величайших мыслителя буржуазной политической экономии затемняют и искажают, каждый на свой лад, вопрос о предметных условиях труда и об их естественной основе. Возможность научного раз'яснения проблемы подрезывается таким образом в корне.

Откуда это бессилие? Случайно ли оно, или здесь снова проявляется та классовая ограниченность познания, о которой мы говорили выше? Вот

---

[1]) Ср. Fr. Qwesnau, Allgemeine Grundsätze der wirtschaftlichen Regierung eines ackerbautreibenden Reiches, немецкий перевод, Иена 1921 г., стр. 55. Далее A. K. J. Turgot, Betrachtungen über die Bildung und die Verteilung des Reichtums, нем. перевод, 3-е изд., Иена 1924 г., §§ 7 и 14 (стр. 43 и 47). См. по этому вопросу Marx, Theorien и т. д., т. I, стр. 148 слл.

[2]) D. Ricardo, Grundsätze der Volkswirtschaft und Besteuerung, нем. перевод, 3-е изд., Иена 1923 г., стр. 290—292. Маркс признает взгляд Рикардо принципиально правильным, отмечая в то же время одну его ошибку: (Theorien, т. II, ч. 2, стр. 343, слл.).

[3]) Рикардо не исследует «действительных естественных причин истощения почвы» (Kapital, т. III, ч. 2, стр. 314) и не находит общественно-исторического принципа за описанными им естественными явлениями. Он не понял, что замеченный им якобы вечный закон прогрессирующей непродуктивности земледелия имеет силу только при условии буржуазного строя (Theorien, т. II, ч. 1, стр 260).

[4]) A. Smith, Untersuchung über Natur und Wesen des Volkswohlstands, нем. перевод, т. I, 2-е изд., Иена 1920 г., стр. 1. Маркс отмечает, что Смит ошибочно говорит о влиянии естественного момента в области меновой стоимости и в то же время, об'являя общественно-разделенный труд единственным источником материального богатства, «совершенно упускает из виду «естественный момент» в этой области» (Kritik der politischen Ökonomie, стр. 41).

[5]) Marx, Theorien, т. II, ч. 1, стр. 119.

[6]) Ricardo, Grundsätze, стр. 30.

[7]) Marx, Theorien, т. II, ч. 1, стр 97.

как отвечает на это Роза Люксембург в отношении А. Смита, который ставил эти вопросы глубже, чем Рикардо [1]): его «буржуазно предвзятый взор» не усмотрел за создающей стоимость и прибавочную стоимость деятельностью рабочего «общее отношение между человеком и природой» [2]). Но откуда такая «предвзятость» по отношению к естественным предметным условиям труда? Маркс указал на глубокий классовый смысл этой теоретической ошибки в своей «Критике Готской программы», которая, как известно, начинается с прекрасного тезиса Адама Смита о труде, как об источнике всякого богатства. «Природа,— говорит Маркс,— есть в такой же мере источник потребительных ценностей..., как и труд». Лишь «поскольку человек с самого начала относится к природе, первоисточнику всех средств и предметов труда, как собственник, поскольку он смотрит на нее, как на свое достояние, его труд становится источником потребительных ценностей, а следовательно, и богатства». И далее следует разоблачение общественного смысла «фразы», встречающейся во всех буржуазных хрестоматиях: «У буржуа есть весьма веские основания приписывать труду сверхестественную творческую силу; ибо именно из естественной обусловленности труда следует то, что человек, не имеющий другой собственности, кроме своей рабочей силы, должен быть при всяких общественных и культурных условиях рабом других людей, захвативших в собственность предметные условия труда. Он может работать только с их разрешения, а стало быть и жить только с их разрешения» [3]). Полное и последовательное признание (случайного признания недостаточно) естественной обусловленности труда ведет прямым путем к признанию факта эксплоатации во всех классовых обществах. На этот путь буржуазные экономисты не могли вступить по самому существу своей точки зрения. А отсюда следует, что эта группа теоретиков не могла (и не может до сих пор) выразить в понятиях элементарное расчленение производственного процесса, с его ясным противопоставлением рабочей силы, средств труда и предмета труда. Но, как мы покажем ниже, только после выяснения этой основной структуры производства может быть правильно и плодотворно поставлен вопрос о характере, распределении и исторически меняющейся относительной важности естественных моментов в производственном процессе. Невозможность признать, с буржуазной точки зрения, живую рабочую силу за особый, своеобразный элемент на ряду с предметными условиями трудового процесса не позволяет и самым гениальным буржуазным экономистам внести внутренний порядок в непреодолимый на первый взгляд «хаос» естественных моментов. Они не в силах преодолеть нерасчлененный подход географических материалистов. Попытка упорядочить естественные моменты с чисто-физических точек зрения, как она была впоследствии предпринята Ратцелем и его школой, служит только новым выражением того, что общественный принцип упорядочения так и не был найден для этих факторов, которые, однако, мыслятся как общественно-исторически действующие силы.

Не лучше обстоит дело у буржуазных экономистов с попыткой выработать всеоб'емлющую общественно-историческую концепцию. Сделанные в этом направлении шаги выдвигают, и вполне последовательно, общественно-политический момент на передний план (А. Смит — организационную сторону трудового процесса, разделение труда; Фридрих Лист — протекционные

[1]) Рикардо не только не разрешает основного вопроса, но «даже не прощупывает его у А. Смита» (Theorien, т. II, ч. 1, стр. 15).

[2]) R. Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Собрание сочинений, т. I, Берлин 1923 г., стр. 38.

[3]) Marx—Engels. Programmentwürfe, Elementarbüchen des Kommunismus, т. 12, Берлин 1928 г., стр. 18 слл. Подчеркнуто самим Марксом.

пошлины и национальное единство, как важнейшие «производительные силы»). Исторический очерк Смита [1]) не вполне годится даже в качестве иллюстрации его собственного тезиса о значении разделения труда для роста общественного богатства; исторические главы Листа целиком посвящены подкреплению его протекционистской программы [2]). Такое изложение уже нельзя даже упрекнуть в том, что оно забывает о промежуточных звеньях; само конечное звено, «природа», сведено в нем почти на-нет, если не считать отдельных замечаний, не имеющих значения для целого. Разительный пример того, как можно быть одновременно экономистом по профессии и идеалистом в качестве социального философа! [3]).

б) Новый исходный пункт.

Если таким образом выдвинутые географическими материалистами проблемы оказались неразрешимыми ни для них самих, ни для их коллег среди экономистов, то значит требовалось найти новый исходный пункт, свободный от ограниченности буржуазной точки зрения. Он был дан революционным рабочим движением. Исходя из этой совершенно инородной общественной установки, Маркс и Энгельс сумели подойти к решению проблемы, представлявшей непреодолимые трудности даже для гениальнейших мыслителей буржуазии.

Что теория борющегося за освобождение труда рабочего движения по необходимости должна быть как материалистической, так и диалектической, об этом говорилось достаточно часто. Здесь мы можем ограничиться утверждением, что этот же диалектико-материалистический метод, и именно в своей общественно-исторической форме, в форме исторического материализма, явился также ключом для выяснения вопроса о роли и положении естественного момента в историческом процессе. Этим был, прежде всего, дан ответ на проблему, скрывающуюся за второй основной ошибкой географических материалистов. Точка зрения, произвольно и случайно связавшая отдельные области жизни друг с другом и с взятыми наудачу естественными условиями, была заменена концепцией, в свете которой различные процессы — общественный, политический и духовный — оказались неразрывно переплетенными моментами некоего исторического единства, с необходимостью вытекающими из способа производства материальной жизни [4]). Противоречия, которые обнаруживаются между различными областями жизни и которые диалектика признает необходимыми формами всякого движения жизни, не упраздняют это единство, а только превращают его из чего-то застывшего и мертвого в нечто живое, преходящее, всегда погруженное в поток движения [5]). С признанием решающего значения материального про-

[1]) 3-я книга его главного труда («Различное восхождение к богатству у различных народов»).

[2]) Хотя вначале Лист говорит о том, что сама природа «толкает» народы, «посредством различий климата, почвы и продуктов», к все более высоким формам об'единения (стр. 61), однако в дальнейшем ходе его изложения об этом обстоятельстве упоминается мало. Пример Голландии, Бельгии, Ганзы и Италии сучит, по мнению Листа, только тому, что «отдельные лица приобретают большую часть своих производительных сил от политической организации правления и от мощи нации» (стр. 112).

[3]) Об этом особенно ярко свидетельствуют исторические главы книги Листа. Так, он пишет, что при Карле V было бы достаточно «одной единственной идеи, одной единственной воли», чтобы «поднять Германию на степень богатейшего и важнейшего в мире государства». Превосходная возможность была потеряна из-за одной ошибки Карла V и его сына (стр. 109). В таком стиле написана вся историческая часть. Это возврат от попыток географических материалистов создать новую историографию к традициям абсолютистского понимания истории.

[4]) K. Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, предисловие, 8-е издание, Штутгарт 1921 г., стр. LV.

[5]) Предисловие ко второму изданию первого тома «Капитала», стр. XVIII.

изводства достигнута, наперекор всем идеалистическим туманам и заблуждениям, единственно научная, т.-е. материалистическая, точка зрения. Вопрос о промежуточных звеньях, на котором должны были потерпеть крушение географические материалисты с их большей частью изолирующим и всегда игнорирующим роль экономического стержня подходом, разрешается без труда с помощью метода исторического материализма. С точки зрения марксизма метод укороченного умозаключения становится явно нелепым и невозможным, ибо он идет прямо против глубочайшей сущности марксова воззрения на связь общественных явлений.

Этими соображениями уже достигнуто одно важное преимущество: устранена одна из фундаментальных ошибок географического материализма Критика географического материализма с этой стороны применялась марксистами часто. Она напрашивается сама собой и она вполне правильна; но она вскрывает только одну ошибку противников. Гораздо труднее и поэтому особенно важно критически искоренить первую и третью ошибки географических материалистов. В каком виде и с какими возможными историческими изменениями его удельного веса следует вводить естественный момент в подлинно-научный исторический анализ? И какой ответ должен быть дан с точки зрения диалектического материализма на вопрос об отношении между человеком и природой, об исходном пункте исторического развития, о его последней движущей силе? Чтобы ответить на эти вопросы, второй из которых приводит к глубочайшим проблемам всякой философии истории вообще, мы должны попытаться показать, каково, согласно историко-экономической концепции обоих основателей исторического материализма, положение естественного момента внутри исторического процесса жизни человечества. Споры вокруг этих вопросов в рядах марксистов, не лишенные интереса как с точки зрения развития теории, так и в общественно-политическом смысле, мы в дальнейшем по возможности отодвинем на задний план, в виду их обширных размеров; мы коснемся их лишь постольку, поскольку они могут служить хорошей иллюстрацией для строго выдержанной или, наоборот, явно извращенной линии марксизма. Наша задача — дать, прежде всего, возможно более точную формулировку самого взгляда Маркса и Энгельса.

в) Человек — совершенно своеобразная часть природы.

Всякое марксистское исследование отношения между человеком и природой должно начинаться с указания, что с материалистической точки зрения здесь в последнем счете вовсе нет какой-то противоположности, «словно это две оторванные друг от друга вещи» [1]). Человек есть часть природы, он принадлежит к ней «кровью, плотью и мозгом» [2]). Он сам представляет собою силу природы [3]), естественную вещь — правда, живую и самосознательную вещь [4]), чем вносится первое ограничение. Внутри же мира живых существ он принадлежит к животному царству, проявляющему активные силы. Но это, разумеется, не возвышает его над природой. Его сила есть не что иное, как «обращенное в человеческий организм естественное вещество» [5]), его трудовое действие есть деятельность «принадлежащих

[1]) Маркс и Энгельс о Фейербахе. Marx—Engels Archiv, т. I, Франкфурт н/М., стр. 242.

[2]) F. Engels, Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, перепечатано в «Marxismus und Naturwissenschaft», под ред. O. Jenssen'a, Берлин 1925 г., стр. 68.

[3]) Das Kapital, т. I, стр. 140.

[4]) Там же, стр. 165.

[5]) Там же, стр. 177, прим.

к его телу сил природы, рук и ног, головы и пальцев» [1]), оно представляет собою физиологический процесс [2]),—и это относится в равной мере как к процессу ручного труда, так и к мыслительному процессу, который тоже следует рассматривать, как «естественный процесс» [3]). Труд человека не упраздняет естественного характера материалов, а только изменяет их облик [4]), облекает их «в пригодную для его жизни форму» [5]).

И животное способно, и тем больше, чем оно выше развито, к «планомерному действию» [6]). Человек относится «к природе активно» [7]), но так же относятся к ней, по-своему, и остальные животные [8]). Только способ этой активности выделяет человека из животного царства [9]), делает его животным совсем особого рода. Благодаря своеобразию своей телесной конституции [10]), он в состоянии поставить в центре всей своей жизнедеятельности то, что встречается в зародыше уже у некоторых высших животных видов, превратив имеющееся там количество в новое качество: мы имеем в виду употребление и созидание орудий труда [11]). Это дает ему возможность не только брать у природы потребные ему предметы, но прибегать между собою и об'ектами своих желаний промежуточную вещь и таким образом укреплять свои собственные телесные органы и удлинять свою естественную фигуру, «наперекор библии» [12]). Удовлетворение потребностей таким опосредствованным способом и приобретаемые при этом средства для этого удовлетворения приводят к новым потребностям. Таков исходный пункт истории [13]).

г) Основные отношения — человек и «природа».

Так человек укоренен в природе, часть которой он составляет. Как активный элемент, и притом активный совсем особенным образом, он вместе с тем противостоит этой окружающей его природе, постоянно борясь с ней в процессе трудового действия. «Человек и его труд, с одной стороны, природа и ее вещества, с другой» — таково основное отношение, «вечное естественное условие человеческой жизни, независимое поэтому от какой бы то ни было формы этой жизни, но одинаково присущее всем ее общественным формам» [14]). На это основное отношение Маркс то-и-дело указывает в своем произведении и всегда с одинаковой настойчивостью. Человек и природа, или, по другому часто употребляемому в том же смысле выражению, «земля» — вот родители

[1]) Там же, стр. 140.

[2]) Там же, стр. 13 и 38.

[3]) Маркс, Письма к Кугельману. Elementarbücher des Kommunismus, т. IV, Берлин 1924 г., стр. 45. Энгельс тоже отмечает, что «как человек сам есть продукт природы», так «и произведения человеческого мозга... в конечном счете тоже продукты природы» (Anti-Dühring, 10-е изд., Штутгарт 1919 г., стр. 22).

[4]) Das Kapital, т. I, стр. 9.

[5]) Там же, стр. 140.

[6]) Engels, Der Anteil der Arbeit и т. д., в указ. месте, стр. 67.

[7]) Das Kapital, т. I, стр. 336, прим.

[8]) Engels, Der Anteil der Arbeit, стр. 66—68.

[9]) Маркс и Энгельс о Фейербахе, в указ. месте, стр. 238.

[10]) Там же, стр. 237, 238; на стр. 247 Маркс еще раз подчеркнул это обстоятельство, отметив, что необходимость для людей производить определенным способом «дана вместе с их физической организацией».

[11]) Das Kapital, т. I, стр. 142; Энгельс, Диалектика природы в Marx-Engels Archiv, т. II, Франкфурт н/М., 1927 г., стр. 169.

[12]) Маркс и Энгельс о Фейербахе, стр. 238; Das Kapital, т. I, стр. 142; Engels, Der Anteil der Arbeit, стр. 63.

[13]) Das Kapital, т. I, стр. 141 слл.

[14]) Там же, стр. 476; Маркс и Энгельс о Фейербахе, стр. 245.

всего материального богатства [1]), два источника «предметного богатства» [2]), два «демиурга богатства» [3]), два «первичных созидателя продуктов» [4]), «источники происхождения всякого богатства» [5]), два всеобщих «элемента реального трудового процесса» [6]), два единственных исконних средства производства [7]). Природа доставляет трудящемуся человеку, прежде всего, общие предметные условия его деятельности; она дает ему его местоположение (locus standi) [8]), то «пространство, которое требуется в качестве элемента всякого производства и всякого человеческого действования» [9]). Она является для него, далее, «исконным провиантским складом», из которого он может брать готовые предметы питания, плоды и т. п.[10]). Она представляет собою, наконец, исконный арсенал его орудий труда[11]), «преднайденный арсенал» [12]), «естественное вместилище» [13]) первичных предметов его труда. Таким образом, еще до всякого дальнейшего развития и не имея надобности теперь же останавливаться на общественной стороне этих предметных отношений, мы уже можем установить на основе всего вышесказанного формулу трудового процесса в ее самом абстрактном и общем виде.

д) Простые моменты трудового процесса.

Эта формула гласит не как у Кунова: рабочая сила, природа и техника [14]),—а совершенно иначе (странным образом Кунов считает обе формулировки равнозначущими): «простые моменты трудового процесса суть целесообразная деятельность или сам труд, его предмет и его средства» [15]). Взятый в таком абстрактном и простом виде трудовой процесс приложим и к самым примитивным формам человеческого общества, при которых еще употребляются необработанные средства труда [16]) и где самое разделение труда является еще чисто-естественным, осуществляясь по признаку возраста и пола [17]).

С течением исторического развития происходит, однако, решающий переворот в области трех простых моментов производственного процесса. Вырабатываются трудовые навыки и знания и высшие формы организации труда (об'единение и разделение). Обработанные орудия и даже машины заменяют собою необтесанный камень, который служил первобытному человеку для метания, растирания, сдавливания, резки. Цепь трудового процесса удлиняется, и появляются предметы труда, уже прошедшие несколько стадий обработки и поэтому потерявшие свой непосредственный «естественный» облик.

---

1) Das Kapital, т. I, стр. 146.
2) Там же, стр. 10.
3) Маркс, Критика Готской программы, в указ. месте, стр. 18; Engels, Der Anteil der Arbeit, стр. 57.
4) Das Kapital, т. I, стр. 146.
5) Там же, стр. 567.
6) Там же, стр. 472.
7) Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 351.
8) Das Kapital, т. I, стр. 143.
9) Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 307.
10) Das Kapital, т. I, стр. 142 и 141.
11) Там же, стр. 142.
12) Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 361.
13) Theorien über den Mehrwert, т. III, стр. 409.
14) H. Cunow, Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie, Берлин 1921 г., т. II, стр. 163.
15) Das Kapital, т. I, стр. 141.
16) Там же, стр. 142.
17) Там же, стр. 44, 70, 316.

Тут мы подошли к решающему для всего нашего дальнейшего исследования пункту. Полагал ли Маркс, что по мере наслаивания общественно-исторических черт над тремя коренными моментами трудового процесса исчезает или перестает играть существенную роль их естественная сторона? Вспомним все те выражения, в которых Маркс запечатлел свой взгляд на природу, как на одного из демиургов, как на один из первоисточников всякого предметного богатства. Утвердительный ответ на поставленный только что вопрос был бы равносилен отказу Маркса от этого взгляда. На самом деле Маркс от него не отказался. За общественным моментом во всех его исторически меняющихся формах он никогда не забывал в своем анализе, в своих формулировках о естественном моменте. Центр тяжести этого последнего передвигается с ходом развития, диалектически чрезвычайно интересным образом, в области трех основных моментов трудового процесса; но его фундаментальное значение этим не упраздняется, а лишь получает все новые формулировки. В этом одна из важнейших (и чаще всего незамечаемых) особенностей исторической концепции Маркса, одна из характернейших ее черт. И мы постараемся показать — не с помощью отдельных выхваченных «цитат», а путем воспроизведения самого хода мысли Маркса, хотя и опираясь при этом на исчерпывающую, как мы надеемся, передачу его основных высказываний,— что эта характерная черта нашла себе выражение во всех творениях Маркса, начиная с его написанной вместе с Энгельсом книги о Фейербахе, через «Критику политической экономии» и «Теории о прибавочной стоимости», вплоть до последних томов «Капитала».

е) Естественная сторона рабочей силы.

Мы начнем с рассмотрения естественной стороны рабочей силы. Этот пункт еще очень мало раз'яснен не только марксистской мыслью, но и соответствующими специальными дисциплинами, и поэтому его обсуждение представляет огромные трудности. Сам Маркс тоже дает по этому пункту меньше всего конкретных указаний. Тем не менее у него и у Энгельса разбросано так много относящихся сюда замечаний, и эти замечания так подчеркнуто повторяются в решающих местах, что мы должны указать хотя бы на принципиальную позицию Маркса в этом вопросе.

В тех местах, где Маркс говорит об исходном пункте всякой научной истории, он отмечает, на ряду с об'ективными, преднаходимыми и позднее исторически видоизмененными «естественными условиями», и суб'ективное естественное условие в лице самого человека, поскольку он обладает определенными «физическими свойствами» и расчленен по «племенам и расам» [1]). В книге «Фейербах» говорится о факте специфической «энергии» «отдельных наций», «энергии, порожденной уже скрещением рас», при чем следует любезное замечание: «поэтому немцы кретинообразны» [2]). Мы явным образом имеем здесь только беглую запись некоторой принципиальной установки, но сама эта установка весьма замечательна и повторяется затем в целом ряде аналогичных формулировок. О выставленном в «Введении к Критике политической экономии» требовании исходить из об'ективных и суб'ективных естественных условий мы уже говорили. В III томе «Теорий прибавочной стоимости», законченных в 1863 г. [3]), Маркс заявляет в главе о теориях Р. Джонса: «Не у всех народов одинаковы задатки к капиталистическому производству. У некоторых народов, напр. у турок, нет для этого ни темпе-

---

1) Фейербах, стр. 237 слл.; Kritik der politischen Ökonomie, Einleitung, стр. XLVII.
2) В указ. месте, стр. 295.
3) Ср. предисловие редактора Каутского к первому тому «Теорий», стр. XII.

рамента, ни предрасположения» [1]). Мы увидим ниже, что эту предрасположенность или непредрасположенность определенных народов Маркс отнюдь не считал чем-то вечным, сверх-историческим; но прежде всего важно установить, что такие специфические черты темперамента и предрасположения по Марксу существуют. Незадолго до окончания I тома «Капитала» Маркс вел, далее, часто упоминаемую письменную дискуссию с Энгельсом о теории Тремо касательно влияний геологической формации почвы на образование не только животных видов, но и человеческих национальностей. Конечно, Маркс, как и Энгельс, признает здесь за геологическим моментом только опосредствованное действие, только действие через посредство его экономической функции, как «почвы», и через обусловленное ею возникновение растительных животных пород. Но совершенно так же действует, по Марксу, геологический момент и на образование национальностей. «Для известных вопросов, как национальность и пр., только тут найдена естественная база» [2]). В I томе «Капитала», в месте, имеющем основоположное значение для марксовой оценки суб'ективного естественного момента, говорится, что естественные условия «все могут быть сведены к природе самого человека, каковы раса и т. д., и к окружающей его природе» [3]). В III томе «Капитала» в качестве важнейших моментов, могущих эмпирически разнообразить одну и ту же экономическую базу, приводятся три следующих: «естественные условия, расовые моменты и приходящие извне исторические влияния» [4]). В другом месте того же тома Маркс заявляет, что крепостное право «зависит от стечения обстоятельств, от прирожденного расового характера и т. д. [5]). Замечания о специфических чертах отдельных национальностей проходят через всю переписку Маркса и Энгельса.

Такова одна сторона марксо-энгельсовской точки зрения. Было бы теоретически бессмысленно и практически бесполезно пытаться отрицать, что Маркс и Энгельс признавали определенные «естественные» черты в человеческой рабочей силе, и притом не только в ее примитивнейшей первобытной форме, но как некоторое постоянное свойство (славяне—в дискуссии о Тремо, турки, немцы, американцы и т. д.). Столь же несомненно, однако, что Маркс и Энгельс не считали суб'ективный естественный момент трудового

[1]) Theorien, т. III, стр. 519. Употребляемая Марксом формула «темперамент и предрасположение» впервые введена Джексом.

[2]) Briefwechsel zwischen, F. Engels und K. Marx, т. III, Штутгарт 1919 г., стр. 342—351. В ходе дискуссии Маркс отказывается от деталей работы Тремо, за которыми Энгельс не признает никакой ценности, но целиком удерживает «основную идею о влиянии почвы» (стр. 349), «совершенно независимо от изложения Тремо».

[3]) Стр. 476.

[4]) Т. III, ч. 2, стр. 325.

[5]) Там же, стр. 327. Отдельные выражения в последних трех цитатах подчеркнуты нами. Ср. далее Marx, Kritik der politischen Ökonomie, Einleitung, стр. XVII, где среди перечисляемых естественных условий наиболее благоприятные для производства, на первом месте названы «расовые задатки». Затем следуют: «климат, естественные условия в роде положения близ моря (!К. В). плодородие почвы и т. д.». Энгельс конкретно обсуждает расовые проблемы в своих статьях по восточному вопросу, где он сначала говорит о турках, арнаутах, валлахах и греках, а затем переходит к «расе, которая составляет главную массу населения и кровь которой преобладает во всех расовых смешениях... Эта раса—славяне...» (Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Рязанова, 2-е изд., Штутгарт 1920 г., т. I, стр. 147—150). В своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (15-е изд., Штутгарт 1918 г., стр. 6) Энгельс пишет, что «высокое развитие обеих рас», «арийской и семитской», зависит, быть может, от обильного мясного и молочного питания, которое для них характерно. Здесь уже содержится указание на то, что в расовых признаках мы имеем дело с приобретенными свойствами, которые как таковые могут видоизменяться и при известных условиях исчезнуть.

процесса стабильным, вечным и неизменным; подчеркивая существование этой естественной стороны, они в то же время указывали на претерпеваемые ею исторические изменения. Тот же Энгельс, который заявил: «сама раса есть экономический фактор» [1]), указывал вместе с Марксом на то, что всякая история должна исходить из суб'ективных и об'ективных естественных основ и «их видоизменения в ходе истории под воздействием человека» [2]), и что человек «историчен по своей природе» [3]). Вся история, сказал Маркс еще в юности, есть «непрерывное изменение человеческой природы» [4]). Как осуществляется это изменение? Трудовая деятельность — вот что воздействует на природу совершающего эту деятельность человека, развивая или, наоборот, ущербляя его. «Воздействуя этими актами на внешнюю природу и изменяя ее, он вместе с тем изменяет свою собственную природу» [5]). Это относится, конечно, не только к отдельному человеку, и даже не к нему в первую очередь, а к целым группам населения, поставленным в одинаковые условия труда и существования, к целым этническим комплексам. Заметив по поводу турок, что у них нет ни темперамента, ни предрасположения для капиталистического производства, он затем прибавляет, уничтожая всякую возможность расового фетишизма: «С развитием капиталистического производства достигается средний уровень буржуазного общества, а тем самым темпераментов и предрасположений, у различных народов» [6]).

Можно ли после этого еще говорить о том, что в рабочей силе работников в исторически развитых общественных комплексах присутствуют естественные черты? Не сведено ли теперь все к «общественному» моменту, к результатам исторического развития? Ясно, что мнение Маркса было не таково. Если он, на ряду с об'ективными, то-и-дело говорит о «суб'ективных естественных условиях» [7]), что в этом ведь бесспорно должен заключаться вполне определенный смысл. Ключом могли бы тут явиться мысли Маркса о естественном или общественном характере плодородия искусственно улучшенных почв. При некоторых формах обработки почва изменяется таким образом, что она в дальнейшем уже остается на уровне испытанного изменения; она так сказать приобретает новую «природу», на которой не видно следов труда. С первоначальным естественным плодородием почвы ее дополнительное искусственное плодородие слилось настолько, что «его уже нельзя отличить от ее первоначального плодородия» [8]). Первоначальному плодородию почвы соответствует в нашем вопросе естественная трудовая квалификация и характеристика человека. «Приобретенные» в результате новых условий труда и жизни свойства сливаются с первоначальной природой человека так, что после этого слияния присоединившиеся элементы уже не могут быть отличены от его первоначальной природы. Образовалось нечто, что можно назвать «вторичной природой человека». Суб'ективные естественные основы трудового процесса видоизменились, но они отнюдь не уничтожены.

Так обстоит дело с естественным моментом в первом члене простого трудового процесса. Несмотря на все исторические модификации, утверждае-

[1]) Из письма Энгельса от 1894 г. (перепечатано в «Socialistischen Akademiker», 1895 г., цитируется L. Woltmann, Der historische Materialismus, Дюсельдорф 1900 г., стр. 249).

[2]) «Фейербах», стр. 237 слл.

[3]) Там же, стр. 242.

[4]) K. Marx, Das Elend der Philosophie, 7-е изд., Штутгарт 1919 г., стр. 133.

[5]) Das Kapital, т. I, стр. 140.

[6]) Theorien über den Mehrwert, т. III, стр. 519.

[7]) Ср. также Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 326, и Kritik der politischen Ökonomie, Einleitung, стр. XVII.

[8]) Theorien über den Mehrwert, т. II, ч. 1, стр. 338.

мые Марксом, естественная сторона по его взгляду сохраняется. Относительно конкретной формы происходящих изменений мы при этом не находим у Маркса почти ровно ничего. Сдержанность Маркса об'ясняется в данном случае тогдашним состоянием антропологии и этнологии, двух наук, которые к тому же почти совершенно игнорировали момент трудовой квалификации. С тех пор постановка проблем в этих двух частных дисциплинах по существу почти не изменилась; в ожидании будущих изменений в этой области мы тоже лучше будем пока соблюдать осторожность. Тот факт, что природа человека, что раса и национальный характер меняются, Маркс в принципе усмотрел, и усмотрел, конечно, совершенно верно. А каким темпом и каким способом совершается это изменение, это уже вопрос специального исследования. Впрочем, все говорит за то, что при условии соответствующих воздействий изменения этого рода могут совершаться быстрее, чем предполагалось до сих пор.

ж) Естественные предметы труда.

Мы говорили о естественной стороне рабочей силы по двум причинам, хотя достигнутые нами для конкретного исторического анализа результаты пока еще довольно скудны. Во-первых, этот момент нужно было учесть из соображений полноты. А, во-вторых, мы должны были исправить одно ошибочное представление о взглядах Маркса на этот предмет, разделяемое многими действительными (и так называемыми) марксистами. Граф упрекает Маркса в игнорировании «первичных естественных фактов». Насколько несправедлив этот упрек, показывает — помимо всего вышеизложенного — именно позиция Маркса в вопросе о естественном моменте в трудовой квалификации человека. Хотя тогдашнее состояние науки не позволяло углубляться в детали, и поэтому Маркс должен был проявлять величайшую сдержанность в области конкретного материала, тем не менее принципиально он и здесь установил наличие и значение естественного момента.

Гораздо проще обстоит дело с двумя другими моментами производственного процесса. Здесь роль естественного момента, можно сказать, прямо бросается в глаза. Легче всего выясняются отношения в области предметов труда. С них мы и начнем.

Все предметы человеческого труда, еще не прошедшие через трудовой акт, относятся к естественной стороне этой категории [1]). Сюда должны быть поэтому причислены:

I. Все не культивируемые «сельскохозяйственным» способом растения и деревья, все дикие животные, включая рыб, поскольку они не разводятся искусственно [2]). Наоборот, сюда не относятся культурные растения и животные. Эти «животные и растения, обыкновенно рассматриваемые как продукты природы, являются не только продуктами, быть может, прошлогоднего труда, но в их нынешних формах—продуктами превращения, совершавшегося на протяжении многих поколений, под человеческим контролем, при посредстве человеческого труда» [3]).

II. Все так называемые богатства земных недр—железная руда, минералы, нефть. Ясно, что по мере роста промышленности эта вторая группа решительно выдвигается на первый план; и хотя добывающая промышленность охватывает в сущности обе названные группы (к ней относится «горное дело, охота, рыболовство и т. д. [1]), все же с началом промышленной эры в центре добывающей промышленности оказывается прежде всего горное дело [2]).

[1]) «Все вещи, только отделяемые трудом от их непосредственной связи с земным шаром, суть естественно преднаходимые предметы труда» (Das Kapital, т. I, стр. 141).

[2]) К земледелию в широком смысле слова Маркс относит и воспроизводство скота и рыб, а также разведение леса (Theorien, т. I, стр. 144).

[3]) Das Kapital, т. I, стр. 144.

Даже если исключить земледелие и его предметы (ибо ведь отбор и изменение семян производится трудом) [3]), то все-таки об'ем «естественно преднаходимых предметов труда» остается огромным. Все неорганические сырые материалы индустрии происходят из этого источника. При данной затрате труда и при данном техническом уровне производительность добывающего труда зависит от богатства земных недр.

Прежде чем перейти к разбору экономико-исторического значения этого вопроса, мы должны еще рассмотреть средства труда. Пока будет достаточно установить, что из общей совокупности предметов труда, подвергающихся воздействию общественного трудового процесса, все, за исключением продуктов земледелия в широком смысле, восходят к естественному источнику, не созданному трудом человека. Уже из этой, умышленно расплывчатой и абстрактной, формулировки можно видеть, как велико значение естественного момента в этом пункте производственного процесса, и притом как в примитивных обществах, так и на более высокой, промышленной стадии развития. Уже теперь становится ясно, что на различных ступенях производства естественный момент не одинаково важен для всех трех основных элементов трудового процесса.

з) Естественные средства труда.

Переходя к проблеме естественных средств труда, мы должны, прежде всего предостеречь от некоторых опасных упрощений и прямо ошибочных толкований, в роде, напр., предпринятых Г. Куновым в области обсуждаемых нами вопросов. Общие предметные предпосылки трудового процесса Маркс называет не только «условиями», как это выходит по Кунову [4]), но и «средствами» этого процесса—правда, средствами «в широком смысле» [5]). В интересах «отчетливой», т.-е. абстрактно отграничивающей, терминологии Кунов пожертвовал марксовым способом выражения, который отвергает точку зрения абстрактных определений, как диалектически невозможную [6]), и именно поэтому выражает многообразие и изменчивость реальных жизненных отношений в не застывших «метафизически» выражениях. В том-то и дело, что упомянутые общие предметные условия производственного процесса суть вместе с тем и косвенные средства этого процесса, в который они хотя прямо и не входят, но который без них «невозможен совсем или возможен лишь в неполном виде».

[1]) Там же.

[2]) Там же, стр. 567. В качестве представителей добывающей промышленности Маркс называет здесь только горное дело, т.-е. деятельность, направленную на добычу «металлической руды, минералов, каменного угля, камней». На изменение роли конкретных веществ природы, не имеющих экономического значения, несмотря на свое фактическое наличие, на одной ступени развития и приобретающих центральное значение на другой, Маркс указывает своим замечанием о том, как «различно... при различных способах производства влияние таких вещей, как залежи угля и т. д.» (Briefwechsel, т. III, стр. 349).

[3]) Das Kapital, т. I, стр. 144.

[4]) Cunow, в указ. месте, стр. 160.

[5]) Das Kapital, т. I, стр. 143.

[6]) Все существенное уже сказано об этом Гегелем. Энгельс ясно формулировал этот принцип, вполне признавая в то же время практическую полезность и даже необходимость «так наз. определений»: «Определения бесполезны для науки, потому что они всегда недостаточны. Единственное подлинное определение заключается в развитии самого предмета, но это уже не определение» (Диалектика и природа, в указ. месте, стр. 403).

Гораздо хуже этого терминологического недоразумения та ошибка по существу, в которую впадает Кунов. Он относит к общим препосылкам, к тому, что он называет «условиями производства», как данные в природе предметы труда, так равно и естественные запасы средств существования, леса, угля, металлов и т. д., а также плодородие почвы, водопады, судоходные реки и т. д. [1]). К такому совершенно несостоятельному взгляду Кунова, очевидно, привело его непонимание марксовой терминологии (вытекающее из глубоких методологических оснований). Перечисляя названные только что факторы, Маркс действительно говорит о «естественных условиях». Но эта группа условий вместе с тем представляет собою «средства» в более тесном смысле слова [2]). Без них трудовой процесс не только невозможен или возможен лишь в неполном виде, но они и непосредственно участвуют в нем, непосредственно входят в него. Средства труда в этом втором, более тесном смысле являются у Маркса, если исходить из результата или иметь в виду непосредственность участия в производственном процессе, «тем и другим вместе — и средством труда и предметом труда» [3]). Наконец, в наиболее тесном смысле средство труда есть «вещь или комплекс вещей, пролагаемых рабочим между собой и предметом труда и служащих проводниками его воздействия на этот предмет». При этом имеются в виду отнюдь не одни только механические воздействия. Рабочий «использует механические, физические, химические свойства вещей, чтобы заставить их действовать на другие вещи, согласно его целям» [4]).

Состоят ли все средства труда, применяемые человеком в общественном трудовом процессе, из приспособлений, являющихся результатами человеческого труда? Другими словами — все ли средства производства должны считаться общественными? Так это выходит у Г. Гортера [5]), который не

---

[1]) Cunow, в указ. соч., стр. 160.

[2]) «Оборудование и сырье», т.-е. средства и предметы труда, являются для рабочего «об'ективными условиями» трудового процесса (Theorien über den Mehrwert, т. II, ч. 2, стр. 297). См. далее Das Kapital, т. I, стр. 171. О двойном употреблении одного и того же термина ср. еще Das Kapital, т. I, стр. 178, прим. 29, где Маркс говорит: «Употребление одного и того же термина в различных смыслах неудобно, но не может быть вполне избегнуто ни в одной науке».

[3]) Das Kapital, т. I, стр. 143.

[4]) Там же, стр. 141.

[5]) H. Gorter, Der historische Materialismus, Штутгарт 1919 г., стр. 23. Каутский выпустил книгу Гортера, не отметив этой грубой ошибки в понимании исторического материализма. В книге самого Каутского «Этика и материалистическое понимание истории» мы находим, на ряду с отдельными приближениями к марксовой точке зрения, подобное же одностороннее преувеличение чисто «технического» момента. В своей об'емистой книге «Die materialistische Geschichtsauffassung» (Берлин 1927 г.) Каутский пришел, наконец, оставив позади точку зрения техницизма, к полному отказу от самостоятельного значения производительных сил, т.-е. фактически к идеалистическому в своих выводах взгляду. Хотя он и сейчас нередко говорит о существовании средств производства и даже не отрицает, на ряду с общественными, и естественных моментов (т. I, стр. 675 слл., 678, 682 слл., 691), однако последним фактором развития являются у него успехи естествознания и их технического приложения (стр. 810). «Развитие «материальных производительных сил» есть, таким образом, в конце концов только другое название для развития наших знаний о природе» (стр. 864). Каутский опирается при этом на одно место из «Теорий прибавочной стоимости», где Маркс будто бы солидаризируется с мыслями английского экономиста Hodgskin'a (Каутский, в указ. соч., стр. 813). К сожалению, Каутский не дочитал до конца главу Маркса о Hodgskin'e (мы не хотим думать о сознательной подтасовке, хотя, говорят, и это бывало): на самом-то деле Маркс только признает относительную правоту Hodgskin'a по сравнению с его оппонентами, против которых он сделал шаг вперед (Theorien, т. III, стр. 317). Но,—заявляет Маркс,—25-ю страницами ниже,—Hodgskin допустил в своей полемике ту ошибку, что слишком «подчеркнул суб'ект, так сказать суб'ективное в суб'екте, в противовес предмету...». Из-за этого он не заметил центрального значения предметных основ производства, составляющих «подлинное prius», настоящий «исходный пункт» (стр. 353). Таким образом Каутский вычитал из книги Маркса—и этим он пытается подкрепить свой суб'ективистический тезис—как раз обратное тому, что сказал и думал Маркс. Этот факт проливает интересный свет (если исключить сознательную подтасовку) на степень знакомства Каутского с текстом Маркса. Его незнание элементарных мыслей Маркса, вообще характерное для его последнего труда, в данном случае особенно неожиданно, так как ведь не кто иной, как Каутский, издал «Теории прибавочной стоимости», и, поскольку он сам перевел все встречающиеся там цитаты, должен же он был хоть раз внимательно прочесть текст.

только не видит никаких естественных средств труда, но который хотел бы и общественные производительные силы всецело ограничить областью «техники» (при этом он совершенно забывает об общественной стороне рабочей силы, о трудовой квалификации и организации труда). Трудно грубее извратить действительное положение вещей (и марксову характеристику этого положения), чем это делает в данном случае Г. Гортер! Достаточно внимательно прочесть классическую главу о трудовом процессе в I томе «Капитала», чтобы вполне уяснить себе взгляд Маркса. Земля является для человека «исконным арсеналом средств труда». Здесь первобытный человек находит, таким образом, средства труда, которыми он может пользоваться, не изменяя их. На более высокой ступени развития земля сама становится для человека средством труда—в земледелии. Чтобы использовать это средство, он нуждается, правда, «в целом ряде других средств»—и тут мы подходим к историческому моменту, присущему всем естественным элементам производства, о чем принципиально будет речь ниже,—но при наличии этих предпосылок этот новый «производственный фактор» [1]) действует в сельском хозяйстве с огромной силой. Во всяком случае производственный фактор «земля» есть естественный фактор; никакие общественно-исторические модификации не упраздняют его естественности, а только сообщают этой последней новую, более высокую (или более низкую) форму [2]). Поскольку человек не «творит» плодородие почвы, а только берет и использует ее, она является для владельца земли даровым средством труда, «даром природы», точнее—«производительной силой природы». «Здесь, в земледелии, сотрудничество сил природы, повышение рабочей силы человека путем использования и эксплоатации сил природы, дано в общем и целом с самого начала» [3]). Итак, земля, это «важнейшее средство производства» [4]), представляет собою «естественную производительную силу» [5]) наивысшего ранга, «даровую производительную силу» [6]), содействие которой в земледельческом производственном процессе влечет за собой самые серьезные общественные последствия.

Если Маркс, чтобы нагляднее уяснить активную роль этого средства производства, часто прямо сравнивает плодородие почвы с машиной [7]), которая только в отличие от фабричных машин ничего не стоит, то это нисколько не мешает ему помнить о тех сложных и многообразных путях, какими плодородие почвы воздействует на растения. Помимо своей механической функции, как вместилища, почва влияет на растение своим «хими-

---

[1]) Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 214, 351.

[2]) Das Kapital, т. I, стр. 567. «При более постоянных улучшениях почвы, искусственно повышенная дифференциальная продуктивность почвы совпадает, после истечения арендного договора, с ее естественной продуктивностью» (Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 214). См. также стр. 278—о «так наз. постоянных мелиорациях». Очень важны далее формулировки в «Теориях прибавочной стоимости»—т. II, ч. 1, стр. 301 слл., 337, 338, 343.

[3]) Theorien, т. I, стр. 40.

[4]) Там же, т. II, ч. 1, стр. 207.

[5]) Das Kapital, т. I, стр. 480.

[6]) Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 278.

[7]) Theorien, т. II, ч. 1, стр. 173 и 280.

ческими составом» [1]); при этом Маркс показывает на примере мелиораций, что одни питательные вещества прямо переходят в растительный продукт, а другие сохраняются в почве в своем первоначальном химическом виде, так что здесь «средство труда, вспомогательный материал и сырье» «сливаются» друг с другом [2]).

Два возражения могут быть выдвинуты против такого взгляда. С точки зрения, чрезмерно подчеркивающей общественный момент, можно сказать, что в конце концов только человеческим трудом создается земледельческий продукт. Не приобретает ли, в виду трудового воздействия человека на почву, весь процесс земледельческого производства чисто-общественный характер? Противоположная точка зрения, на которой стоит Э. Давид, считает природу «непосредственной производительницей», на ряду с которой труд человека играет лишь второстепенную роль [3]). Обе эти точки зрения не учитывают своеобразия земледельческого производства. Первая забывает о том, что в земледелии, как и в родственных отраслях, производственное время не совпадает с рабочим, что здесь имеются «промежутки», «во время которых предмет труда предоставляется воздействию физических процессов, без дополнительных трудовых усилий человека. Производственный процесс, а стало быть и работа средств производства, в этом случае продолжается, несмотря на то, что трудовой процесс прерван, а стало быть прервана и работа средств производства, поскольку они являются средствами труда». «Производственное время в данном случае больше рабочего времени [4]). Экономическая функция физических процессов в почве и в области метеорологических явлений изменяется таким образом весьма существенно; они перестают быть средствами труда, по крайней мере на время прекращения трудового процесса, но продолжают действовать как средства производства в процессе, которому труд дает только определенный толчек, «поставив средства производства в такие условия, что они без дальнейшего содействия труда, в результате одних лишь естественных процессов, сами собой претерпевают желаемое изменение» [5]). Вспомним после всего сказанного утверждение Гортера, для которого производительные силы исчерпываются техникой, и мы тотчас же поймем полную несостоятельность этой позиции, не учитывающей в общем комплексе производительных сил естественный момент (а равно и ряд общественных моментов).

Давид, в своем стремлении подчеркнуть своеобразие земледельческого производства против якобы марксова взгляда, что «производственный процесс в сельском хозяйстве и промышленности по существу одинаков» (снова грубейшее непонимание того, что Маркс действительно думал по этому вопросу!) [6]),—Давид вовсе не признает в данном случае рабочего непосредственным производителем. Он забывает, что именно трудящийся человек организует земледельческий производственный процесс и дает ему определенный толчек и что он не только направляет его, но и «немножко творит» [1]). Верно, что в земледелии он должен считаться со своеобразием предмета своего труда. Но и в промышленности трудящийся человек должен приспособлять свою деятельность к своеобразию предмета труда, и здесь вся его деятельность сводится к тому, что он заставляет определенные свойства группы вещей действовать на другую вещь. Другой формы «непосредственно производства» не существует. Если в земледельческом труде, как в его предмете, так и в его средствах, содержатся трудно уловимые, «случайные» элементы, то это, конечно, затрудняет задачу точного учета производительности данного труда [2]), но он сам не перестает из-за этого входить в качестве непосредственного труда в производственный процесс. В своем стремлении противопоставить друг другу сельское хозяйство и промышленность, как две принципиально несравнимые области хозяйства (в основе лежит стремление отрицать в земледелии наличность тенденции к концентрации) [3]), ревизионист Давид приходит к такому воззрению на преобладающую роль природы в сельском хозяйстве, которое самым плачевным образом сближает его со взглядами физиократов в этом вопросе.

На ряду с почвой Маркс приводит, как важное естественное средство труда, воду. На различных ступенях производства вода используется различно в качестве средства производства. Богатые рыбой воды [4]) служат одновременно вместилищем и питомником для живущих в них диких или искусственно разводимых рыб. Вода орошения увлажняет и питает растения [5]).

---

[1]) Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 190.

[2]) Там же, т. II, стр. 129. Э. Давид упрекает Маркса в том, что за механической функцией почвы, как проводящей труд среды, он поз был о ее химическом действии, как источника питания. К тому же почву «можно в такой же мере считать сырьем, как и средством труда» (Sozialismus und Landwirtschaft, 2-е изд., Лейпциг 1922 г., стр. 47). Как показывают приведенные в тексте места из Маркса (число их мы легко могли бы увеличить), Маркс не только удовлетворил в своем анализе всем требованиям, которые пред'являет Давид, но и пошел значительно дальше. Что сказать о научном уровне «опровержения Маркса», одним из важнейших орудий которого является местами прямо гротескное незнание опровергаемого автора!

[3]) David, в указ. соч., стр. 144.

[4]) Das Kapital, т. II, стр. 93.

[5]) Там же, стр. 95.

[6]) Что Маркс превосходно видел специфические различия между промышленностью и сельским хозяйством, ясно из всего вышеизложенного. Содействие даровых сил природы создает на определенной ступени производства отличие от еще ремесленной на этой ступени промышленности. Однако это различие исчезает вместе с дальнейшим развитием индустрии. Зависимость производства органических продуктов от «случайностей природы» никто не сознавал яснее Маркса, то-и-дело подчеркивающего этот момент. «Дело в том, что в одном случае производительная сила применяется в заранее определенном масштабе, а в другом—зависит от случайностей природы» (Theorien, т. II, ч. 1, стр. 77 слл. Ср. далее Theorien, т. I, стр. 275, прим.). Правда, в отличие от ревизионистов Маркс решительно настаивал на том, что, несмотря на все естественно обусловленные различия законы капиталистического производства действуют и в сельском хозяйстве.

[1]) Theorien, т. II, ч. 1, стр. 224.

[2]) Иррациональный момент во всяком производстве органических веществ Маркс подчеркивает самым энергичным образом. Что касается «животно-органических процессов,—говорит он,—посредством которых создаются шерсть, шелк и кожа», а также «растительно-органических» процессов, производящих хлопок, полотно и т. д., то «капиталистическому производству до сих пор еще не удалось и никогда не удастся (! *К. В.*) распоряжаться этими материалами так же, как чисто-механическими или минерально-химическими» (Theorien, т. III, стр. 430).

[3]) Утверждая проникновение капиталистического производства и в сельское хозяйство, Маркс вместе с тем ясно указал на факт «медленной и неравномерной» капитализации этой отрасли производства (Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 216). В об'яснение этого факта он приводит три группы причин: во-первых, естественную (обусловленная сменой дня и ночи граница удлинения рабочего дня и продолжительность производственного периода «уменьшают массу прибавочной стоимости, создаваемой в земледелии» (Theorien, т. II, ч. 1, стр. 175); во-вторых, экономическую, кореняющуюся, впрочем, в своеобразии естественного субстрата, в фактической невозможности увеличить в данном случае количество средств производства (благодаря существованию поземельной ренты все капитальные вложения арендатора-капиталиста неизбежно переходят, в конце концов, в карман землевладельца; «это представляет вместе с тем... одну из наибольших помех рациональному сельскому хозяйству, ибо арендатор избегает всяких улучшений и расходов, которые по его расчетам не могут окупиться полностью в течение арендного срока». Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 159); и, наконец, научную, которую, однако, Маркс, как это ни грустно для Каутского, не считает решающей (речь идет о позднем сравнительно с развитием механических наук развитии дисциплины, важных для агрономии, т.-е. «химии, геологии и физиологии». Das Kapital, т. III, ч. 2, стр. 293).

[4]) Das Kapital, т. I, стр. 476.

[5]) Там же, стр. 478.

Судоходные воды [1]) являются одним из важнейших вспомогательных средств транспорта. Водопады [2]) приводят в движение мельницы [3]), турбины и т. д.; играя, таким образом, в промышленности роль важной производительной силы природы.

Другие естественные производительные силы, энергии угля, водяного пара, металлов, электричества, природное богатство которых приобретает решающее значение на высшей исторической ступени [4]), сами по себе точно так же ничего не стоят, как естественное плодородие почвы или полезные свойства воды [5]); но для их использования требуются (и поэтому они становятся действенными только на более высокой ступени экономического развития), как требуются и для земледельческой эксплоатации плодородия почвы, определенные средства труда, общественно произведенные и, следовательно, имеющие некоторую «стоимость» [6]). Проблема отношения между естественно данными и общественно созданными производительными силами—отношения, к выяснению которого и направлено в конечном счете все наше исследование,—встает здесь снова с величайшей настойчивостью.

и) Заключение.

Но пока мы не можем ответить на этот вопрос, ибо для его решения требуется еще выяснить ряд дальнейших промежуточных звеньев. А теперь, следуя примеру Маркса в его изображении трудового процесса и абсолютной и относительной прибавочной стоимости, мы представим все вышесказанное в виде простой и абстрактной схемы, которая послужит нам исходным пунктом для об'единения и исторической дифференциации того, что выше было изложено в изолированном виде и лишь с беглыми намеками на значение исторического момента.

Все три простые момента трудового процесса имеют, на определенной ступени развития, естественную и общественную сторону.

СХЕМА № 1

Три основные момента трудового процесса после развития их общественной стороны

Общественная сторона:	Организация. Квалификация (умение и знание).	Машины. Инструменты.	Сырье (прошедшее сквозь „фильтр" труда).
	Рабочая сила	Средства труда	Предмет труда
Естественная сторона:	„Природа человека" (раса, национальный характер).	Силы природы (свойства почвы, воды, ветер, тепло, пар, электричество и т. д.).	Природные вещества, „имеющиеся независимо от промышленного труда человека".

Что естественная и общественная стороны не противостоят друг другу в мертвой неподвижности, это мы уже конкретно показали при исследовании расового момента и плодородия почвы. Но переход естественных черт в общественное и обратно доказывает только, как и в случае соотношения производительных сил и производственных отношений, что границы в при-

[1]) Там же, стр. 476.
[2]) Там же, стр. 476.
[3]) Там же, стр. 313.
[4]) Там же, стр. 476.
[5]) «Силы природы, как пар, вода и т. д., используемые для производственных целей, тоже ничего не стоят». Das Kapital, т. I, стр. 350; т. II, стр. 329; т. III, ч. 2, стр. 183; Theorien, т. II, ч. 1, стр. 207; ч. 2, стр. 341.
[6]) Das Kapital, т. I, стр. 350; Theorien, т. III, стр. 220.

роде и обществе, как и между природой и обществом, являются текучими, подвижными. Существование реальных различий этим не упраздняется [1]).

Установив, таким образом, принципиальную связь рассматриваемых явлений в ее самой общей и абстрактной форме, мы попытаемся теперь выяснить, как в ходе исторического развития естественный момент изменяется в своем обнаружении, вследствие передвижки его центра тяжести в пределах трех простых моментов. Примитивными обществами мы называем те, которые живут, главным образом, добычей диких животных и растений. В выражении «докапиталистические земледельческие классовые общества» слово земледелие берется в том широком смысле, которое ему дал Маркс [2]) и которое охватывает также кочевой общественный уклад, при чем, однако, последний, как, впрочем, и аграрные общества, обнаруживает на своих ранних стадиях лишь незначительную социальную дифференциацию.

СХЕМА № 2

Передвижка значения естественного момента в области трех основных моментов производственного процесса по мере исторического развития

Тип производства		I. Рабочая сила	II. Средства труда	III. Предмет труда
Примитивн. общества (охота, рыболовство).		Обществ. сторона: развитие зависит от III, через посредство II.	Обществ. сторона: инструменты.	Безусловное преобладание добывающего момента (значение природных веществ).
		Естествен. сторона: раса, стихийное разделение труда.	Естествен. сторона: почти не развита.	
Докапиталистические земледельческие классовые общества.		Обществ. сторона: зависит главным образом от II.	Обществ. сторона: инструменты.	Добывающий момент играет роль только в подчиненной области промышленности (ремесленной), в земледелии же преобладают органические „сырые материалы").
		Естествен. сторона: раса (?).	Естествен. сторона: имеет решающее значение [3]) (плодородие почвы, вода—„Азия").	
Промышленный капитализм	Мануфактура	Обществ. сторона: создает новую эпоху (кооперация, как „общественная сила природы").	Обществ. сторона: инструменты.	Как прежде. Пока преобладает текстильная промышленность, добывающий момент не играет большой роли.
			Естествен. сторона: водяная энергия.	
	Машинная промышленность	Обществ. сторона: Определяется фактором II (наука).	Обществ. сторона: машины.	Добывающий момент начинает играть чрезвычайно важную роль; рост значения добывающей промышленности, доставляющей сырье.
		Естествен. сторона: (?).	Естествен. сторона: огромное значение сил природы.	

(Окончание следует).

[1]) Kritik der politischen Ökonomie, Einleitung, стр. XVII.
[2]) Theorien, т. I, стр. 214.
[3]) Включая климат.

К теории банковского кредита.

(Капиталоаккумуляция и кредитная эмиссия).

З. Атлас.

Кредит относится к «верхнему этажу» категории марксовой политической экономии. Развитие теоретической системы от абстрактного и общего к конкретному и особенному приводит нас к кредиту, как наиболее конкретной категории. Ей предшествуют—стоимость, деньги, капитал, воспроизводство, цены производства. Эти категории служат необходимой предпосылкой или базисом при исследовании проблем кредита. Но самое это исследование не может ограничиваться постановкой и решением только общих проблем теории кредита, как-то: сущности кредита и его развития из категории денег и капитала, абстрактной трактовки вопроса о единстве или двойственности денежного рынка, или разграничения коммерческого и банковского кредита и т. д.

Ограничиться кругом только этих вопросов — это значит остановиться на полпути. Мы знаем, какой колоссальный конкретный материал привлек Маркс при трактовке проблем кредита. Общие же рассуждения о кредитных проблемах, поскольку они не увязываются с действительностью, не раскрывают ее многообразие и не сводят последнее к единству, — остаются, по меньшей мере, бессодержательными, ибо сущность без явления есть бессмыслица. Это ни в коем случае не должно быть понято, как посягательство на абстрактный метод теоретического исследования. Однако этот метод есть не что иное, как метод исследования конкретной действительности (для нас не существует аммоновской противоположности об'екта опыта и об'екта познания), а не бегства от действительности, когда абстракция может превратиться в логическую казуистику, нужную разве только для гимнастики ума.

В отношении кредита—а нас в первую очередь интересует банковский кредит—мы должны, на основе общей теории, дать исследование не только общих, но и всех особых форм кредита, и увязать их в единую систему. В частности, исследованию подлежит не только банковский кредит вообще, но и все его конкретные формы, а именно: актив и пассив и балансовое их равновесие. Фундамент такого исследования конкретных форм банковского кредита заложен Марксом в XXIX главе III тома «Капитала», где речь идет о «составных частях банковского капитала». Разработка и дальнейшее развитие этой стороны марксовой экономической теории только еще начинается...

* * *

В балансе капитал выступает, как некая независимая от конкретных лиц сущность («юридическое лицо»), как самостоятельный

об'ект капиталистических отношений. В балансе «капитал-вещь» как бы олицетворяется, и эта бесплотная сущность живет в мире цифр, а человеческая деятельность представляется, как функция этих цифр. Люди и товары для бухгалтерии приравнены друг к другу, и различия между «Счетом Иванова», «Счетом поставок сахара» и «Счетом кассы» сводятся к чисто-количественным отношениям [1]). «Капитал-сущность» живет своей самостоятельной жизнью, обладает вполне определенной «целеустремленностью»—плодить деньги, увеличивать их количество на балансе. Как мелкий акционер, так и крупный капиталист-собственник рассматривает свое предприятие и его лицо — баланс, как особый, отличный от его личной жизни, об'ект, как «капитал», как вторую «личность», деятельностью которого он пользуется... Фетишизм капитала находит в балансе свое полное завершение: то, чем располагает эта «сущность»—капитал, дано в активе баланса, в котором инвентаризирована имущественная ценность капитала. В пассиве фиксируется принадлежность этих ценностей или «обязательства» капитала как к самому себе, так и к другим «лицам», которые в свою очередь представлены в бесконечной цепи промышленных, торговых и банковских балансов, как самостоятельных «капиталах-сущностях».

И актив, и пассив — категории глубоко фетишистические, и поэтому представляет большую трудность вскрыть материальное содержание и социальные отношения, скрытые за сухими колонками цифр банковского баланса. В балансе мы сталкиваемся почти исключительно с фиктивными ценностями. И если в промышленном предприятии сравнительно легко вскрыть за фикцией реальность, то это представляется гораздо более сложной операцией при анализе банковского баланса. В действительности сам банк, как предприятие, не имеет ничего, кроме своего здания, ибо даже касса банка большей частью заключается в «текущих счетах» у центрального эмиссионного банка (Англия) и так называемых «легко-реализуемых ценностях», следовательно, даже и «наличность» — фетишизма [2]). Далее, то, что для одного банка актив, обязательно является для другого банка или предприятия—пассивом, и наоборот. Различие между активом и пассивом совершенно извращается в том случае, когда одна и та же операция, как, напр., акцепты в одной и той же сумме, фигурирует и на левой стороне (актив) и правой (пассив), или когда, как в Англии, активная операция механически отражается и в пассиве.

Но, при всей условности и фетишистичности понятий актива и пассива, деление всех кредитных операций на эти две основные формы не лишено реального экономического смысла. «Двойная бухгалтерия» и «двойная форма баланса» отражают двусторонний и всегда противоречивый характер всех кредитных операций и социальных отношений, ими выражаемых. Нельзя, конечно, представлять себе так называемый денежный и капитальный рынки (по Беккерату, единый «кредитный рынок») чисто-механи-

---

[1]) «Двойная бухгалтерия,—говорит Зомбарт,—рождена тем же умом, что и системы Галилея и Ньютона... Теми же средствами, что и последние, она приводит факты в искусную систему, и ее можно определить как первый космос, построенный на принципе механического мышления. Двойная бухгалтерия раскрывает нам космос хозяйственного мира по тому же методу, по какому позже великие естествоиспытатели раскрыли космос звездного мира... Двойная бухгалтерия базируется на последовательно проведенной основной мысли о том, чтобы понимать все явления лишь как количества» (Цит. по О. Шпенглеру, Деньги и машина, Лгр. 1922 г., стр. 50. Разрядка наша. *(З. А.)*.

[2]) «В большей своей части банкирский капитал совершенно фиктивен и состоит из долговых требований (векселей), государственных бумаг (представляющих прошлый капитал) и акций (удостоверений на получение будущего дохода)». Маркс, Капитал, 1923 г., т. III, ч. 2, стр. 7—8.

стически, как резервуар, куда «вливаются» и откуда «выливаются» капиталы в денежной форме. Заем и ссуду нельзя отрывать друг от друга. Каждый заем есть в то же время и ссуда, и каждая ссуда есть заем. Они суть «единство противоположностей», и, конечно, между этими противоположностями налицо противоречие.

Двусторонний банковский баланс и есть это единство займа и ссуды. Если мы исключим банковский инвентарь (здание и пр.) и возьмем так называемую «продуктивную часть баланса», то найдем и это единство и эти противоположности. Активу или «вложениям» в точности соответствует пассив или «вклады» в широком смысле. И хотя в действительности каждый кредитный акт является одновременно активно-пассивным (например, вклад в банк фигурирует как активный счет на балансе клиента и как пассивный—на балансе банка), однако в целях теоретического анализа мы должны рассмотреть раздельно каждую из сторон этой противоположности. Мы берем банк и рассматриваем сначала его пассивно-активную (так называемые «пассивные операции») и затем активно-пассивную (так называемые «активные операции») стороны, чтобы затем выяснить закономерности равновесия актива и пассива.

Самая общая экономическая (но не банково-техническая) классификация форм банковского кредита может быть представлена в таком виде:

I. Формы образования фондов кредитования: а) аккумулированные; б) эмитированные.

II. Формы реализации фондов кредитования: а) в процессе денежного кредита (обращение); б) в процессе капитального кредита (производство). В том числе кредитование: 1) в основной и 2) в оборотный капитал.

Раздел I фиксируется на пассиве баланса, раздел II—на активе. Пассивная сторона баланса банка является активной стороной балансов его клиентов. Анализ форм банковского кредита мы и начинаем с пассивно-активной стороны или с анализа форм образования кредитных фондов.

I. Аккумулированные пассивы.

Заемщиком в этом случае выступает банк, заимодавцем—его клиенты. Эти последние, преследуя свои собственные интересы, добровольно ссужают банку свои денежные средства на те или иные сроки. Но первой «ссудой», полученной банком, первой, ибо только этим актом и создается банк, есть выпуск акций. Поэтому аккумулируемую часть пассивов мы делим на: 1) эмиссию собственных фондов, 2) депозиты, 3) всякого рода переходные суммы» и в том числе по счетам корреспондентов Loro и Nostro и 4) переучет и перезалог.

В свою очередь I группа делится на эмиссию: а) акций и б) облигаций. Очень часто номинальный акционерный капитал банка меньше оплаченного; акционеры также в иных случаях несут дополнительную ответственность перед своими кредиторами сверх суммы оплаченного капитала. Но нас эти особые моменты не интересуют. Если сумма фигурирующего на балансе «акционерного капитала» меньше фактически оплаченного, то мы должны теоретически «списать» эту неоплаченную часть в пассиве и задолженность в активе, чтобы получить чистое сальдо «акционерного капитала».

С точки зрения чисто-количественных пропорций, собственные средства банков (акционерный капитал + резервы) играют как будто незначительную роль. Так, по балансу на 31 июля 1928 г. у «Deutsche Bank» Aktienkapital + Reserven составляли 227,5 млн. марок, в то время как «Кредиторы»—2.141,9 млн. марок; у «Disconto-Geselschaft»—186 млн. марок и 1.196,6 млн. марок; у 94 кредитных банков, включая даже ипотечные банки—1.430 млн. марок и 11.442,2 млн. марок и т. д. [1]). Еще более низкая пропорция у английских банков [2]). Однако было бы ошибкой считать, что «собственные средства» банков вообще не играют никакой роли. Такую ошибку как раз совершает Ган, когда он под «пассивами» понимает одни текущие счета и вклады. В действительности же самое привлечение депозитов, а также их создание обусловлено наличием аккумулированных банком капиталов в форме эмиссии собственных акций и облигаций [3]). Поэтому Aktienkapital является неотъемлемым и необходимым элементом банковских пассивов, и то доверие, пользуясь которым, банки усиленно привлекают и создают депозиты, является производным от величины собственных средств. Созданные и привлеченные депозиты банков могут быть больше «собственных средств» (которые также являются привлеченными, но в отличие от депозитов они закреплены навсегда за банком), в 5, 10 или 20 раз, но они не могут быть больше в 50 или 100 раз; тут играет роль не только или не столько законодательная нормировка этих пропорций, сколько закономерность об'ективного порядка, которая диктует определенные нормы этого соотношения и указывает точку равновесия элементов пассива и актива.

Эти «собственные средства» являются безусловно фундаментом всей банковской деятельности. Как в строительном деле всегда считаются с техническими законами, допускающими при данной мощности фундамента постройку здания в 5 или 10 этажей, но не в 50 или 100 этажей, точно так же обстоит дело и с фундаментом банковских операций.

Если продолжать эту аналогию, то можно сказать, что как для предпринимателя-строителя закладка фундамента является лишь средством для постройки этажей, так же точно и банк концентрирует «собственные средства» только для того, чтобы сначала получить самую возможность, а затем, по мере укрепления фундамента, развертывать свои пассивные и активные операции. Задача банка сводится к тому, чтобы как можно рациональнее использовать свой фундамент, чтобы построить как можно больше этажей, т.-е. развить депозиты, к анализу которых мы переходим.

* * *

Поскольку сейчас речь идет только об аккумулированной части кредитного фонда, постольку мы должны из депозитов исключить ту их часть, которая не является действительными вкладами. Мы говорим, следовательно, о «вкладах», как вкладах, т.-е. о фактическом вложении средств клиентами в банк. Конкретно такой операции исключения «фиктивных» вкладов по банковским балансам и отчетам сделать невозможно (хотя приблизительно Яффе устанавливает пропорции обоих видов депозитов), но теоретически это необходимо. При этом форма самого вклада безразлична, иными словами, аккумулированный фонд мы имеем как в том случае, когда вносится золотая монета или банкноты, так и в том, когда банк А получает чек на банк В. Правда, для банка В выдача этого чека может быть результатом не аккумулирования средств, но прямого создания депозита, но для банка А—это аккумулированный фонд. Важно то, что банк В пустил в обращение

[1]) Данные взяты из «Die Bank. Monatshefte für Finanz- und Bankwesen», herausg. Alfred Lansburgh, 1928, Heft 9, S. 586.

[2]) Собственные капиталы и резервы у крупных английских банков составляют в среднем 6% (См. Wade, Moderne Finance and Industry, London 1926, p. 19).

[3]) Проф. З. С. Каценеленбаум совершенно прав, полагая, что «в акционерных коммерческих банках существует деление акционеров на активных и пассивных», и потому «для громадного большинства акционеров банк является не своим, а «чужим» предприятием, а помещение капитала в акции является видом кредита (передачей капитала чужому предприятию») («Учение о деньгах и кредите», ч. II, стр. 196).

платежные средства, но эти последние оказались снова вытолкнутыми из обращения, ибо они осели, т.-е. аккумулированы, в банке А.

Но аккумулированные фонды кредитования не представляют собой с точки зрения их происхождения однородной массы. Поэтому вполне обосновано стремление экономистов расчленить этот фонд и дать экономические определения каждой его части. Так Яффе делит вклады на Kassenführungkosten-Currentaccounts и Spareinlagen-Depositaccounts, т.-е. на кассовые «текущие счета» и «вложения сбережений на депозиты» [1]). Но «кассовые средства»—это нечто не совсем определенное, и границу между ними и сбережениями трудно провести.—Если «касса» хронически велика и известная ее часть длительно остается вне дневного оборота, то эта последняя несомненно образует «Spareinlagen».

Heiligenstadt пытается подойти с другим критерием. Он делит «чужие деньги» банка в зависимости от того, «притекают ли эти деньги из круга производителей или из круга потребителей» [2]). В зависимости от этого деления Heiligenstadt ставит вопрос об использовании «чужих средств» по активам. Но для нас это деление не приемлемо уже по одному тому, что мы рассматриваем самое потребление, как момент производства и воспроизводства, и поэтому в каждом производителе видим в то же время и потребителя.

Этот же самый момент производства и потребления фигурирует в наиболее удачном делении депозитов Адольфа Вагнера на «денежные» (Gelddepositen) и «капитальные» (Kapitaldepositen). «Денежные депозиты»—это средства, которые предназначены для «потребления», т.-е. подлежат расходованию; наоборот, «капитальные депозиты» предназначаются для «производительного пользования», т.е. в качестве капитала [3]).

Но вкладчик вносит все свои свободные средства в банк для того, чтобы получить проценты, и если деньги в банке на текущем счету, то уже одно это говорит, что они всегда могут быть израсходованы, и, следовательно, по Вагнеру, не могут быть использованы для «производительных целей». Следовательно, все депозиты (за исключением тех, специальная долгосрочность или вечность которых оговорена), по Вагнеру, должны были бы считаться «денежными депозитами».

Поскольку речь идет только о депозитах (активы пока оставим в стороне), постольку необходимо выяснить лишь источники образования этих депозитов, и поэтому не бесцельны и те классификации депозитов, которые исходят из различных групп пассивной клиентеллы банков. Таковыми являются, например, классификации Weber'a, Obst'a и др. Obst делит все депозиты на 4 группы:

1) «Spargelder» (сбереженные деньги), которые вносятся в банк с тем, чтобы истребовать их лишь в исключительных случаях.

2) «Einkommensrücklagen der Festbesoldeten» (вклады лиц с фиксированными доходами), а также врачей, работников искусств и т. д. Эти деньги в течение известного срока целиком расходуются, а затем новые суммы опять поступают на счет.

3) «Betriebsreserven der Unternehmungen» (оборотные резервы предприятий)—об'ем и подвижность этой части депозитов зависит от общих хозяйственных условий.

4) «Schek- und Giroguthaben» (чековые и жиро-счета)—для осуществления платежного оборота [4]).

[1]) Jaffé, Das englische Bankwesen, 1 изд., стр. 181.
[2]) Verhandlungen des Deutschen Landwirtgenossenschaftstagen am 1 и 2 Juli 1909. Цит. по Obst'y, Das Bankgeschäft, S. 372.
[3]) «Beiträge zur Lehre von Banken», 1857, S. 372.
[4]) Obst, II, S. 373.

Более удовлетворительной из построенных на том же принципе является классификация депозитов Вебера: 1) депозиты-сбережения, 2) временные вложения (Zwischenanlagen) и 3) кассовые депозиты: а) кассовые резервы коммерсантов, имеющих текущие счета в банках; б) «депозиты домашних хозяйств», т.-е. денежные средства, предназначенные для текущих расходов этих последних [1]).

Все эти классификации имеют и свои достоинства и свои недостатки [2]). Но, помимо прочих, общим для всех их деффектом мы считаем то, что все они, пытаясь дать общую классификацию депозитов, в действительности дают лишь классификацию одной части депозитов, а именно только аккумулированных. Основным же общим делением является проведенное деление депозитов на созданные и аккумулированные. Что касается этой последней части, то здесь следует различать: 1) простое превращение денег в ссудный капитал, 2) превращение капитала или дохода в деньги, которые превращаются в ссудный капитал [3]).

В процессе кругооборота производительного капитала в разных пунктах и в разные моменты, когда капитал облекается в «денежную куколку», высвобождаются из обращения деньги, и в форме депозитов происходит это «простое превращение денег в ссудный капитал». Это те деньги, которые на данный, быть может, очень краткий, равный дню или даже часу, период выброшены из обращения и попали в банк, который вновь пытается бросить их в обращение. Субстратом этих депозитов являются именно деньги, средства обращения, а не капитал или доход, который они приводят в обращение.

С другой стороны, на депозитах концентрируется доход (v + m), который в этой денежной форме подлежит превращению в капитал. Наконец, на те же депозиты поступают и капиталы, извлеченные из одной сферы производства, переносимые в другую сферу и на время этой миграции временно находящиеся в денежной форме. Все эти три формы депозитов могут быть «Kassenführungkosten» Jaffe или «Swischenanlagen» Weber'a, поскольку они не закрепляются за банком, но извлекаются его пассивной клиентеллой для осуществления того кругооборота, который они могут и должны совершить, т.-е. для кругооборота Д—Т и превращения в П (производительный капитал).

Но в качестве Spareinlagen могут рассматриваться только две последние формы, т.-е. когда капитал или доход превращается в ссудный капитал и закрепляется за банком, который берет на себя функцию капитального кредитования. Но если этого закрепления за банком капитала или дохода в денежной форме не происходит, т.-е. если деньги, вложенные вчера, сегодня этими владельцами капитала или дохода извлекаются для того, чтобы быть в форме, отличной от депозитов, превращенными в ссудный капитал (например, покупка акций, закладных листов, госуд. облигаций) или для непосредственного превращения в производительный капитал, то и они становятся «Kassenführungkosten» или «Swischenelnlagen». Поэтому наиболее правильным нам представляется деление депозитов Вагнером на Gelddepositen и Kapitaldepositen, но лишь самое деление, а не обоснование его Вагнером. «Кассовыми депозитами» (Яффе), «временными вложе-

[1]) Вебер, Депозитные и спекулятивные банки, ГИЗ, 1927 г., стр. 108.
[2]) Проф. З. С. Каценеленбаум, давая подробный и ценный анализ притока ссудных капиталов на денежный рынок, не останавливается специально на классификации банковских депозитов с точки зрения своей схемы денежного рынка. Но сама эта схема более полна, чем приведенные здесь классификации Обста или Вебера, так как в схеме денежного рынка проф. Каценеленбаума учтены все источники образования свободных денежных капиталов, и удельный вес каждого источника в отдельности (См. «Учение о деньгах и кредите», ч. 2, гл. III).
[3]) Маркс, Капитал, т. II, ч. 2, ГИЗ, 1923 г., стр. 33.

ниями» (Вебера), «денежными депозитами» (Вагнера) являются просто деньги; в одном случае эти деньги, находясь на текущем счету в банке, не перестают быть составной частью функционирующего капитала, а именно, являются кассовой наличностью капиталистических предприятий, которая лишь перенесена из одного пункта (кассы предприятия) в другой (банк). В другом случае они представляют собой «денежную куколку» извлеченного из производительного предприятия капитала или денежный доход; эти деньги не осели, но, мы бы сказали, только «присели» в банке, чтобы осуществить свой кругооборот помимо банка. Но в том и другом случае в банке концентрируется не капитал, но просто денежная наличность, которая в качестве капитала либо уже функционирует, либо будет ссужена в иной форме, либо будет непосредственно реализована владельцем в производительный капитал. Это вклады чисто-денежного происхождения, которые мы условно будем называть «текущими счетами».

Иное дело рентные или капитальные вклады, которые для краткости мы будем называть просто «вкладами». Элементарный случай здесь тот, когда вы вносите в банк 100.000 руб. в качестве долгосрочного или даже вечного вклада, оговариваете за это себе 6% годовых и живете на годовую ренту в 6.000 р., не трогая своего капитала, который в неприкосновенности перейдет к вашему наследнику. Следовательно, здесь вкладываются в банк не просто деньги, не временно-свободная денежная наличность, но деньги, владелец которых на данный длительный срок отказывается от распоряжения ими, и поручает банку ссудить их как капитал производительному капиталисту. Конечно, это основное генетическое различие между денежными и рентными или денежными и капитальными депозитами или между текущими счетами и вкладами так или иначе, явно или скрыто, но всегда включается в классификации депозитов [1]). Это и не могло быть иначе, ибо обе эти формы депозитов, вытекая из внутренних закономерностей воспроизводственного процесса, проявляются и в коммерческой практике, и банк в действительности не может не считаться с различной природой отдельных частей аккумулированных им депозитов. Но все теоретики, индуктивно-эмпирически уловившие эти факты, ограничились выяснением различий между этими формами и упустили их внутреннюю связь.

Образование депозитов и превращение их из одной формы в другую подчинено закону перехода количества в качество. Вклады А, В, С, Д и т. д. являются чисто-денежными вкладами: происхождение их денежного характера. Но концентрация этих вкладов в банке, достигнув известной величины, превращает эти денежные вклады в капитальные. В то время как А, вчера внеся 1.000 руб., сегодня берет эту сумму, В сегодня вносит ее, чтобы завтра ее взять; но завтра вносит 1.000 р. С и т. д. В результате 1.000 р. остаются стабильными.

В практике каждого банка всегда устанавливается эта определенная стабильная часть депозитов, ниже которой остаток вкладов и текущих счетов в банке никогда не опускается. Эта стабильная часть длительно или даже навсегда закрепляется за банком, но для возможности превращения денег в производительный капитал через форму ссудного капитала ничего

[1]) Это деление не входит, однако, в классификацию депозитов проф. Каценеленбаума, ибо такая классификация противоречила бы его учению о двойственной природе депозита («Учение о деньгах и кредите», ч. 2, гл. VIII). Проф. Каценеленбаум, в противоположность указанному в тексте делению депозитов Вагнером на денежные и капитальные, рассматривает все депозиты, как деньги и капитал в одно и то же время (при этом отмечаются отличия депозитов как от денег, так и от капитала). Учение о двойственной природе депозита базируется на суб'ективной точке зрения пассивного клиента банка.

иного, кроме длительного закрепления денег за банком, не требуется. Следовательно, денежные вклады клиентов превращаются для общества в капитальные вклады, а так как от имени общества выступает банк, то он как раз и пользуется в своих частных интересах этой общественной функцией. Рассматривая эту стабильную часть текущих счетов, как капитальные депозиты, мы отнюдь не становимся на точку зрения банка; напротив того, эта точка зрения процесса общественного воспроизводства. Наличность свободных в банке денег означает собой наличность в обществе свободных материальных фондов; бросая эту стабильную часть текущих счетов в обращение, банк выполняет лишь общественную функцию превращения бездеятельного капитала в активный, функционирующий, следовательно, расширяет и ускоряет процесс общественного воспроизводства. Такова функция банков в этом процессе. Следовательно, к рентным вкладам присоединяется некоторая часть денежных вкладов в качестве фондов капитального кредитования. Сюда же присоединяется и указанная выше третья группа аккумулированных депозитов, в виде корреспондентских счетов, остатков по переводам и т. д., которую мы можем назвать «переходными суммами». К ней относится все то, что мы сказали о денежных вкладах, т.-е. стабильная их часть образует фонд банковского кредитования. Если по корреспондентским счетам банк постоянно имеет N-ную сумму пассивного сальдо, то это сальдо может на ряду со стабильной частью денежных и всей массой рентных депозитов составить фонд капитального банковского кредитования. То же следует сказать о четвертой группе аккумулированных фондов банковского кредитования.

Основной догмат «ортодоксальной», по выражению Waldo Mitchell'я, банковской теории (которая обычно, но не всегда, разделяется теоретиками натуралистами) сводится к тому, что активные операции банков целиком определяются их пассивами. Если банк имеет одни лишь текущие счета в качестве своего пассивного фонда, то он, с этой точки зрения, не может заниматься капитальным кредитованием в нашем смысле, т.-е. финансировать производство [1]).

[1]) Эта теория не разделяется новейшими теоретиками и исследователями банковских систем в различных странах,—А. Вебером, З. Каценеленбаумом, К. Визером, Р. Геллвигом, Уейлвдо Митчелем, Мультоном и др. Эти авторы в полном согласии с фактами не отрицают закономерности финансирования промышленности так наз. «депозитными банками». В Англии и САСШ ранее господствовавшая «ортодоксальная» банковская теория все более вытесняется так наз. «шифтабельной теорией» (shiftability theory), т.-е. теорией подвижности», согласно которой потребность в наличности и резервах тем меньше, чем больше развит чеко-жирооборот и связь банков друг с другом, давая возможность одному банку подкреплять резервы другого банка в случае требований по текущим счетам. А «чем меньше требуется наличности, тем меньше, даже с точки зрения ортодоксальной теории, необходимости продуктивные активы держать главным образом в краткосрочных бумагах» (Waldo Mitchell, The uses of Bank Funds, Chicago, 1925, p. 21). Поэтому, с точки зрения «шифтабильной теории», факт значительного падения нормы резервов в новейшее время вполне закономерен, ибо он вытекает из самого развития банковской системы. Митчель отмечает, что, несмотря на то, что депозиты в САСШ покрывались наличностью в 1830 г. на 37%, а в 1914 г. на 6,4%, и, несмотря на значительное развитие так наз. «иррегулярных операций» (collateral loans), отдельные банки, тесно связанные друг с другом и со всей системой, более устойчивы, чем раньше. Между тем, федеральная резервная система требует больших резервов, чем это необходимо (Цит. соч., p. 20—22). Также и Moulton в своем труде, посвященном финансовой организации современного общества, констатирует активные гриндерские операции солидных и вполне устойчивых банков (H. Multon, Financial Organisation of Society, p. 724—725).

Но исследования Prion'a [1]), Weber'a [2]), Wiser'a [3]), Hellwig'a [4]), W. Mitchel'я [5]), Moulton'a [6]), Conway'я and Peterson'a [7]) и даже того же Jaffé [8]), который так горячо нападал на экспансивистические взгляды Уитерса, высказанные им в «Денежном рынке», находятся в вопиющем противоречии с этой догмой [9]).

Все эти исследования доказывают не что иное, как то, что депозитные банки самым энергичным образом финансируют производство, и в это финансирование, напр., в форме покупки эффектов и ссуд под эффекты или в форме контокоррентного кредита, банки вкладывают огромные средства [10]).

В силу этого Вебер отказывается квалифицировать немецкие «депозитные банки», как чисто-депозитные, называя их, хотя и не совсем удачно, «депозитными и спекулятивными»; этим подчеркивается, что немецкие банки занимаются «спекуляцией», т.-е. финансируют грюндерство. Но было бы ошибочным считать, что только немецкие банки являются «депозитными и спекулятивными». Финансирование банками промышленности в полной мере доказано в отношении Англии—Визером, Америки—Мультоном, Митчелем, Геллвигом и др. Достаточно указать на то, что общие «инвестиции» (вложения в ценные бумаги) национальных банков САСШ на 30 июня 1921 года на 44% превышали капиталы, резервы и прибыли, вместе взятые [1]).

Факт постоянного финансирования грюндерства так наз. депозитными банками является вполне закономерным, ибо он прямо вытекает из общественной функции депозитных банков превращать денежные вклады, через их концентрацию, в фонд капитального кредитования. Поэтому действия банков не только не являются «не нормальными», но, напротив того, вполне закономерны.

По оценке Риссера из всей массы депозитов немецких банков только одна треть состоит из вложений, которым можно приписать характер Spareinlagen. ⅔ или даже ¾ всех депозитов составляют кассовые средства, резервы, временные вложения и т. д. [2]). Обст, как банковский практик, «на основании личного опыта» оценивает Spareinlagen в 30—40% общей суммы депозитов: «Во всяком случае,—говорит Обст,—большая часть депозитов составляется из временно-освобождающихся предпринимательских резервов промышленников, а также за счет временно-свободной наличности коммерсантов, чиновников и т. д.» [3]).

И вот из всей этой грандиозной суммы «кассовых» или «денежных» депозитов банки, согласно «ортодоксальной» теории, не могут ни одного рубля вложить в производительный капитал, но могут, и то лишь в известной части, употреблять их лишь для краткосрочных или так наз. «регулярных» банковских операций. Тем самым «ортодоксы» проявляют явное непонимание сущности депозитных операций и их роли в общественном воспроизводстве. В Сев.-Америк. Соед. Штатах депозитов только в одних коммерческих банках 50 миллиардов долларов, в то время как общая масса находящихся в обращении денежных знаков равна около 4 миллиардов долларов [4]). Из сопоставления этих цифр ясно, что эти 50 миллиардов долларов не могут быть мобилизованы в денежной форме. Но такая «мобилизация» вообще излишня для капиталистического хозяйства, а если она и происходит в моменты кризисов, и банки терпят крах, то этот последний является лишь либо формой проявления промышленного кризиса, следовательно, кризиса всей капиталистической системы, либо при отсутствии этого последнего следствием нарушения равновесия между активами и пассивами внутри данного банка.

Известная часть этих денежных депозитов прочно закреплена в производительных капиталах, и это в пре-

---

[1]) Wrion, Das deutsche Wechseldiskontogenschäft, Leipzig. 1907.

[2]) А. Вебер, Депозитные и спекулятивные банки. М., 1927.

[3]) Carl Wieser, Der finanzielle Aufbau der englischen industrie, Jena, 1919.

[4]) Rudolf Hellwig, Das Bankwesen der Vereinigten Staaten von Amerika, Jena, 1928.

[5]) W. Mitchell, The uses of Bank Funds, Chicago 1925.

[6]) Moulton, Financial Organisation of Society, 2 Ed., Chicago 1925.

[7]) Conway and Peterson, Operations of the New Bank Act, p. 96.

[8]) Jaffé. Das englische Bankwesen.

[9]) «В Соединенных Штатах банковская практика долгое время находилась в конфликте с банковской теорией. Наиболее общепринятая здесь теория ограничивала банковское дело краткосрочными ссудами. Считалось, что коммерческие банки занимаются только краткосрочными операциями в процессе движения товара от производителя к потребителю. Наши банки не следовали за этой теорией, но совершали долгосрочные инвестиции и ссуды, и принимали активное участие в создании акционерных обществ и других предприятиях, которые нуждаются в основном капитале» (W. Mitchell, The uses of Bank Funds, p. 2 Разрядка наша. *З. А.*).

[10]) «Мы видели, что коммерческие банки не ограничивают своих ссудных операций коммерческими предприятиями, но расширяют их на все виды предприятий, как промышленные и финансовые, так и коммерческие (торговые. *З. А.*). Мы видели, что некоторые непокрытые ссуды предназначаются для основного капитала—это имеет место, главным образом, в штатных банках, и мы видели, что они совершают массу иррегулярных ссудных операций (a puge volume of loans on collateral), большая часть которых предназначена для основного капитала (fixed kapital purposes). Было отмечено, что коммерческие банки в настоящее время обыкновенно имеют отделы для сбережений (savings departaments); и может быть отмечено, что многие из них имеют также фондовые отделы. Некоторые из крупнейших коммерческих банков крупных финансовых центров широко занимаются грюндерской деятельностью (underwritig activities), в то время как многие из штатных коммерческих банков деятельно интересуются операциями по финансированию городской недвижимости, особенно строительством». (H. G. Moulton, Financial Organisation of Society, 2 ed., Chicago, 1925, p. 724—725). По поводу так наз. иррегулярных операций (которые в Америке называются Collateral loans) Conway и Peterson заявляют следующее: «В наших больших городах иррегулярная ссуда (т.-е. вложения в фонды. *З. А.*) рассматривается, как наиболее желательная как потому, что такие ссуды могут в значительной мере быть онкольными ссудами, платеж по которым может быть потребован в любое время, так и потому, что характер ценной бумаги, особенно когда ценность таковой общеизвестна и легко может быть определена, делает более легким перемещение ссуд, когда это необходимо, из одного банка в другой. Как в теории, так и на практике... банк в настоящее время лучше обеспечивает свои деньги, если они ссужены «побочным образом» («on collateral», т.-е. по так наз. «иррегулярным операциям» *З. А.*), чем когда его фонды вложены в коммерческие бумаги» (Conway and Peterson, указ. соч., p. 96). Вместе с тем Митчель отмечает, что как раз при кризисах ценные бумаги, в особенности госуд. облигации, обладают наибольшей ликвидностью. Поэтому «промышленный цикл приносит с собой условия, которые побуждают банки в широкой мере заниматься делами, которыми не разрешает заниматься ортодоксальная теория. С течением времени банки повышают пропорцию этих «неортодоксальных» операций» (W. Mitchell, цит. соч., p. 34).

---

[1]) W. Mitchell, цит. соч., p. 28.

[2]) Риссер отмечает, что его оценка вполне согласуется с мнением банкиров, высказанным на 3-м немецком банкирском с'езде 5 и 6 сентября 1907 года, а также с рядом показаний по банковской анкете 1908 г. См. Riesser, Die deutschen Grossbanken und ihre Konzentration in Zusammenhang mit d. Entwicklung d. Gesamtwirtschaft in Deutschland, IV Aufl. Jena, 1912, S. 171.

[3]) Obst, цит. соч.,, I. Band, S. 371—372.

[4]) Ср. проф. И. А. Трахтенберг, Современный кредит и его организация, ч. 1, изд. Комм. Академии, М. 1929 г., стр. 34. По данным Геллвига, общая масса депозитов американских банков на 30 июня 1926 г. была равна 49.962.296.000 долларов, из коих «чисто»-депозитные или «коммерческие» банки имели свыше 30 миллиардов долларов, а именно: 7.978 национальных банков располагали 17 миллиардами долларов и 16.493 банков, концессионированных в пределах отдельных штатов (Statenbanken)—13,15 миллиардов долларов. Значительно меньше половины депозитов приходится на так наз. «сберегательные» и «доверительные» банки, которые в отличие от первых располагают также и долгосрочными депозитами (См. Hellwig, цит. соч., S. 11).

делах действительной стабильности депозитов не представляет никакой угрозы для банковской системы в целом. Таким образом, возможность «иммобилизации», т.-е. капитального вложения известной части денежных депозитов, дана самой общественной функцией этих последних и ролью банка в воспроизведенном процессе.

Однако амплитуда колебаний между этими двумя крайними точками—низшей, постоянно стабильной, и высшей суммой денежных депозитов за данный период—достаточна велика. Если за данный период постоянно стабильной частью в данном банке были 20 миллионов рублей, а максимальная сумма равнялась 30 миллионам, то это не значит, что 10 миллионов рублей должны были в эти периоды максимального роста депозитов лежать в кассе. %% отношение наличности к обязательствам никогда не поднимается даже до 15%. Так в среднем, по публикуемым двухмесячным балансам, %% отношение наличности, включая в эту последнюю текущие счета в эмиссионном и других банках, составляло [1]):

	~~1914~~ год	1921 год
Deutsche Bank	6,0	3,9
Diskonto-Gesellschaft	5,5	11,3
Dresdner Bank	4,5	4,4
Darmstädter Bank	5,6	5,1
92 Kreditbanken	4,8	4,6

А американских Staatenbanken «классовая ликвидность», т.-е. отношение наличности к общей массе депозитов, составляет только 2,8% [2]).

Но процентное отношение собственных капиталов к обязательствам обычно несколько более высокое. Поэтому можно считать, что почти все депозиты используются банками в качестве фонда кредитования, а наличность для удовлетворения требования по колеблющейся их части можно отнести к собственным средствам, и лишь самая ничтожная часть депозитов—настолько ничтожная, что ее можно игнорировать—сохраняется в качестве кассовой наличности.

Но так как в состав депозитов входят не только аккумулированные, но и создаваемые самим банком депозиты, и все они оказываются, как показывают эти цифры, вложенными в активные операции, то нам предстоит еще проанализировать природу этой подвижной части аккумулированных депозитов, как фонда кредитования.

Самая эта подвижность закономерна, ибо зависит от условий данного района и сезонов. В одни периоды в данных районах увеличиваются депозиты и появляются «избыточные деньги», в других они падают и ощущается «недостаток в деньгах». Движение депозитов имеет и свой календарь и свой Standort. Банковская система уравнивает эти различия во времени и пространстве, пользуясь «биль-брокерами», вексельными маклерами, фондовыми биржами.

Возьмем два банка, один из которых расположен в сельскохозяйственном, другой—в промышленном районах. Допустим, что в период, когда повышается спрос на кредит в первом, растут избыточные средства во втором, и наоборот. Но что значит растет спрос на кредит? Только то, что сумма функционирующего в данный период в этом районе производительного капитала оказывается недостаточной, и, наоборот, в другом—промышленном районе часть производительного капитала, находящаяся в денежной форме, свободна, ибо накапливается, например, к периоду заготовки сырья. Этот свободный денежный фонд перебрасывается в сельскохозяйственный район, который благодаря этому осуществляет необходимые подготовительные к реализации урожая работы, закупая средства производства, ремонтируя

[1]) Данные взяты у Obst'a, цит. соч., т. II, стр. 600.
[2]) Hellwig, цит. соч., S. 29.

постройки и т. п. Обратное положение осенью. Сельскохозяйственный район реализовал свою продукцию, превратил оборотную часть своего капитала в денежную форму, которая будет в N-й своей части реализована для производительных работ только летом. Но как раз в этот момент промышленный район должен произвести свои сырьевые заготовки на весь год и для этого нуждается в дополнительном капитале. Сельскохозяйственный же район имеет возможность не только погасить свою задолженность промышленному району, но и кредитовать его до лета, когда они поменяются ролями. Следовательно, местные и сезонные колебания депозитов и их выравнивание через посредство кредитной системы означает не что иное, как перераспределение оборотной части производительных капиталов во времени и пространстве. Ясно, что природа этой части депозитов, как фонда кредитования, отлична от природы их постоянно стабильной части. В то время, как эта последняя может закрепляться в основную часть производительного капитала, вторая может быть вложена только в оборотную его часть. И с этим различием банкам всегда приходится считаться, иначе неизбежен крах банка.

Итак, не только постоянно стабильная часть денежных депозитов, но также и колеблющаяся ее часть через банковую систему превращается в фонд капитального кредитования, но лишь для кредитования в оборотный капитал. Поэтому за стабильностью первого порядка (постоянной) идет стабильность второго порядка (временная), следовательно, устанавливается относительная стабильность для данного района и периода. Итак, колебание между низшей и высшей точками депозитов, в нашем примере между 20 и 30 миллионами рублей, значительно сократилось. С включением понятия «временной стабильности» ее амплитуда колебаний уже будет равна, допустим, не 10 миллионам, но 5 миллионам руб. Это значит, что в период максимума депозитов последние не опускаются ниже 25 миллионов; колеблющаяся же часть в сумме 5 миллионов является для данного периода временно или относительно стабильной.

Остаются 5 миллионов рублей, постоянно флуктуирующие, то поступающие в банк, то отливающие из него в течение одного и того же сезона. Но и эти 5 миллионов рублей вовсе не должны в каждый данный момент быть наличными в кассе. Часть их, допустим 50%, может быть вложена, правда, по очень низкому проценту, в первоклассные векселя, которые в любой момент могут быть реализованы на денежном рынке. Но это уже не капитальный, но чисто-денежный кредит (ссуда денег, а не капитала по Энгельсу), ибо этим кредитом банк не ссужает заемщику капитал, но превращает имеющийся у него капитал из одной денежной формы (вексель) в другую (банкноты или действительные деньги). Наконец, из последних 2½ миллионов рублей половина может быть на текущих счетах в эмиссионных и других банках. В результате остается относительно совершенно незначительная наличность, которая вместе с текущими счетами в центральном банке и составляет в частных банках обычно 4—6%. Так рассасывается по различным каналам вся масса аккумулированных депозитов в зависимости от природы каждой ее части и степени стабильности.

Мы показали, что образование ссудного банковского капитала или «капитальных» депозитов есть своего рода эманация из массы сконцентрированных в данный момент денег в банке. Возможность превращения этих денег в капитал определяется степенью закрепления денег за банком или коэффициентом стабильности его депозитов. От этого коэффициента зависит, какая часть этих денег будет превращена в основную и какая в оборотную часть производительного капитала, какая будет

использована для денежного кредита в процессе реализации уже законченного производством товара, и, наконец, какая часть должна быть налицо в качестве резерва кассовой наличности банка.

Мы выяснили в общей форме природу различных частей аккумулированных депозитов, их трансформацию в связи с выполнением банком своих общественных функций и, наконец, наметили сферы их реализации. Нам остается только выяснить источники образования этих фондов банковского кредитования. Следует заметить, что как раз этот вопрос достаточно полно разработан у Маркса, главным образом, во II томе и отчасти во 2-й части III тома «Капитала», и детализован Гильфердингом в «Финансовом капитале». Это освобождает нас от подробного исследования данного вопроса и позволяет ограничиться простым перечислением моментов, отмеченных Марксом:

1) Концентрация кассовых операций промышленников и купцов в банке. Платежи производятся через банк, который и выступает как общественный кассир. «Уплата денег и прием их, сведение балансов, ведение текущих счетов, хранение денег и прочие действия» [1])—эти функции обособившегося «денежно-торгового капитала», берет на себя банк, принимая депозиты и ведя контокоррентные счета своих клиентов.

2) Текущие счета потребителей, реализующих свой доход в известные сроки. Владельцы денег не предполагают капитализировать своего дохода, но эти деньги, будучи сконцентрированы в банке, в известной своей части образуют ссудный денежный капитал. «Самый важный вывод из предшествующего исследования,—говорит Маркс,—состоит в том, что расширение части дохода, предназначенного для потребления (при чем мы оставляем в стороне рабочего, так как его доход равен переменному капиталу) прежде всего проявляется, как накопление денежного капитала... Те же самые деньги, которые представляют доход, которые служат простыми посредниками потребления, регулярно превращаются на некоторое время в ссудный денежный капитал» [2]), оседая на текущих счетах в банках [3]). Очевидно, что здесь образование ссудного денежного капитала вытекает аналогично § 1 из той же функции, но самые источники образования различны: в первом случае, это—денежная наличность функционирующих капиталистов, во втором—наличность потребителей, реализующих свой доход. При этом в обоих случаях вкладчиком может быть один и тот же капиталист, имеющий в банке 2 текущих счета: один—своей фирмы и другой—свой личный счет. В первом случае он сдает в банк кассовую наличность, как производительный капиталист, во втором—как потребитель, или, если пользоваться классификацией Зомбарта [4]), в одном случае, это—денежная наличность «промыслового», в другом—«потребительского хозяйства».

3) Временное высвобождение денежных капиталов у функционирующих капиталистов, вследствие особых моментов процесса воспроизводства, как-то: А) «вследствие понижения цены элементов производства, сырых материалов и т. д. Если промышленник не может непосредственно расширить свой процесс воспроизводства, то часть его денежного капитала, как избыточная, выталкивается из кругооборота и превращается в ссудный денежный капитал» [5]); В) «кроме того, раз наступают перерывы в ходе дела, освобождается капитал в денежной форме именно у купца. Если купец совершил ряд операций, и вследствие таких перерывов может начать новый ряд лишь позднее, то реализованные деньги представляют для него лишь сокровище, избыточный капитал. Однако в то же время они непосредственно представляют накопление ссудного денежного капитала» [1]). Вместе с тем Маркс отчетливо установил и различия между этими двумя моментами: «В первом случае накопление денежного капитала выражает повторение процесса воспроизводства при более благоприятных условиях, действительное освобождение части ранее связанного капитала, следовательно, возможность расширения процесса воспроизводства при тех же самых денежных средствах. Во втором случае—простой перерыв в ходе сделок. Но в обоих случаях деньги превращаются в ссудный денежный капитал, представляют накопление этого последнего, оказывают влияние в одинаковой степени на денежный рынок и размер процента, хотя в первом случае в этом находят себе выражение более благоприятные условия, во втором—препятствия для действительного процесса накопления» [2]). (Разрядка наша. З. А.).

Оба эти источника в действительности являются крупнейшим фондом капитального банковского кредитования. Это подтверждается и новейшими исследованиями промышленного кредита. Так, Loewenstein, исследуя историю вюртембергских кредитных организаций, приходит к тому выводу, что «промышленность сама себя поддерживает кредитом, в особенности, когда в тех же местностях существуют различные отрасли промышленности, у которых денежные излишки и потребность в кредите обыкновенно взаимно дополняют друг друга» [3]).

Следует заметить, что три перечисленных источника накопления денежно-ссудного капитала являются основными каналами, по которым притекают деньги в депозитные банки. Это по нашей терминологии чисто-денежные вклады, а не капитальные, всегда краткосрочного характера, и быстро флуктуирующие между банком и денежным рынком. И именно эти денежные фонды являются основными ресурсами капитального банковского кредитования.

Что касается рентных вкладов, то таковые образуются из 4) накопления прибылей; 5) амортизационных накоплений [4]); 6) «накопления денежного капитала за счет земельной ренты, заработной платы и т. п.» [5]), а также всякого рода накопления рантье и непроизводительных общественных организаций.

Относительно 4-го источника Маркс отмечает следующее: «Что касается остальной части прибыли, не предназначенной для потребления в качестве дохода, то она превращается в денежный капитал лишь в том случае, если она не может быть непосредственно употреблена на расширение предприятия в той сфере производства, в которой она создана. Последнее может происходить от двух причин. Или данная сфера производства уже насыщена капиталом, или же накопленная сумма для того, чтобы функционировать, как капитал, должна сначала достигнуть известных размеров, определяемых количественными отношениями новых затрат капитала в данном определенном предприятии. Таким образом, в этих случаях накопленная сумма пре-

[1]) Капитал, т. II, ГИЗ, 1922 г., стр. 301.
[2]) Капитал, т. III, ч. 2, ГИЗ, 1923 г., стр. 44.
[3]) Сюда же должно быть отнесено и государство, и разного рода общественные и религиозные организации, доходы которых, предназначенные для непроизводительного потребления, оседают в виде временного излишка на текущих счетах в банках.
[4]) Зомбарт, Современный капитализм, т. I, изд. «Путь к знанию», Лгр. 1924, стр. 8.
[5]) Капитал, т. III, ч. 2, стр. 44.

[1]) Этот вопрос подробно разработан у Гильфердинга. См. «Финансовый капитал», отд. I, гл. IV.
[2]) Капитал, т. III, ч. 2, стр. 44—45.
[3]) Arthur Loewentein, Geschichte d. Würtembergischen Kreditbankwesens. 1912, S. 202.
[4]) См. Гильфердинг, Финансовый капитал, гл. IV.
[5]) Капитал, т. III, ч. 2, стр. 46.

вращается сначала в ссужаемый денежный капитал и служит для расширения производства в других сферах».

Но в обоих случаях происходит капитализация прибыли, как части прибавочной стоимости. Однако в силу чисто-капитального характера этого источника образования денежно-ссудного капитала, формой его реализации может быть, и в действительности большей частью является, не банк со своей депозитной системой, но фондовая биржа. Располагая на длительный срок свободным денежным капиталом, предприниматель старается наиболее выгодно его поместить, и ему нет надобности пользоваться для этого формой банковских депозитов. Ему не нужна свободная денежная наличность в форме текущего счета: он может закрепить эту последнюю в виде капитального вложения и поэтому выбрасывает свои избыточные средства непосредственно (либо через чисто-комиссионное посредничество банка) на фондовый рынок и приобретает наиболее доходные в данный момент акции или облигации.

Но то же самое относится к рабочим, интеллигенции, мелкой буржуазии, землевладельцам, поскольку они капитализируют свои денежные доходы. Лишь те, кто предпочитают спокойствие высоким, но зато в той или иной мере рискованным дивидендам, вносят свои деньги в виде долгосрочного вклада в солидный банк, платящий значительно меньший %, чем приносят акции каких-нибудь «Beteiligungs- und Finanzierungsellschaften» («Обществ финансирования и участия»). Но и эта группа большей частью предпочитает государственные ценные бумаги, например, консоли, вкладам в банк. Следовательно, из этого источника накопления ссудного капитала лишь частично образуются рентные вклады у банков, но таковое образование, вообще говоря, отнюдь не исключено.

Яффе[1]) отмечает, что в прежнее время в лондонских банках перевешивали Spareinlagen, но в настоящее время притекающие в банк деньги представляют собой лишь временное, до помещения в ценные бумаги, скопление денежных средств. Если эти свободные рентные средства текут мимо фондовой биржи, то они скорее поступают, как свидетельствует Яффе, в сберегательные кассы, и очень часто в рентабельные и вполне солидные строительные общества. Наоборот, в провинции и Шотландии большая часть этих, называемых нами рентными по Яффе—Spareinlagen, денежных средств концентрируется в депозитных банках. Это об'ясняется, по его мнению, большей устойчивостью процента в провинции, где таковой не подвержен таким сильным колебаниям, как на лондонском денежном рынке.

Но, так или иначе, лишь часть этих средств концентрируется в виде рентных вкладов в банках. В отличие от этого, первые три источника образования свободных денежных средств целиком утилизируются банками в форме денежных вкладов, из которых, в соответствии с описанным процессом, происходит эманация фондов капитального кредитования. То, что эти средства не частично, а целиком аккумулируются банками, об'ясняется тем, что эти средства никаких иных путей для социальной «утилизации» не имеют. Потребитель или капиталист не может свою свободную в течение одного—другого дня наличность вложить в фонды, ибо, во-первых, всегда существующая разница между продажной и покупной ценой ценных бумаг на фондовой бирже составляет бо́льшую сумму, чем тот процент, который за эти день—два (если даже предположить полнейшую устойчивость курса) может принести та или иная ценная бумага. Во-вторых, если даже допустить абсолютную налаженность фондовой биржи и разветвленность ее функций

[1]) «Das englische Bankwesen», S. 183—184.

в системе банковских филиалов, что дало бы возможность моментальной реализации эффектов по данному курсу, то и в этом случае вложение этих краткосрочно-свободных средств в ценные бумаги представит большие неудобства. Расходование данного денежного фонда, как потребителем, так и капиталистом, может выражаться в дробных суммах для каждой покупки, в то время как акции и облигации всегда представляют собой определенную крупную купюру. Таким образом, непрерывность потока производительных или потребительских денежных расходов все равно потребует денежной наличности, за исключением тех редких случаев, когда сумма покупки как раз в точности совпадает с валютой данной ценной бумаги.

Эти двоякого рода препятствия устраняются системой «текущих счетов» и привычкой пользоваться чековой книжкой, как действительной наличностью. Чековая книжка освобождает ее владельца от необходимости иметь при себе наличность, но в то же время, в любой момент и в любой сумме, в пределах своего текущего счета, ее владелец может «создат» эту наличность. Текучесть денежных расходов производителей и потребителей находит свое адэкватное выражение в банковских текущих счетах. Эти последние и создают эластичную форму для общественной утилизации этих свободных денежных фондов. Денежная наличность превращается в текущий счет и, следовательно, фактически перестает быть таковой и в то же время выполняет свойственные ей функции. Благодаря этому наличность раздваивается на фиктивную и фактическую. Фиктивной наличностью является большая часть всей суммы текущих счетов в банках, ибо ее на самом деле нет налицо в виде денег; она является лишь денежным выражением функционирующего в процессе производства или обращения капитала. Это деньги в идее, это титул собственности на капитал, но отнюдь не деньги в наличии, хотя они и числятся на балансах предприятий, как реальная денежная наличность.

Но «текущие счета» не могут абсолютно эмансипироваться от действительной наличности, каковая застывает в виде сокровища в резервах металлической наличности банков. В Германии эти резервы децентрализованы в отдельных банках, в Англии же, где существует «система единого резерва», наличность всей страны оказывается сконцентрированной в Английском Банке, этом «последнем основании всей английской кредитной системы», по выражению Уольтера Бэджгота. Но и в Германии, и в Англии эта фактическая наличность составляет лишь ничтожную часть фиктивной или формальной наличности, которая фигурирует, как действительная наличность и в банках, и в промышленных и торговых предприятиях, и в бюджете потребительских хозяйств, и у государства, и у церкви и т. д. Все и всегда рассматривают «текущие счета» в банках, как «наличность», хотя эта наличность денежно-ликвидна для всего народного хозяйства в лучшем случае в размере 2—3%.

Но при правильном учете закономерностей флуктуации депозитов, в соответствии с природой каждой их части, фактическая наличность банков оказывается достаточной для удовлетворения текущих денежных требований клиентов к своим банкам, и в результате создается огромнейшая экономия на денежном металле, достигается максимальная степень утилизации общественных материальных фондов производства и наибольшая эластичность обращения. Но, как мы увидим ниже, этого аккумулирования индивидуальных денежных средств в единый общественный фонд, еще недостаточно для того, чтобы разрешить противоречия общественного воспроизводства, вытекающие из специфически капиталистической формы организации экономической системы.

Пока же сказанным в общих чертах исчерпывается характеристика форм и функций аккумуляции банками депозитов. Подведем итоги сказанному. Следует различать:

I. Образование текущих счетов (денежных депозитов) путем:

а) Концентрация кассовой наличности функционирующих капиталистов («промысловых хозяйств») и самостоятельных мелких производителей.

б) Концентрация кассовой наличности потребителей индивидуальных и коллективных, как государства, церкви, общественных организаций («потребительских хозяйств»).

в) Временного высвобождения денежного капитала функционирующих капиталистов.

II. Образование вкладов (капитальных депозитов) за счет:

а) Накопления прибылей в предприятиях функционирующих капиталистов, а также ликвидации самого предприятия и превращения вырученных сумм в ссудный капитал.

б) Амортизационных накоплений функционирующих капиталистов, т.-е. фондов простого воспроизводства.

в) Накопления доходов рабочих, землевладельцев, крестьянства, мелкой буржуазии, интеллигенции, чиновников, государства, церкви и общественных организаций.

Пункт «в» I раздела собственно является переходной формой, ибо, в зависимости от характера (продолжительности) этого высвобождения освобождающиеся денежные средства, сконцентрированные в банке, могут рассматриваться либо как денежные, либо (если предприятие длительно консервируется или совершенно ликвидируется) как рентные депозиты. Кроме того, не следует упускать из виду также отмеченного выше, самого существенного для понимания вопроса, момента превращения денежных депозитов в капитальные или рентные, путем их концентрации на депозитах и их реализации банками в порядке своих регулярных и т. н. «иррегулярных» операций.

Но все источники образования аккумулируемых банковских депозитов могут быть сведены к более общим моментам воспроизводственного процесса:

I. При простом воспроизводстве образование свободных денежных фондов:

а) В процессе кругооборота производительного капитала, а именно его превращения из товарной формы в денежную и из денежной в товарную форму капитала. При этом свободные денежные средства образуются при обмене в денежной форме капитала на капитал и капитала на доход, как на одном полюсе (капитал), так и на другом (доход). Всякая задержка превращения наличных Д в Т, будь то акт реализации дохода рабочим, капиталистом или землевладельцем, или превращение денежной формы реализованного производительного капитала снова в элементы последнего, т.-е. в постоянный и переменный капитал, необходимо и постоянно выделяет «безработный» денежный фонд, который обладает центростремительной силой по направлению к банковскому депозиту.

б) За счет накопления периодически снашиваемой части основного капитала (амортизационный фонд).

II. При расширенном воспроизводстве путем превращения различных видов общественного дохода (главным образом, прибавочной стоимости) в производительный капитал через форму банковских пассивных и активных операций.

Итак, мы выяснили особые формы образования денежно-ссудного капитала в качестве депозитов и свели их к общим формам процесса общественного воспроизводства, а именно к двум формам простого воспроизводства и одному общему моменту расширенного воспроизводства. (Конечно, моменты простого воспроизводства целиком включаются в расширенное воспроизводство).

Поскольку аккумулирование депозитов поставлено в связь с процессами общественного воспроизводства, постольку очевидно, что эти последние и должны определять закономерность их динамики. Но в нашу задачу не входит исследование динамических закономерностей банковского кредита и, следовательно, выяснение его связи с промышленным циклом и кон'юнктурными колебаниями. Мы исследуем особые формы банковского кредита и общие закономерности его равновесия, и поэтому в отношении влияния этих моментов промышленного цикла на динамику аккумулируемых банками депозитов можем ограничиться следующим общим резюме анализа этого вопроса Гильфердингом: «Все указанные моменты: органический состав капитала, в частности отношение основной к оборотной составной части капитала, развитие торговой техники, сокращающее время оборота, действующее в том же направлении развитие средств транспорта,—из которого, однако, возникают в качестве противоположной тенденции поиски все более отдаленных рынков,—различия в темпе возвращения капитала вследствие периодических колебаний кон'юнктуры, наконец, ускоренное или замедленное производительное накопление,—все эти обстоятельства оказывают влияние на то, какова масса лежащего праздно капитала и какова продолжительность его бездеятельного состояния» [1]).

Конечно, динамика цикла определяет динамику всех групп банковских депозитов, но в наибольшей мере она влияет на депозиты «а» 1-й группы. Во-первых, потому, что состояние кризиса, депрессии или под'ема прямо определяет как об'ем обращения, так и характер и темп смены форм капитала и реализации доходов и, следовательно, обуславливает ту массу денежных средств, которая может быть сконцентрирована в банковских депозитах, а также об'ем и срочность пред'явления к банкам денежных требований со стороны владельцев Guthaben к банкам. Во-вторых, потому, что в отличие от групп I б и II, группа I а, как было выяснено выше, почти целиком концентрируется в банках на текущих счетах, в то время как накопление доходов и капитализация амортизационных фондов лишь в некоторой своей части закрепляются в форме рентных депозитов, а наибольшая ее часть идет на фондовый рынок или даже, по свидетельству Яффе, прямо в промышленные предприятия, страховые общества и т. п. [2]). В-третьих, рентные вклады вообще, хотя и не остаются без влияния со стороны цикла, но в значительно меньшей мере, чем денежные депозиты, подвержены превратностям кон'юнктурной судьбы.

Все это дает основание утверждать, что, поскольку главной частью депозитов являются денежные депозиты, а эти последние непосредственно связаны с состоянием производства и обращения, постольку общая динамика банковских депозитов должна в полной мере подчиняться всем закономерностям циклических колебаний [3]).

[1]) Гильфердинг, Финансовый капитал, ГИЗ, 1922 г., стр. 68.

[2]) Яффе отмечает усиливающуюся за последнее время конкуренцию банкам со стороны промышленных предприятий, которые, как, например, в текстильной промышленности, принимают вклады от прядильщиков и рабочих, осуществляя таким образом «самофинансирование». Также энергично конкурируют за «Sparгеldet» и страховые общества. См. Jaffe, Das englische Bankwesen, S. 197—199.

[3]) «Имеется тесная связь между уровнем цен и движением ссуд и депозитов. Повышение или падение уровня цен сопровождается повышением или падением ссуд и депозитов. Однако, в рассматриваемый период (депрессия в САСШ 1921—1922 гг. З. А.) наблюдалось отставание в движении ссуд на несколько недель или месяцев» (W. Mitchell, The Uses of Bank Funds, p. 59).

Вся масса аккумулированных банками депозитов, хотя и приравнивается в торгово-промышленной практике к наличности, однако таковой она является лишь в самой ничтожной части, а именно в об'еме действительной кассовой наличности банков. Деньги, находясь в обращении, многократно входят и выходят из кассовых окошек банков, и при каждом своем пробеге через банк оставляют в нем след в виде вклада или текущего счета. Конечно, вся масса числящихся на балансе аккумулированных депозитов представляет собой фиктивную денежную наличность. Однако вся эта масса аккумулированных депозитов является денежным выражением определенной массы ценностей, и не просто ценностей, но именно капитальных ценностей.

Как бумажные деньги или банкноты являются «представителями» действительных денег—золота, так и аккумулированные банками депозиты являются «представителями» действительного капитала, функционирующего в процессе общественного воспроизводства. Сами по себе они фиктивный капитал, но, как титул собственности, выражают собой действительный капитал. В этом отношении депозиты совершенно аналогичны «фондам» (акциям, облигациям, закладным листам): и «фонды», и депозиты, поскольку последние ссужены в процессе капитального кредитования (в основной или оборотный капитал), являются формами фиктивного капитала, а фиктивный капитал — вообще специфической и необходимой формой производительного капитала в эпоху финансового капитализма.

В современных условиях форму фиктивного капитала принимает весь или почти весь общественный капитал. Если, скажем, ценность общественного капитала равна 10 миллиардам рублей, а 30% его ценности является кредитованной через форму банковских депозитов, то эти последние будут, следовательно, выражать собой ценность общественного капитала, равную 3 миллиардам рублей. Однако эти 3 миллиарда фигурируют на балансах по крайней мере 4 раза: 1) в активе баланса вкладчиков, 2) в пассиве банков как вклады, 3) в активе банков как ссуды, 4) в пассиве промышленных предприятий в качестве займа. Хотя эти 3 миллиарда оставили на балансе след, по меньшей мере, на 12 миллиардов, все же вкладом, которому соответствует реальная ценность общественного капитала, остаются 3 миллиарда, и собственником, правда, не денег, но определенной доли общественного капитала, остаются первичные вкладчики. И этим притязанием на определенную часть общественного капитала или, точнее, на прибавочную стоимость, создаваемую этой частью капитала (ибо реально сам общественный капитал никогда не может быть распределен между владельцами - вкладчиками), обладают только первичные вкладчики, которым должны первичные заемщики. Но между первичным вкладчиком и первичным заемщиком - капиталистом может вклиниться длинная цепь кредитных посредников.

При величине общественного капитала в нашем примере, равной 10 миллиардам рублей, обращающаяся в стране денежная масса, включая сюда и кредитные орудия обращения, будет составлять лишь ничтожную часть этих «балансовых денег», допустим, 500 миллионов рублей. Совершенно естественно, что при росте скорости обращения денег и при развитии безденежных расчетов, экономизирующих обращение наличных денег, ценность общественного капитала и его денежное выражение могут

значительно возрасти при незначительном росте или стабильности массы обращающихся денег. Возросшая до 12 миллиардов рублей ценность общественного капитала может обслуживаться в процессе обращения только 600 миллионами рублей наличных денег. Если же мы допустим, что 50% этой возросшей ценности капитала приняла кредитную форму депозитов, — капитальной ссуды, то в этом случае очевидно, что росту депозитов на 1 миллиард рублей будет соответствовать увеличение денежной массы всего на 100 миллионов рублей. Отсюда ясно, что одна денежная единица может «породить» огромное количество вкладов, но, поскольку здесь речь идет только об аккумулированных вкладах, этот рост депозитов будет означать не что иное, как расширение об'ема общественного капитала на эти 2 миллиарда рублей при относительном сокращении массы обращающихся денег.

Вопрос о «вкладообразовательной способности единицы денег» разработан Марксом[1]), а в нашей литературе детализован Ф. И. Михалевским[2]), что и освобождает нас от дальнейшего анализа этого вопроса. «Оставив даже в стороне фиктивные вклады,—говорит Ф. И. Михалевский,— мы можем сказать, что сумма вкладов того или иного банка есть как бы проэкция на одной плоскости линий, находящихся в разных плоскостях»[3]). Это удачное выражение Михалевского осталось, к сожалению, нерасшифрованным, ибо читателю неизвестно, что подразумевается под «разными плоскостями». Мы постараемся выяснить эти «плоскости» с точки зрения общего учения о функциях банковского кредита.

Допустим, что существует только один банк, и постараемся нарисовать картину строения его аккумулированных депозитов и их размещение в активах. В пассиве банка на балансе числится текущих счетов и вкладов на 9.000.000 руб. (фиктивные или «созданные» банком вклады исключены). Но эта сумма есть ведь «проэкция линий, находящихся в разных плоскостях»: мы различаем три основных и общих «плоскости», на которые распадается эта общая сумма. Возьмем нормы Яффе или Обста и допустим, что 70% этой суммы составляют «текущие счета», т.-е. чисто-денежные депозиты, происхождение и природа которых выше была выяснена. Остальные 30% составляют «вклады», т.-е. рентные или капитальные депозиты. Но эти последние, как было сказано, в свою очередь, выполняют, с одной стороны, функцию превращения дохода (v + m) в капитал (или «капиталообразования») и, с другой стороны, функцию перераспределения функционирующих капиталов (извлеченные из одних сфер капиталы переносятся в другую сферу через форму капитального депозита, и в этой «другой сфере» закрепляются). Отнесем на долю вкладов 1-го типа происхождения или группы А 20% общей суммы и второго или группы В—10%. Мы будем иметь тогда следующее строение пассива:

Текущие счета	6.300.000 руб.
Вклады	2.700 000 „
В том числе группа А	1.800.000 „
„ „ группа В	900.000 „
Баланс	9.000.000 руб.

Поскольку 2.700.000 руб. составляют депозиты определенно рентного происхождения, они соответственным образом могут быть целиком закреплены в активах в порядке долгосрочного кредитования в основной капитал или для финансирования грюндерства. Как деньги, эти вклады вообще не существуют: они представляют собой лишь титулы собственности,

[1]) Капитал, т. III, ч. 2, 1923 г., стр. 2, и т. III, ч. 1, 1922 г., стр. 407.
[2]) «Этюды по теории кредита»,—«Под Знаменем Марксизма», № 6—7 за 1924 г.
[3]) Там же, стр. 191.

притязание на доход, соответственно величине вложенного капитала. На эти деньги банк, например, мог закупить акции промышленных предприятий, и хотя номинальным собственником акций является банк, фактически в пределах указанной суммы, эти акции принадлежат первичным вкладчикам. Последние, конечно, могут извлечь свой капитал, но так как банк не имеет денег на эту сумму, то извлечение вкладов вынудило бы банк продать эти акции, и, таким образом, кредитование промышленного предприятия было бы перенесено на другие плечи. Итак, эти вклады находятся в самой нижней плоскости, выражая собой определенную ценность капитала, прочно закрепленного в процессе производства.

Что касается 6.300.000 руб. на текущих счетах, то эта сумма, нарастание которой происходило постепенно, и которая вообще подвержена по своей природе энергичной флуктуации, делится на различные плоскости, в зависимости от степени стабильности различных ее частей (о чем уже была речь выше). Здесь мы должны различать, в свою очередь, три плоскости: 1) стабильную часть первого порядка или «абсолютно-стабильную», равную, скажем, 30% общей суммы текущих счетов, 2) стабильную часть второго порядка, т.-е. «относительно или временно» (сезонно) стабильную, равную, допустим, 40% общей суммы текущих счетов, 3) непрерывно флуктуирующую в размере остающихся 30% суммы текущих счетов.

Что касается первой части, то она целиком присоединяется к фонду капитального долгосрочного кредитования (в основной капитал). Допустим, далее, что момент анализа баланса нашего банка является как раз моментом наивысшего под'ема текущих счетов, т.-е. когда в силу обстоятельств местного и сезонного характера в данном районе скапливаются избыточные средства, которые в течение целого полугодия будут составлять «безработную» часть оборотных капиталов местных промышленных предприятий. Поэтому мы и взяли сравнительно высокий процент этой временно-стабильной части текущих счетов, а именно 40%. Вся эта сумма, в соответствии со сказанным выше, также целиком может быть брошена на капитальное кредитование (в оборотный капитал) промышленных предприятий других районов, где как раз в этот момент требуется сезонное расширение оборотной части капитала промышленных предприятий.

Наконец, оставшиеся 30% текущих счетов должны составлять «наличность», но и эта наличность в некоторой своей части может быть брошена на обслуживание чисто-платежного (денежного) кредита. Вложение части этих денег в «tägliches Geld» или «at call and chort notice» не представляет для банка опасности, ибо банк может так распределить погашение этих ссуд, чтобы с утра операционного дня касса вновь наполнялась, и, если это наполнение будет чрезмерным, банк сможет к концу дня опять вложить всю или часть этих поступлений в «tägliches Geld». Если мы возьмем более или менее обычную норму кассового резерва—10% к общей сумме обязательств, т.-е. 900.000 руб., то остальные 990.000 руб. могут быть вложены в «tägliches Geld» и краткосрочные.

Итак, размещение средств в зависимости от коэффициента стабильности аккумулированных пассивов примет следующий вид (см. табл. на стр. 51).

Вывод, к которому мы пришли на основании нашего гипотетического и до крайней степени упрощенного примера, может показаться читателю на первый взгляд совершенно нелепым. Чисто-депозитный банк, 70% пассивов которого состоят из текущих счетов, по которым банк обязан платить немедленно, закрепил 51% всех своих пассивов в долгосрочные или даже «вечные вложения», 28% также в сравнительно долгосрочные вложения в оборотные капиталы промышленных предприятий, и только 11% падают на долю собственно краткосрочных операций, и, наконец, 10% оста-

Актив	В рублях	В %%	Пассив	В рублях	В %%
Касса	900.000	10	Текущие счета	6.300.000	70
Краткосрочные (Денежн. кредит): и онкольн. ссуды и учет векселей, срочных до 30 дней	990.000	11	Вклады	2.700.000	30
Ссуды и учет (Оборотн. капитал): срочных до 6 месяцев векселей	2.520.000	28	В т. ч. группы А.	1.800.000	20
			„ „ „ Б.	900.000	10
Акции, облигации (Основной капитал): и длительн. участие в промышл. предприятиях	4.590.000	51			
Баланс	9.000.000	100		9.000.000	100

ется в кассе. Конечно, этот вывод покажется диким также и для натуралистической «ортодоксальной» теории, которая «разрешает» банкам, базирующимся на текущих счетах, заниматься исключительно теми краткосрочными ссудными операциями, на долю которых мы отвели всего 11%. С нашими 28% и 10% «ортодокс» еще сможет кое-как согласиться, но 51% капитальных вложений покажется для него совершенно баснословной цифрой.

Между тем, то, что именно депозитные банки, базирующиеся на текущих счетах, чрезвычайно широко занимаются грюндерскими операциями—это факт, безусловно установленный в отношении немецких банков Риссером, Прионом, Вебером и др. При этом немецкие банки, ведя с точки зрения «ортодоксальной» теории такую «гремовую политику», вполне устойчивы и отнюдь не собираются разделять судьбы Credit Mobilier.

Вся банковская деятельность построена на диалектическом законе перехода количества в качество. Трансформация денежной наличности индивидуальных предпринимателей в «общественную наличность», концентрация в банках всех кассовых оборотов промышленности и торговли не только дает экономию на металле и сокращает faux frais обращения, но придает особые черты всему воспроизводственному процессу. Возможность использования текущих счетов, т.-е. чисто-денежных депозитов, в качестве фондов капитального кредитования, т.-е. для расширения наличного об'ема производства, обусловлена реальной возможностью за счет ускорения оборота капитала и сведения к технически необходимому минимум бездействующих материальных фондов производства, расширять об'ем этого последнего. Свободная денежная наличность, которая без системы текущих счетов оставалась бы, в силу экономических условий данного момента, в кассах предприятий, являлась бы не чем иным, как неиспользованной покупательской силой, которой, следовательно, соответствовал бы бездействующий материальный фонд. Таким образом, в одних руках находились бы «свободные деньги»,

а в других «свободные», т.-е. нереализованные товары. При посредстве же системы банковских текущих счетов и активных операций банков, за счет этих бездействующих фондов осуществляется расширение об'ема производства, и, таким образом, нет абсолютно ничего ненормального (при допущенных нами предпосылках) в этой грюндерской деятельности чисто-депозитных банков.

Но при всем этом нарисованная нами картина баланса очень сильно отклоняется от действительности. С одной стороны, процент капитальных вложений у нас чрезмерно высок, а, с другой стороны, «собственно-краткосрочные операции» (денежный кредит) слишком низки. Это об'ясняется допущенной нами предпосылкой о наличии исключительно аккумулированных пассивов. При этой предпосылке баланс банковских предприятий действительно приближался бы к намеченному выше абстрактному типу. Но эта предпосылка нереальна: фонды банковского кредитования не исчерпываются аккумуляцией депозитов, но включают в себя и эмиссию пассивов в разнообразных формах. Поэтому для того, чтобы нарисованную нами картину баланса приблизить к действительности, нам необходимо проанализировать также формы и функции кредитной эмиссии. Только при учете этой последней могут быть вскрыты закономерности равновесия актива и пассива так называемых депозитных банков.

«Ортодоксальная» натуралистическая теория, как это вытекает из всего вышеизложенного совершает две ошибки. С одной стороны, она вообще отрицает или «порицает» кредитную эмиссию («Kreditschöpfung») депозитных банков, а с другой—не может понять природы депозитов и их размещения в активах даже при предпосылке, что банк не может «создавать кредит». Мы показали, как строится баланс без этого «создания кредита». Нам остается теперь подняться на следующую ступень абстракции и показать, в чем заключается функция этого «создания кредита». Экспансивистическая теория как раз в полную противоположность натуралистической теории в своем анализе и выводах базируется исключительно на этом «создании кредита» банками.

II. Эмитированные пассивы.

Первичная кредитная эмиссия.

Сущность и законы кредитной эмиссии или банковского создания платежных средств можно правильно понять только на основе теории воспроизводства и роли обращения в этом процессе. Создавая средства обращения, банк выполняет кредитную функцию капиталореализации, следовательно, это создание целиком относится к сфере T^1—$Д^1$ и $Д^1$—T^1, т.-е. превращению товарной формы капитала в денежную форму и обратно.

Весь воспроизводственный процесс представляет собою процесс «обмена веществ» в социальном «организме». Законы этой социальной «физиологии» призвана вскрыть политическая экономия. Специфической особенностью капиталистического воспроизводственного процесса является то, что этот процесс совершается в исторически присущей ему форме, именно в денежной форме. Но не следует забывать, что деньги, как средства обращения, являются только формой этого воспроизводственного процесса, но отнюдь не его материальной составной частью. Они являются именно формой этого—«обмена веществ», а не самим «веществом», движение которого, в противоположность точке зрения так называемой социологической теории (И. Рубин), нас интересует так же, как и движение самой формы. Марксов анализ функции средств обращения показал, что здесь

«функциональное существование денег поглощает, так сказать, их материальное бытие», и что хотя деньги здесь всегда выступают конкретно (а не идеально, как в функции мерила ценности), но сама форма проявления их безразлична, т.-е. безразлично, в каком именно материале будет выражен представляемый ими номинал ценности. В этой функции деньги совершенно номинальны, и все, что служит орудием покупки и платежа, будь то металл, казначейский знак, облигация, банкнота, чек, является формой денег, как средств обращения и платежа или, короче, платежным и покупательным средством [1]). Товаровладелец, отчуждающий свой товар за тот или иной денежный знак, относится к этому последнему именно как к знаку ценности, и если обратное превращение этого знака в конкретную товарную ценность обеспечено, то этот знак для него ничем не будет отличаться от «субстанциональных» денег—золота.

Если средства обращения, это—знак ценности, то ясно, что тот, кто эмитирует этот знак, должен предварительно обладать эквивалентной этому знаку ценностью, экономические права на которую и выражаются этими знаками. Если же этого нет, т.-е. если эмитент выпускает знак ценности, не располагая самой ценностью, то в том об'еме, в котором выпущены эти безэквивалентные знаки, эмитент экспроприирует часть ценностей у общества, получая товарные ценности, что называется «задаром»: имеется, как говорят немцы, Leistung, но нет Gegenleistung. Это имеет место во всех случаях бумажно-денежной инфляции...

Представим себе, что капиталистическое общество, в котором деньгами является золото, внезапно лишилось всей своей золотой наличности. Такое общество рисуют A. Hahn [2]) и Hawtrey [3]), который называет это системой «credit without money» («кредит без денег»). Не касаясь анализа этих авторов, мы постараемся представить себе процесс обмена в таком обществе.

Все товары выражены в определенных золотых ценах, обмен должен совершиться на эквивалентной основе «золотого стандарта», но без самого золота. Допустим, что A, располагая ценностями X на 1.000 р., желает получить на эту же сумму ценностей Y у B. Непосредственный обмен ценностями X и Y совершиться не может, так как B не нуждается в ценностях X, имеющихся у A, но хочет получить в обмен ценности Z у г-на C. В свою

[1]) Мы вполне согласны с проф. А. Соколовым, что подведение покупок при посредстве чеков и денежных суррогатов под понятие «виртуальной» (потенциальной) циркуляции денег (Виксель, Лянсбург) весьма искусственно, ибо, во-первых, это противоречит эмпирическим фактам, а, во-вторых, в каждый данный момент масса продаж, осуществляемых при посредстве денежных суррогатов, может быть больше всей имеющейся в стране массы денег. С нашей точки зрения, поскольку чеки фактически выполняют функцию средства обращения, постольку они являются самостоятельной формой денежных знаков на ряду с банкнотами и государственными бумажными деньгами, хотя и не могут быть отождествлены с этими последними. Вот почему мы разделяем точку зрения А. Соколова, который считает, что, поскольку различные виды платежных средств фактически обращаются на покупку товаров и услуг, постольку «увеличение банковских денег должно быть рассматриваемо с этой точки зрения, как увеличение платежных средств, а не как усиление скорости обращения денег» (А. Соколов, Скорость обращения денег и товарные цены, М. 1925 г., стр. 53—55). Впрочем, с точки зрения влияния массы денежных знаков на цены это не имеет существенного значения. Так, например, общеизвестную кредитную инфляцию в Англии во время войны сторонники «виртуальной теории» должны были бы рассматривать не как самостоятельный вид инфляции, но как сильно повышенную скорость обращения платежных денег, или как инфлянерное повышение виртуальной скорости обращения денег. Таким образом, по существу инфляция не отрицается, но лишь заменяется довольно туманным понятием «виртуальной скорости обращения».

[2]) «Volkwirtschaftliche Theorie des Bankkredits», 2 Aufl., Tübingen 1924, I Absch.

[3]) «Currency and Credit», 2 Ed., New-York 1923, p. 1—16.

очередь, С нуждается в ценностях X, которые он хочет получить в обмен на свои Z. При этом по величине своей ценность X = Y = Z. Но ни А, ни В, ни С не обладают товаром — всеобщим эквивалентом, который, например, В с удовольствием взял бы у А за отчужденный последнему товар Y.

Итак, в нашем примере «обмен веществ» совершиться не может, хотя предпосылки для его осуществления налицо, поскольку ценности эквивалентны и их размещение обеспечено. Нужна только пружина, чтобы совершилось обращение, в процессе которого товарные ценности переменятся местами. Такой пружиной как раз и является кредит, который создает инструмент или средство для обращения товаров, или, говоря словами Маркса, «это метаморфоз товара, совершающийся в данном случае при посредстве кредита» («Капитал», т. III, ч. 2, стр. 20). В этом случае дело произойдет следующим образом. Не находя желающего получить товар X как раз в обмен на товар Y, А выписывает вексель, в котором он обязуется пред'явившему эму этот вексель выдать товар X, равный по ценности 1.000 руб. Теперь дело уже меняется. Если раньше Б отказывался продать А товар Y, ибо он вовсе не хотел торговать этим товаром, то теперь он соглашается получить в обмен за Y это обязательство А в товаре X, ибо он знает, что X представляет действительную ценность, равную 1.000 р., что это товар ходкий и что, наконец, поэтому в обществе найдутся лица, желающие купить товар X. Его расчеты вполне оправдываются: он находит нужный ему товар у С, который охотно отдаст ему таковой в обмен на обязательство в X товаре, ибо С как раз и нужен этот самый X. Весь процесс заканчивается тем, что С пред'являет А вексель последнего, получает товар X, а А уничтожает вексель. Таким образом, без наличия денег—золота—совершился «обмен веществ». А сам создал средство обращения в форме своего векселя на товар X, это средство обращения пробежало круг А—В—С—А, а вместе с тем и осуществился кругооборот товара, т.-е. реальное перемещение материальных ценностей.

Очевидно, конечно, что средство обращения здесь создано кредитом, ибо В продал А товар Y в обмен на вексель последнего, или В кредитовал А. Но важная особенность данного кредитного акта заключается в том, что кредитный акт здесь является не самоцелью, но средством реализации товара. В кредитует А не потому, что он обладает свободной ценностью, которую он хочет передать А для капиталистического, как говорят натуралисты, «пользования», но только потому, что иначе он не может продать своего товара. С другой стороны, А кредитуется не потому, что у него не достает капитала, но только потому, что иным путем он не может получить товар Y. В свою очередь, реализация товара может быть двоякого рода: с одной стороны, один производительный капиталист реализует свой товар другому, который для последнего служит элементом его производства; с другой стороны, производительные капиталисты реализуют свои товары торговым капиталистам и через последних этот товарный капитал обменивается на доход, и, вступая в сферу личного потребления, заканчивает свою жизнь, как товар. «Итак,—говорит Маркс,—при посредстве кредита (коммерческого. *З. А.*) обслуживается: 1) поскольку дело идет о промышленных капиталистах — переход промышленного капитала из одной фазы в другую, связь между взаимно соприкасающимися и вторгающимися одна в другую сферами воспроизводства; 2) поскольку дело идет о купцах,—транспорт и переход товаров из одних рук в другие вплоть до их окончательной продажи за деньги или их обмена на другие товары» (Капитал, т. III, ч. 2, стр. 20).

Таким образом, кредит здесь является ничем иным, как формой реализации товара, или, поскольку речь идет о капиталистических производителях, товарного капитала, превращения Т в Д и обратного

превращения Д в Т $<^{\text{ср. пр.}}_{\text{раб. сила}}$ ...П и т. д. Вот почему мы говорим, что кредит здесь выполняет функцию обращения или капиталореализации (ибо обращение и есть процесс реализации товарного капитала).

Продолжительность жизни знака ценности или кредитных денег, созданных А, равна времени, в течение которого совершается процесс реализации товара, т.-е. движению этого векселя по цепи А—В—С—А, при чем это движение кредитных денег является ничем иным, как формой движения товаров X, Y, Z, в противоположном направлении. Этот вид кредита Маркс называет коммерческим кредитом и видит его отличительную черту в том, что здесь «каждый оказывает кредит одной рукой и получает другой» [1]). И это совершенно ясно из приведенного нами примера: В кредитует А и в то же время кредитуется у С. Здесь нет свободного, ищущего помещения, капитала, и если кредит оказывается, то только для того, чтобы совершилась реализация товара, в процессе которой именно благодаря кредиту создаются средства обращения, заменяющие те деньги, которыми покупатель располагает лишь в потенции, ибо имеет ценность, но еще нереализованную.

Конечно, в форме коммерческого кредита может происходить ссуда производительного капитала, когда один капиталист ссужает другому средства производства и этим сокращает об'ем функционирующего капитала в своем собственном предприятии и увеличивает таковой об'ем в другом предприятии. Но в этом случае невозможна кредитная эмиссия, которая вытекает из самого существа коммерческого кредита. Невозможность кредитной эмиссии в этом случае можно ясно себе представить на том же примере отношений между А, В, С. Ценностью в 1.000 рублей располагают В и С. А нуждается в товаре В на 1.000 р. для расширения своего производства. В кредитует А товаром Y на 1.000 руб. Но если В действительно не нуждается в 1.000 руб., то вексель А останется в портфеле В и будет простым титулом собственности на определенную долю производительного (но не товарного) капитала А, таким же титулом собственности, каким является акция, облигация или банковская ссуда. Здесь мы имеем не «взаимокредитование», что служит характернейшей чертой коммерческого кредита, но одностороннее кредитование, в котором В выступает, как заимодавец, следовательно, подобно банкиру, кредитующему капиталистов за счет своих средств, а А, как заемщик. Здесь кредитная сделка является не средством реализации товара, но самоцелью, и ссуда оказывается не потому, что А нуждается в заемном капитале и при том непосредственно именно в данной товарной форме [2]).

В действительности, конечно, оба эти вида кредита большей частью соединены, но не только теоретически мыслимо, но и практически

[1]) Капитал, т. III, ч. 2, 1923 г., стр. 17. Между прочим, отметим, что Э. Брегель в своей интересной и ценной статье «Формы и функции кредита» («Вестник Коммунистической Академии», кн. 28) дает иную интерпретацию коммерческого кредита, рассматривая последний, как форму перераспределения функционирующих капиталов аналогично денежно-капитальному кредиту. Между тем, Маркс как раз подчеркивает различие между коммерческим и денежно-капитальным кредитом именно в плоскости, развитой нами в тексте. «Итак, то, что здесь ссужается,—говорит Маркс,—отнюдь не является незанятым капиталом; это капитал, который в руках своего владельца должен изменить свою форму, который для владельца существует в такой форме, в которой он представляет для него товарный капитал, т.-е. капитал, который должен совершить обратное превращение и, по крайней мере, прежде всего превратиться в деньги. Итак, это метаморфоз товара, совершающийся в данном случае при посредстве кредита» (Капитал, т. III. ч. 2, стр. 20).

[2]) Ср. трактовку коммерческого кредита у С. Выгодского в статье «К понятию денежного рынка» («Социалистическое Хозяйство», кн. 1 за 1927 г.) и И. А. Трахтенберг в I части «Современного кредита и его организации» (М. 1929 г.).

возможно разграничение этих двух видов кредита и при том в совершенно точных цифрах. Так, если мы возьмем баланс любого промышленного предприятия, то мы всегда найдем у него в пассиве «векселя выданные» и в активе «векселя полученные». На всю ту сумму, на которую «векселя выданные» компенсируются «векселями полученными» и наоборот, банк выступает одновременно и как кредитор, и как заемщик, т.-е. как суб'ект «взаимного» коммерческого кредита. Только сальдо счета векселей показывает сумму, которую банк действительно занял или кредитовал, и только на эту сумму предприятие выступает, как суб'ект «одностороннего» коммерческого кредита, т.-е. либо как капиталист-кредитор (при активном сальдо), либо как производительный капиталист-заемщик (при пассивном сальдо).

Итак, и теоретически и практически необходимо и возможно разграничивать эти два вида кредита. Что же касается кредитной эмиссии или «созданных пассивов», то эти последние целиком базируются на закономерностях коммерческого кредита, и без отчетливого понимания сущности этого последнего невозможно понять и этой формы банковского кредита.

В приведенном выше гипотетическом примере коммерческих взаимоотношений А, В и С мы показали в чистом виде процесс рождения, жизни и смерти основной и элементарной формы кредитных денег—коммерческого или, как говорят в банковской практике, «здорового товарного векселя» [1]. В нашем примере коммерческие взаимоотношения взяты в наиболее упрощенном и элементарном виде. Однако действительные взаимоотношения в процессе коммерческого кредита и кредитной эмиссии хотя и более сложны и многообразны, но сущность этих отношений остается та же, равно как и обусловленные этой сущностью закономерности кредитной эмиссии. Эта последняя действительно создает только недостающую производительным капиталистам денежную форму для уже имеющегося в наличии, готового для обращения и потребления (Konsumreife) товара (товарного капитала). Те непреодолимые без вмешательства кредита трудности для совершения процесса обращения, которые встали перед А. В, С в связи с отсутствием у них денежной наличности, ежедневно и ежечасно возникают в капиталистическом мире. Если бы не было кредитной формы обращения, то капиталистическое общество в своем развитии постоянно сталкивалось бы с недостатком наличных денег, и, следовательно, процесс обращения наложил бы оковы на развитие производства, что невозможно, ибо обращение само является моментом производства и воспроизводства, и целиком обусловлено этим последним. Природа создания кредитных средств обращения правильно определена Гильфердингом в следующих словах: «Итак, оборотный кредит в том смысле, как мы употребляем этот термин, заключается в создании кредитных денег. Следовательно, он устраняет зависимость производства от такой границы, как имеющаяся сумма наличных денег. Под наличными деньгами мы разумеем полноценные металлические деньги, деньги, соответствующие данной денежной системе, серебряные или золотые деньги; плюс государственные бумажные деньги с принудительным курсом и билонную монету, поскольку все эти деньги существуют в количестве, определяемом общественно необходимым минимумом обращения» [2].

---

[1]) Ср. нашу абстракцию с теорией «Geldschöpfung» (создания денег) Фридриха Бендиксена, которая, в свою очередь, имеет много общих черт с принципами «Banking School», оказавшей влияние на Маркса. Критику Geldschöpfung Бендиксена см. ниже.

[2]) «Финансовый капитал», ГИЗ, 1922 г., стр. 81—82.

Капиталистическое производство есть производство прибавочных ценностей. Капитал, вложенный в производство, не только возмещает затраченные элементы производства, но приносит их владельцу в известной норме добавочную массу ценностей. Если мы представим себе, что в течение данного периода сумма авансированных ценностей у всех капиталистов возросла на 20%, то для осуществления процесса обращения при неизменной скорости обращения сумма наличных денег-золота должна будет возрасти на эти 20%. Между тем, во всех отраслях производства, за исключением самой золотопромышленности, играющей ничтожную роль в общей массе производства, создается дополнительная масса каких угодно товаров, но только не золота. Если же отбросить нелепое предположение о возможности поглощения всей этой дополнительной массы ценностей золотопромышленностью, то для совершения актов обращения в отношении этих возросших 20%, перед всеми капиталистами встали бы именно те непреодолимые трудности, которые в нашем примере имели место у А, В, С.

В связи с этим следует заметить, что Роза Люксембург дает неправильный ответ на вопрос о дополнительном денежном спросе [1]). Она ставит дилемму: либо золотопромышленность поглощает всю эту избыточную массу ценностей, что невозможно, либо реализация, а следовательно, и воспроизводство, невозможно без «внешней среды». Однако перенесение вопроса о дополнительном денежном спросе в плоскость «внешнего рынка» отнюдь не решает проблемы, ибо остается тайной, откуда же в этой некапиталистической среде возникает наличный денежный спрос.

Ошибка Розы Люксембург в том, что она неправильно наметила возможные пути решения этой проблемы, ибо нет дилеммы: либо золотопромышленность, либо внешняя среда. Перед нами иная дилемма: либо золотопромышленность, либо обращение без золота, т.-е. кредитная форма обращения. Если мы предполагаем пропорциональное развитие отраслей производства и в том числе пропорциональность между отраслями, производящими средства производства и средства потребления, то денежный спрос, как это ясно вытекает из приведенного выше примера, создается самими капиталистами именно в форме кредитных денег [2]). При пропорциональности производства, что в нашем примере выражено в форме соответствия спроса и предложения товаров, процесс реализации (обращения) возросшей товарной массы (прибавочной ценности) может совершаться без единой дополнительной унции золота. Таким образом, возможность кредитной формы обращения дает исчерпывающий ответ на вопрос о дополнительном денежном спросе. Если налицо возросшая товарная масса, то кредит создает для этой последней денежную форму ее реализации. Таким образом, вопрос о том, «откуда берутся деньги», находит свое положительное решение, и с этой стороны отпадают возражения Розы Люксембург против марксовой теории воспроизводства.

---

[1]) «Накопление капитала», III изд., ГИЗ, гл. V и IX.

[2]) На этот момент обращает внимание Н. Бухарин, критикуя теорию Розы Люксембург. «Если бы,—говорит Бухарин,—каждая денежная единица делала бы только один оборот; если бы не было кредита; если бы увеличение быстроты оборота было бы невозможно; если бы не было погашения взаимных платежей..., — то тогда реальностью была бы именно «нелепая» гипотеза, производство и его расширение зависели бы от производства золота, производство золота чудовищно росло бы, и параллельно росту товарной кучи Розы Люксембург вздымалась бы огромная и все увеличивающаяся гора золота» («Империализм и накопление капитала», 1925 г., стр. 43).

Изложенное показывает, что вопрос о векселе и кредитной форме обращения далеко выходит за рамки специально кредитной или денежной теории, ибо имеет кардинальное значение для общей проблемы воспроизводства и реализации.

* * *

Мы выяснили происхождение, сущность и значение кредитной формы обращения на основе коммерческого кредита. Наша задача заключается теперь в том, чтобы на основе анализа общей формы кредитных денег исследовать особые формы этих последних, создаваемые банковским кредитом.

До сих пор мы говорили о кредитной форме обращения, абстрагируясь от банковского кредита. Такой путь абстракции оправдывается тем, что коммерческий вексель должен рассматриваться как первичная форма кредитных средств обращения, хотя исторически банкнота (точнее: переводный вексель средневекового банкира) предшествует коммерческому векселю, который приобретает циркуляторную силу лишь с развитием капиталистического оборота. Коммерческий вексель рассматривается нами, как первичная форма кредитных средств обращения именно потому, что он непосредственно создается в самом торгово-капиталистическом обороте, в то время как банкнота или чек представляет собой явление «надстроечного» характера по отношению к векселю, т.-е. более сложную форму коммерческого оборота. Но это не более, чем частный случай общей возможности несовпадения логического развития категорий экономической науки с их историческим развитием, отмеченная и об'ясненная Марксом [1]).

Вот почему наш анализ ни в коем случае не теряет значения также и от того, что тенденция самого новейшего развития заключается, как это доказал Яффе, в том, что вексель даже перестает служить основой банкнотной эмиссии. Однако здесь трансформируются только формы проявления кредитной эмиссии, но законы этой последней, выведенные на основе анализа элементарной формы кредитной эмиссии, сохраняют всю свою силу.

Сказанным определяется порядок дальнейшего изложения. Мы начинаем с той формы банковской эмиссии (создания пассивов), которая непосредственно представлена этой первичной формой—векселем (акцепт), затем переходим к форме, отличной от векселя, но еще базирующейся на этой последней (банкнота), и, наконец, заканчиваем анализом той формы (чеко-жирооборот), которая дает возможность полной эмансипации от векселя и самостоятельного бытия этой формы. При этом, конечно, последовательность логического анализа не может быть копией последовательности исторического развития.

(Окончание следует).

[1]) «Порядок (анализа категорий политической экономии. *З. А.*) определяется скорее тем отношением, в котором они стоят друг к другу в современном буржуазном обществе, при чем это отношение прямо противоположно тому, которое кажется соответствующим природе вещей или последовательности экономического развития» («К критике». изд. «Моск. Рабочий», 1922 г., стр. 30).

Проблема рыночной стоимости у Маркса [1]).

Г. Логинов.

Анализ двойственного характера труда позволил Марксу легко отделить производственные отношения от естественных свойств «вещей» — товаров и найти сущность стоимости. Технический характер труда Маркс связал с понятием конкретного труда, создающего потребительную стоимость, а общественный характер труда, образующего стоимость, Маркс выделил в учение об абстрактном труде, где и был дан анализ именно качественной стороны стоимости. Количественная сторона этого абстрактного труда находила свое выражение в учении об общественно-необходимом труде. Анализ качественной стороны стоимости в учении об абстрактном, общественном труде позволил Марксу легко найти сущность стоимости: она означала не что иное, как «овеществленный» — общественно равный труд или производственное отношение равных товаропроизводителей, выраженное в вещной форме. Сущность учения Маркса об абстрактном труде заключалась, конечно, не в том, что он есть труд физиологически равный и как таковой «создающий» стоимость, а в том, что только при определенных исторических условиях физиологическая затрата труда, как труда общественного в своей особенной форме, создает такое общественное явление, как стоимость. Поэтому для Маркса абстрактный труд, создающий стоимость, означал физиологическую затрату труда при таких общественных условиях, когда отвлечение от конкретных видов труда становится условием его общественного характера.

Такое отвлечение от конкретных видов труда необходимо именно в товарном хозяйстве, так как обмен качественно различных между собой «вещей»-товаров предполагал их соизмеримость, как стоимостей, под стоимостью же скрывалась общественно равная трудовая затрата. Анализ ее величины стоимости данной Марксом в учении об общественно - необходимом труде, и сводился к вскрытию закона равновесия товарно-капиталистического хозяйства. Поэтому анализ величины стоимости Маркс дает в связи с конкретным ценообразованием, т.-е. учетом влияния спроса или общественной потребности на цену и стоимость. Качественный же анализ цены Маркс дает в анализе форм стоимости, где и дается блестящее решение сущности денег и становится понятной сущность цены.

В данной работе мы попытаемся осветить проблему взаимоотношения стоимости и цены с количественной стороны, т.-е. показать процесс ценообразования, как проявление закона трудовой стоимости на основе истолкования категории рыночной стоимости у Маркса. Вопрос о законе ценообразования решается у Маркса в учении об общественно-необходимом труде, определяющем величину стоимости товара. На этом основании мы и полагаем, что проблема общественно-необходимого труда также должна решаться на основе уяснения процесса ценообразования. При этом рыночная стоимость является такой категорией, которая поможет понять законы ценообразования и тем самым решить вопрос об общественно - необходимом труде.

[1]) В порядке обсуждения *Ред.*

Поэтому с методологической точки зрения центр тяжести проблемы общественно - необходимого труда заключается в следующем: какое понимание общественно - необходимого труда помогает лучше уяснить закон ценообразования; только постольку имеет смысл поднимать вопрос о различных версиях в понимании общественно-необходимого труда в системе Маркса.

Постановка проблемы общественно-необходимого труда.

Как известно, проблема регулятора цен в товарном хозяйстве разрешалась у Маркса на основе учения о величине стоимости товара, которая определялась общественно - необходимым трудом. Поэтому вопрос о превращении стоимости в цену (с количественной стороны, а не с качественной, где мы имеем дело с анализом сущности денег), неизбежно связывался с вопросом о влиянии спроса на стоимость. Отсюда и возник вопрос о различном понимании общественно - необходимого труда у Маркса, т.-е. встал вопрос: связан ли общественно - необходимый труд с общественной потребностью, или у Маркса общественная потребность не имеет никакого отношения к общественно-необходимому труду, а следовательно, и к величине стоимости товара. В марксистской литературе данная проблема получила свое освещение в двух основных точках зрения о различном понимании общественно - необходимого труда, т.-е. в «технической» версии и версии «экономической». В связи с тем или иным решением вопроса об общественно-необходимом труде решался и основной вопрос о влиянии спроса на стоимость. Сторонники «технической» версии доказывали, что величина стоимости определяется общественно - необходимым трудом в «техническом» смысле, т.-е. независимо от общественной потребности. Сторонники же «экономической» версии утверждали, что у Маркса в понятие общественно-необходимого труда входит учет общественной потребности. «Техническая» версия рассматривала величину стоимости товара, как данную, абстрагируясь от условий конкуренции, и поэтому она недостаточно выяснила роль общественной потребности, утверждая, что общественная потребность не имеет никакого отношения к общественно - необходимому труду. «Экономическая» версия, признавая влияние спроса на стоимость, приходила фактически к признанию второго фактора в образовании стоимости на ряду с трудом, т.-е. спроса или общественной потребности, что противоречило теории трудовой стоимости Маркса. Признав влияние спроса на стоимость, «экономическая» версия тем самым смешивала цену со стоимостью, а это означало смешение состояния нарушенного рыночного равновесия товарно-капиталистического хозяйства с состоянием его равновесия. По нашему мнению, путь для решения проблемы общественно - необходимого труда нужно искать в анализе процесса ценообразования, т.-е. в исследовании условий рыночной конкуренции, тогда станет понятно, как единство и различие между стоимостью и ценой, так и технический и «экономический» смысл общественно-необходимого труда у Маркса. Различное понимание общественно-необходимого труда у Маркса возникло именно потому, что Маркс не закончил исследования вопроса о соотношении между стоимостью и ценой в условиях нарушенного или неустойчивого рыночного равновесия, где именно учитывалось влияние спроса. Но Маркс отмечал в «Критике политической экономии», что решение основного противоречия между стоимостью и ценой должно лежать в исследовании условий конкуренции. Так, напр., отмечая основные противоречия классической политической экономии, в частности, противоречие между стоимостью и ценой, Маркс говорит следующее: «Рыночная цена товаров падает ниже их стоимости или поднимается над ней при изменении отношения между

спросом и предложением. Поэтому меновая ценность товаров определяется этим отношением, а не заключенным в них рабочим временем.

В сущности этот удивительный вывод ставит только вопрос: как на основании меновой ценности развивается отличная от нее рыночная цена, или, правильнее, каким образом закон меновой ценности превращается в свою собственную противоположность. Этот вопрос разрешается в учении о конкуренции» («К критике политической экономии», стр. 62). Однако Маркс дал лишь черновые наброски учения о конкуренции в III т. «Капитала», в теории цены производства, более разработанной, чем вопрос о рыночной стоимости, и где Маркс пытался дать полный анализ соотношения между стоимостью и ценой в условиях рыночной конкуренции. Исследование рыночной стоимости у Маркса хотя и носит незаконченный характер, но все же показывает, как в условиях рыночной конкуренции стоимость регулирует рыночные цены, а в условиях капиталистического хозяйства роль рыночной стоимости, как регулятора рыночных цен, выполняет регулирующая цена производства. Поэтому в анализе рыночной стоимости Маркс дает набросок решения вопроса о взаимоотношениях между стоимостью и ценой с количественной стороны. В данной работе мы и попытаемся доказать, на анализе рыночной стоимости, что общественно - необходимый труд понимался у Маркса в двух смыслах: в «техническом» и «экономическом». Общественно-необходимый труд в техническом смысле означал просто количественную затрату труда, измеряемую рабочим временем. Общественно-необходимый труд в экономическом смысле означал отношение затраченного труда к общественной потребности. Раскрытая Марксом величина стоимости товара, определяемая общественно-необходимым трудом, находила свое выражение только в процессе конкуренции. Поэтому общественно-необходимый труд, находящий свое выражение в величине стоимости, не есть величина, заранее данная, а она устанавливалась в процессе распределения общественного труда в товарной форме.

Мы считаем лишь необходимым провести резкое и надлежащее разграничение общественно-необходимого труда: различать в нем технический и экономический смысл. Только при анализе условий конкуренции выясняется роль общественной потребности или спроса, в категории стоимости и цены. Сторонники «технической» версии не обращали достаточного внимания на анализ процесса конкуренции и поэтому не придавали соответствующего значения понятию общественно-необходимого труда в экономическом смысле, которому Маркс также отвел соответствующее ему место. Мы полагаем, что учение Маркса об общественно-необходимом труде диалектически связано с общественной потребностью именно потому, что учение об общественно-необходимом труде есть учение о законе пропорционального распределения труда в товарно - капиталистическом хозяйстве через форму стоимости и цены. «Техническая» версия, исключая общественную потребность в понимании общественно-необходимого труда, делала неясной и недостаточно увязанной проблему взаимоотношения стоимости и цены с количественной стороны именно при анализе нарушенного рыночного равновесия, т.-е. когда спрос и предложение не равны, хотя Маркс в своей теории цены производства дал достаточно элементов для такой увязки. Исходным положением «технической» версии является всегда условие равенства между спросом и предложением, т.-е. то положение, когда стоимость и цена есть количественное единство. Между тем, вся трудность вопроса и заключается в том, чтобы показать — как проявляет себя закон общественно-необходимого труда при условии нарушения рыночного равновесия, т.-е. при перепроизводстве и недопроизвод-

ств е. Вот почему общественно-необходимый труд в техническом смысле еще не может дать исчерпывающего представления о стоимости, как внутреннем регуляторе цен. Только при учете общественной потребности становится ясным положение Маркса, что величина стоимости товара определяется не индивидуальным трудом, а общественно-необходимым. Индивидуальный труд какой-либо группы производителей потому и не может определять величины стоимости товара, что он не покрывает всей общественной потребности в данного рода товарах [1]). Поэтому общественно-необходимый труд нельзя рассматривать независимо от общественной потребности, а нужно установить лишь правильное понимание экономического смысла общественно-необходимого труда у Маркса. Исходя из этого, мы полагаем, что общественная потребность является необходимым моментом в общественно-необходимом труде.

Под общественно-необходимым трудом в экономическом смысле Маркс понимал пропорциональное отношение затраченного труда к общественной потребности. А такое отношение затраченного труда к общественной потребности, выраженное в товарной форме, и получало свое соответствующее выражение в категории цены и стоимости. Когда стоимость совпадает с ценою, тогда спрос и предложение равны, т.-е. затраченный труд (в товарной форме) соответствует общественной потребности. В этом случае общественно-необходимый труд в техническом и экономическом смысле есть единство. В товарном хозяйстве пропорциональное распределение общественного труда совершается в процессе конкуренции, через категорию цены и стоимости. Постоянное несовпадение спроса и предложения и отражает несоответствие затраченного труда с общественной потребностью; оно находит свое выражение в колебаниях цен, в их отклонениях от стоимости. Это колебание цен, эти отклонения от стоимости и показывают, что происходит разрыв между техническим и экономическим общественно-необходимым трудом, т.-е. что затраченный труд в техническом смысле, так как не выступает экономическим общественно-необходимым трудом, не может реализоваться полностью. Поэтому, вследствие несоответствия общественной потребности, происходит колебание цен, приводящее к перераспределению производительных сил. Эти колебания цен совершаются до тех пор, пока не установится устойчивое равновесие, т.-е. пока не наступит такое положение, когда затрата труда будет соответствовать общественной потребности. Стоимость

[1]) Противоречие между индивидуальным и общественно-необходимым трудом проявляется в противоречии между стоимостью и ценой. С диалектической точки зрения общественную стоимость можно рассматривать, как общее, которое определяется общественно-необходимым абстрактным трудом, а индивидуальную стоимость рассматривать как единичное. Если условия производства какой-либо индивидуальной группы производителей совпадают со средними общественными условиями производства, то такой индивидуальный труд дает единичную, индивидуальную стоимость, которая в точности совпадает с общественной стоимостью, и в этом смысле индивидуальная и общественная стоимость есть единство. И лишь постольку индивидуальный труд превращается в общественно-необходимый, поскольку индивидуальная стоимость должна быть превращена в общественную стоимость, т.-е. так или иначе выражать общественную стоимость, как об'ективно общее и обязательное для всех товаропроизводителей. В этом смысле индивидуальная стоимость, как единичная, взаимно проникает в общее и получает свое выражение в рыночной стоимости, и постольку цена и стоимость выражают свое единство количественное и качественное. Когда же индивидуальная стоимость не выражает диалектической связи с общественной стоимостью, которая определяется общественно-необходимым трудом, то это отражает условия нарушенного рыночного равновесия, т.-е. когда спрос сильно преобладает над предложением или предложение больше спроса. Следовательно, противоречие между индивидуальной и общественной или рыночной стоимостью отражает противоречие между количеством производимых товаров и общественной потребностью в них. Это противоречие и разрешается через процесс колебания рыночных цен.

и выражает у Маркса такой центр устойчивого равновесия рыночных цен, когда общественно-необходимый труд в техническом и экономическом смысле представляет единство. А это единство и имеет место тогда, когда спрос и предложение покрывают друг друга. Вот почему, отстаивая чисто-техническое понимание общественно-необходимого труда, можно притти к пониманию стоимости, как чисто-технической категории, т.-е. в смысле простой т р у д о в о й з а т р а т ы и т о л ь к о. В этом отношении, с известными оговорками, замечание тов. Мендельсона совершенно верно. Так, отстаивая понимание общественно-необходимого труда в экономическом смысле, тов. Мендельсон говорит: «Общественно-необходимый труд в техническом смысле не отражает общественного характера стоимости, ибо конкретный труд, охарактеризованный с качественной стороны, не был бы определен с количественной. Между тем, как с точки зрения Маркса, создателем стоимости является общественный человеческий труд, а не просто труд, как технический фактор производства. Маркс же учитывал также общественную потребность в понятии общественно-необходимого труда, и поэтому экономическая трактовка дополняет техническую» («Под Знаменем Марксизма» 1922 г., № 7—8, стр. 164).

Мы согласны с тем, что технический смысл общественно-необходимого труда подчеркивает только содержание стоимости, т.-е. трудовую затрату,— и только, но ничего не говорит о форме пропорционального распределения общественного труда. Между техническим и экономическим смыслом общественно-необходимого труда существует такая же связь, как между содержанием стоимости, в смысле трудовой затраты, и стоимостью в смысле специфической формы пропорционального распределения труда. Ибо стоимость проявляет себя лишь в обмене. «Мы исходим из меновой стоимости товаров,— говорит Маркс,—чтобы напасть на след скрывающейся в ней стоимости». Общественно-необходимый труд о п р е д е л я е т а б с о л ю т н ы й х а р а к т е р стоимости и м е н н о в о т н о с и т е л ь н о с т и, т а к к а к в е л и ч и н а с т о и м о с т и п р о я в л я е т с е б я л и ш ь п р и д а н н о й о б щ е с т в е н н о й п о т р е б н о с т и, и м е ю щ е й с я н а р ы н к е. Но абсолютный характер величины стоимости заключается в том, что она измеряется об'ективной величиной, т.-е. общественно-необходимым рабочим временем. Так, Маркс, критикуя одного анонимного автора (который упрекал Рикардо в его абсолютном понимании ценности на том основании, что соизмеримость товаров отыскивалась в труде), говорит следующее: «Совершенно ошибочно утверждать, что этим ценность товара превращается из чего-то относительного в нечто абсолютное. Наоборот, как потребительная ценность товар есть нечто самостоятельное, как ценность, наоборот, он представляет нечто относительное, определяемое е г о о т н о ш е н и е м к о б щ е с т в е н н о н е о б х о д и м о м у, о д и н а к о в о м у п р о с т о м у р а б о ч е м у в р е м е н и. Это д о т о г о о т н о с и т е л ь н о, ч т о, к о г д а и з м е н я е т с я т р е б у е м о е д л я е г о в о с п р о и з в о д с т в а р а б о ч е е в р е м я, и з м е н я е т с я е г о ц е н н о с т ь, хотя действительно заключенное в нем рабочее время осталось неизмененным» [1]). Здесь Маркс подчеркивает, что простая трудовая затрата еще не есть стоимость, последняя—«создается» лишь в отношении между продуктами труда, как товарами, в процессе сведения индивидуальных затрат к однородному общественному рабочему времени, т.-е. стоимость есть общественное отношение [2]) Экономический смысл

[1]) «Теории», т. III, стр. 109, изд. 1927 г.

[2]) Нельзя отрывать содержание стоимости от ее формы проявления, как товарной формы производства. В этом отношении Рубин совершенно прав, говоря следующее: «Без «формы стоимости» не существует и «стоимости» в подлинном смысле слова, а остается только «стоимость» в условном смысле, трудовой затраты, лишенной всякой общественной формы» («Очерки», стр. 85).

общественно-необходимого труда у Маркса поэтому включает момент общественной потребности. Этот второй смысл общественно-необходимого труда не имеет отношения к стоимости товаров, а есть лишь отношение затраченного труда к общественной потребности. Это двоякое разграничение общественно-необходимого труда на технический и экономический смысл мы хотим показать на анализе рыночной стоимости, давая последней совершенно иное истолкование. Мы согласны с т. Мендельсоном, что рыночная стоимость у Маркса должна отображать процесс превращения стоимости товаров в их цены. Поэтому технический и экономический смысл общественно-необходимого труда очень тесно переплетается между собою в категории рыночной стоимости. С этой точки зрения, как техническая, так и экономическая версия одинаково делали ошибки в проблеме общественно-необходимого труда, в связи с их неправильным анализом рыночной стоимости. Технический смысл общественно-необходимого труда опирается на понятие производительной силы труда, а экономический смысл общественно-необходимого труда сводится к отношению этого труда к общественной потребности, к пропорциональному распределению общественного труда. Смешение этих двух смыслов общественно-необходимого труда у сторонников экономической версии вполне естественно приводило к смешению цен со стоимостью. Когда стоимость представляется в виде средней рыночной цены, вычисленной по средней арифметической, тогда стоимость и цена есть единство [1]). В условиях конкуренции это единство, представленное теоретически, превращается во внутреннюю противоположность. Рыночная стоимость иллюстрирует динамику рыночных цен и теоретически показывает у Маркса моменты, когда она совпадает со стоимостью, а когда с рыночной ценой. В учении о рыночной стоимости у Маркса показано, что в виде тенденции цены тяготеют к математической средней, цене, определяемой совокупным рабочим временем, деленным на число изготовленных продуктов. Центр же устойчивого равновесия, к которому тяготеют рыночные цены, определяется производительной силою труда тех производителей, которые занимают господствующее положение на рынке при данном состоянии спроса. Рыночная стоимость и дает возможность лучше понять связь технического и экономического моментов в понятии общественно-необходимого труда, в то же время она показывает и их различие. Здесь также отводится соответствующее место общественной потребности, как предпосылки для реализации стоимости. Между техническим и экономическим моментами в общественно-необходимом труде существует такая же связь, как между абстрактным и конкретным трудом. Смешение абстрактного труда с конкретным приводит к смешению меновой ценности с потребительной. Точно так же смешение «технического» и «экономического» смысла общественно-необходимого труда фактически приводит к признанию общественной потребности вторым фактором в образовании стоимости или к признанию непосредственного влияния спроса на стоимость, как это особенно ярко проявилось у сторонников так наз. «экономической» версии в вопросе об общественно-необходимом труде. Итак, процесс распределения общественного труда в частной форме, в форме товаров при наличии формально независимых товаропроизводителей «создает» категорию стоимости [2]). Исходя из трудового процесса, Маркс вскрыл общественное отношение людей под оболочкой вещи и тем самым нашел закон движения цен на рынке. Этот закон был формулирован Марксом, как известно, в понятии

[1]) Тогда общественно-необходимый труд в техническом и экочомическом смысле совпадают, ибо предположено пропорциональное распределение труда в соответствии с общественной потребностью.

[2]) Термин «создает», конечно, нужно понимать не в буквальном смысле этого слова, а в том смысле, что абстрактный труд принимает форму стоимости продукта труда.

общественно-необходимого труда. «Общественно-необходимый труд есть такой труд, который требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда» (К., т. I, стр. 5). Если в основе цены каждого товара (речь идет о свободно-воспроизводимых товарах) лежит труд, то почему же цена каждого товара не совпадает со стоимостью. Именно потому, что в простом товарном и капиталистическом хозяйстве спрос и предложение не покрывают друг друга. Приспособление количественной массы товаров к общественной потребности, в свою очередь зависимой от стоимости товаров, совершается путем постоянных колебаний цены вокруг центра—трудовой стоимости, определяемой общественно-необходимым трудом. Установив таким образом абстрактное понятие общественно-необходимого труда, Маркс на протяжении всего исследования в I и во II томах «Капитала» предполагает, что товары продаются по этой (установленной им теоретически) стоимости. Поскольку Марксу было важно исследовать природу прибыли и процесс кругооборота капитала, он абстрагировался от условий конкуренции, предположив, что спрос и предложение равны. Но в III томе «Капитала» и отчасти в «Theorien» он в связи с критикой теории цены производства классиков уже учитывает реальный процесс образования цен на рынке при условии несовпадения спроса и предложения. Здесь Маркс и оперирует с категорией рыночной стоимостью.

Основной спор между сторонниками «технической» и «экономической» версии лежал, как известно, в плоскости вопроса: влияет ли общественная потребность или спрос непосредственно на стоимость, или нет. Первые отвечали в отрицательном смысле, вторые—в утвердительном. При этом вся аргументация и той и другой стороны сводилась к соответствующим цитатам из Маркса. Тов. Дволайцкий попытался было подойти к проблеме общественно-необходимого труда с точки зрения общей методологии Маркса—с точки зрения взаимного отношения производства и общественной потребности, но кроме цитат из известного «Введения» он ничего не добавил [1]). Вся дискуссия по вопросу об общественно-необходимом труде возникла именно при анализе рыночной стоимости. При чем сторонники «технической» версии рассматривали рыночную стоимость как устойчивое состояние равновесия внутри данной сферы производства, между предприятиями различной производительности в связи с равновесием между различными сферами производства (цена производства). Они рассматривали это равновесие при допущении равенства спроса и предложения. Сторонники же «экономической» версии анализировали рыночную стоимость с учетом влияния спроса или общественной потребности, а потому приходили к другому результату. Отсюда и возникли упреки по адресу сторонников «экономической версии» в смешении стоимости с ценой. Как те, так и другие, по нашему мнению, совершали ошибки в анализе рыночной стоимости, именно они отождествляли рыночную стоимость с той стоимостью, которую Маркс теоретически установил в I т. «Капитала».

Анализ рыночной стоимости у Маркса.

Мы видели, что проблема общественно-необходимого труда должна решаться на основе анализа условий ценообразования. Рыночная стоимость у Маркса и является той категорией, при помощи которой Маркс пытался решить вопрос о соотношении между стоимостью и ценой с количественной стороны. Следовательно, нам надлежит выявить точку зрения Маркса в вопросе о рыночной стоимости. По нашему мнению, тов. Мендельсон ближе всего подошел к сущности рыночной стоимости, истолковывая ее диалектически: не анализируя ее подробно, он дал рыночной стоимости такое опре-

[1]) См. «Под Знам. Маркс.» 1922 г., № 5—6, стр. 99.

деление: «Рыночная стоимость — это стоимость, перестающая быть стоимостью, но еще не превратившаяся в цену» [1]). Действительно, рыночная стоимость анализируется Марксом как конкретное проявление закона стоимости в динамике цен. Поэтому Маркс при анализе рыночной стоимости останавливается и на случаях несовпадения спроса и предложения. Иначе говоря, Маркс рассматривает и не нормальное положение рынка, и поэтому рыночная стоимость носит в себе двойственный характер. С одной стороны, рыночная стоимость есть средняя цена, вычисленная по средней арифметической, с другой — индивидуальная цена товаров, произведенных при средних условиях техники, в данной сфере производства, и составляющих значительное большинство, но не совпадающая со средней ценой (К., т. III, ч. 1, стр. 157). Обратимся к соответствующему анализу рыночной стоимости у Маркса. Анализируя три основных случая регулирования рыночной стоимости, т.-е. при средних, низших и наилучших условиях производства, Маркс устанавливает такой закон: при допущении равенства спроса и предложения рыночную стоимость всегда будет определять та группа производителей, которая выбрасывает наибольшую массу товаров. Но если спрос и предложение не равны, то здесь возможны разные случаи. Из этих разных случаев, которых мы подробнее коснемся ниже, Маркс выводит еще один закон, гласящий следующее: При перепроизводстве, рыночная стоимость всегда регулируется наилучшими условиями производства, и, обратно, при недопроизводстве — рыночная стоимость всегда регулируется наихудшими условиями производства. Так, подходя к вопросу, когда рыночная стоимость регулируется наихудшими условиями производства, Маркс отвечает: «Только в том случае, если спрос настолько силен, что цена регулируется стоимостью товаров, произведенных при наихудших условиях производства, то это последнее определяет рыночную стоимость. Это возможно лишь в том случае, если спрос превышает обычный уровень или предложение падает ниже обычной величины» (Ibid.). Здесь Маркс рассматривает ненормальное положение рынка, т.-е. случай, когда спрос и предложение не равны. Далее, Маркс останавливается на том случае, когда товаров произведено больше того количества, которое находит сбыт по средним рыночным стоимостям: тогда рыночную стоимость определяют товары, произведенные при наилучших условиях. В отношении этого случая Маркс говорит: «Возможно, что товары этой последней категории продаются вполне или приблизительно по их индивидуальным стоимостям, при чем может случиться, что товары, произведенные при наихудших условиях, не реализируют даже своих издержек производства, в то время как товары в средних условиях производства могут реализовать лишь часть заключающейся в них прибавочной стоимости». (Там же). И в данном случае мы видим, что Маркс анализирует ненормальное положение рынка, когда предложение превышает спрос и рыночная стоимость находит свое выражение не в общественной средней цене, а в индивидуальной цене товаров, произведенных в предприятиях высшей производительности. Отсюда следует, что если Маркс в понятие рыночной стоимости и вкладывает понятие равновесия, то равновесия динамического, а не стационарного, т.-е., иначе говоря, устойчивого и неустойчивого равновесия. Под устойчивым равновесием мы понимаем такое равновесие, когда рыночная стоимость

[1]) «Под Знам. Маркс», № 7—8, стр. 159.

наиболее полно осуществляет закон трудовой стоимости. Стоимость и рыночная стоимость совпадают, если последнюю рассматривать при идеальном распределении общественного труда, при равенстве спроса и предложения. Тогда рыночная стоимость может быть представлена как средняя рыночная цена, вычисленная по средней арифметической. В основе закона трудовой стоимости и лежит этот идеальный центр пропорционального распределения труда, к которому тяготеют цены, через различные случаи установления рыночной стоимости. Вот почему у Маркса рыночная стоимость, с другой стороны, рассматривается и как просто средняя рыночная цена. Так при дальнейшем анализе рыночной стоимости Маркс предполагает нормальное положение рынка, т.-е. когда спрос и предложение равны. При таком предположении из трех основных групп данной сферы производства рыночную стоимость будет определять та группа предприятий, которая производит относительно крупную величину товаров. Здесь Маркс приводит известные три случая в установлении регулирующей рыночной стоимости и подходит к вопросу о средней рыночной цене. Так в первом случае, из трех основных групп производителей данной сферы производства, предполагается, что большинство товаров производится при средних общественно нормальных условиях производства, а две остальные группы уравновешиваются на рынке. Тогда рыночная стоимость будет регулироваться по типу средних условий производства. «Стоимость, — говорит Маркс, — (и здесь Маркс берет стоимость, исчисляя ее по средней арифметической, и тем самым представляет ее как среднюю цену) всей товарной массе равна действительной сумме стоимостей всех отдельных товаров, вместе взятых, как тех, которые произведены при средних условиях, так и тех, которые произведены при условиях лучших или худших, чем средние. В этом случае рыночная стоимость или общественная стоимость массы товаров, содержащееся в этих последних необходимое рабочее время определяется стоимостью преобладающей средней массы товаров». (Там же). При анализе второго случая, при тех же предположенных условиях рыночная стоимость будет определяться при наихудших условиях производства, так как относительно крупную массу товаров производит именно эта группа производителей, а не средняя и не высшая группа. В третьем случае получится тот же результат: если предприятия высшей производительности выбросят значительно большую массу товаров, по сравнению со средней и низшей группой, тогда рыночная стоимость будет регулироваться товарами, производимыми при наилучших условиях. И здесь Маркс подходит к определению средней рыночной цены, отождествляя ее с рыночной стоимостью. Останавливаясь на втором случае, рассмотренном нами выше, Маркс говорит: «Строго говоря, средняя цена или рыночная стоимость каждого отдельного товара или каждой соответственной части всей массы товаров определяется здесь всей стоимостью получаемой в результате сложения отдельных стоимостей товаров, произведенных при самых разнообразных условиях, и той частью этой суммы стоимостей, которая приходится на каждый отдельный товар. Хотя среднему слою; тем не менее она все же была бы ниже индивидуальной стоимости не только тех товаров, которые произведены при наиболее благоприятных условиях, но также и тех товаров, которые принадлежат среднему слою; тем не менее она все же была бы ниже индивидуальной стоимости товаров, произведенных при наименее благоприятных условиях. Насколько близко подходит она к этой последней и может ли, наконец, совершенно совпасть с нею, зависит всецело от размеров той части, которая в данной сфере производства приходится на долю товаров, произведенных при наихудших

условиях. Если при этом спрос преобладает, хотя бы незначительно, то рыночную стоимость регулирует индивидуальная стоимость товаров, произведенных при наименее благоприятных условиях» ((К., т. III, стр. 163). Здесь Маркс опять, при образовании рыночной стоимости, учитывает влияние спроса, т.-е., иначе говоря, допускается, что спрос и предложение не совсем покрываются. Кроме того, Маркс, устанавливая здесь среднюю рыночную цену по средней арифметической, называет эту цену и рыночной стоимостью. Какова же связь между средней рыночной ценой и рыночной стоимостью? Есть ли это одно и то же? В анализе третьего случая Маркс также устанавливает разницу между средней рыночной ценой и индивидуальной рыночной стоимостью товаров, произведенных при наилучших условиях, при которых производится значительно большая масса товаров. В этом третьем случае, отмечает Маркс, индивидуальная стоимость товаров, производимых при наилучших условиях, насильственно отвоевывает себе место на рынке, и эта рыночная стоимость может совпасть со средней ценой (которая рассматривается Марксом, как рыночная стоимость, вычисленная по средней арифметической) лишь в том случае, если предложение сильно преобладает над спросом (Ibid.). Таким образом, совершенно неверно распространенное мнение, что Маркс рассматривал рыночную стоимость в стационарном состоянии, только при равенстве спроса и предложения. В действительности, рыночная стоимость рассматривается Марксом под таким углом зрения: каким образом стоимость проявляется в своем постоянном движении, т.-е. через колебание рыночных цен, а не в статическом состоянии. Рыночная стоимость, это — попытка Маркса приложить закон трудовой стоимости к конкретному анализу рыночных цен. Поэтому она есть динамический центр, вокруг которого происходят колебания рыночных цен. «Техническая» же версия анализирует стоимость в статическом состоянии, и лишь цена рассматривается динамически, как отклонение от центра—равновесия — стоимости. Последняя же устанавливается при допущении равенства, спроса и предложения. Заканчивая анализ рыночной стоимости третьего случая, Маркс говорит: «Это изображенное здесь абстрактное установление рыночной стоимости на действительном рынке совершается через посредство конкуренции между покупателями, предполагая, что спрос как раз настолько велик, чтобы поглотить данную массу товаров по ее установленной таким образом стоимости. Мы подходим здесь к другой стороне вопроса» (Ibid.). Что же нужно было понимать под другой стороной вопроса? Очевидно, Маркс здесь имел в виду рассмотреть взаимозависимость общественной потребности и спроса развить более подробно различные случаи установления рыночной стоимости, но ограничился беглыми замечаниями. Дальше Маркс переходит к понятию—общественной потребности и ее роли в отклонении цен от рыночных стоимостей. «В этих различных определениях рыночной стоимости и в разобранных выше трех случаях,—говорит Маркс,—предполагалось, что масса произведенных товаров дана, т.-е. остается неизменной, но изменяется лишь отношение между составными частями этой массы, произведенными при различных условиях, поэтому рыночная стоимость одной и той же массы товаров регулируется различным способом. Допустим, что масса эта (речь идет о данной массе товаров из исследуемых Марксом трех случаев) составляет обычные размеры предложения, при чем мы оставляем в стороне ту возможность, что часть производимых товаров уходит с рынка. Если спрос на эту массу сохраняет также свои обычные размеры, то товар продается по его рыночной стоимости, каким бы из трех исследованных выше способов ни регулировалась рыночная стоимость. Товарная масса не

только удовлетворяет известную потребность, но удовлетворяет ее в общественных размерах» (К., т. III, стр. 164). И вот, учитывая именно эти различные состояния спроса, Маркс и приходит к выводу: «Происходящие отклонения рыночной цены от рыночной стоимости как раз и состоят в том, что при недостаточном количестве товары, производимые при наихудших условиях, регулируют рыночную стоимость. При переполнении товаров имеет место обратное—рыночную стоимость, регулируют товары, производимые при наилучших условиях» [1]). Таким образом, мы видим, что при анализе рыночной стоимости, у Маркса как бы получается очевидное противоречие между рыночной ценой, рыночной стоимостью, средней рыночной ценой и стоимостью. Тов. Мендельсон, говоря о динамическом характере рыночной стоимости, совершенно правильно говорит: «Десятая глава III тома «Капитала», посвященная в значительной своей части анализу рыночной стоимости и рыночной цене, является блестящим примером анализа процесса и в то же время доказательством того, как ограничен человеческий язык, как слова, прекрасно выполняющие свои функции, пока речь идет о запечатлении статических моментов, оказываются бессильными при изображении динамики явления. Одна категория заступает место другой—цена производства заступает место рыночной стоимости, цена и рыночная стоимость отождествляются—средняя цена или рыночная стоимость и т. д. И грани между всеми категориями как будто стираются совершенно. И на ряду с этим имеются точные указания на различный характер всех этих категорий» («Под Знамен. Маркс.» 1922 г., № 7—8, стр. 159). Мы полагаем, что стоимость в своем идеальном выражении находит место у Маркса в понятии средней рыночной цены, вычисленной по средней арифметической. Рыночная стоимость заключена между двумя крайними границами, между средней рыночной ценой (как математической средней ценой) и индивидуальной рыночной стоимостью [2]). Пределы колебаний между рыночными стоимостями, через колебание рыночных цен, из трех исследованных Марксом случаев, есть не что иное, как теоретически (абстрактно) установленное приближение к средним рыночным ценам, как к идеальному выражению закона трудовой стоимости. Поэтому прав тов. Мендельсон в определении диалектической природы рыночной стоимости, как стоимости, находящейся на пути превращения в цену». Я сказал бы—на пути превращения в среднюю цену. Поэтому у Маркса рыночная стоимость, конкретно не совпадая со средней рыночной ценой, продолжает быть центром равновесия в колебаниях рыночных цен и носит то более, то менее устойчивый характер. Фактически рыночная стоимость не совпадает в точности со средней рыночной ценой в силу того, что спрос и предложение никогда не покрывают друг друга. Итак, рыночная стоимость есть диалектически подвижной центр равновесия рыночных цен, наиболее близкое приближение к закону трудовой стоимости. Какую же роль играет общественная потребность в различных случаях установления рыночной стоимости? Мы уже видели, из вышеизложенного анализа рыночной стоимости, ту роль, какую Маркс отводил спросу в образовании рыночной стоимости, поскольку последняя рассматривалась не как статическая, а как динамическая величина. При анализе общественной потребности в категории рыночной стоимости. Маркс отводит ей роль предпосылки для стоимости, но отнюдь не роль второго фактора на ряду с трудом. Сторонники же «потребительной» версии, из факта воздействия общественной потребности на рыночную стоимость, приходили

---

[1]) Ibid.

[2]) Тех производителей, которые работают при средних условиях производства и занимают господствующее положение на рынке.

фактически к признанию общественной потребности вторым фактором в образовании стоимости. В том случае, когда спрос фиксируется как данная величина, то и рыночная стоимость фиксируется как статическая величина. Именно в этом случае Маркс говорит, что продажа товаров по рыночной стоимости происходит только тогда, когда количество произведенных товаров соответствует определенной общественной потребности (К., т. III, стр. 166).

Одним словом, Маркс рассматривает рыночную стоимость, как стоимость или как известное приближение к ней, при этом необходимой предпосылкой реализации стоимости всегда служит определенное соответствие с платежеспособной потребностью по отношению к данной массе товаров. Если же предположено такое соответствие количества товаров с данным числом покупателей, то спрос и предложение равны, и тогда стоимость реализуется и фиксируется, как статическая величина. Поскольку рыночная стоимость выражает характер устойчивого и неустойчивого равновесия, она может совпадать или со стоимостью, или с ценой, т.-е. она включает в себе моменты статические и динамические. Поэтому рыночная стоимость как динамическая величина может быть понята лишь в анализе конкретных рыночных цен. Общественная потребность или спрос есть величина эластичная и, в свою очередь, зависит от стоимости. Общественная потребность целиком зависит от всего цикла общественного производства. Когда эта зависимость между производством и потреблением выступает в акте рыночного обмена, тогда эта зависимость анализируется под рубрикой спроса и предложения. Маркс в достаточной степени показал порочный круг экономистов, не выходящих из рамок спроса и предложения. Нужно было найти действительную пружину, которая сама управляет явлениями спроса и предложения. Такой пружиной и является у Маркса стоимость, как специфическая форма выражения производительной силы общественного труда. Поэтому, если стоимость, под влиянием роста или падения производительной силы труда, падает или растет, то сама общественная потребность расширяется или падает в известных границах. Маркс только лишь мимоходом отметил связь общественной потребности с циклами общественного воспроизводства. «Общественная потребность, т.-е. то, что регулирует принцип спроса, — говорит Маркс,—существенно обусловливается отношением различных классов друг к другу и их взаимным экономическим положением, а, следовательно, во-первых, соотношением различных частей, на которые распадается прибавочная стоимость (прибыль, процент, земельная рента, налоги и т. д.)». (Там же). Здесь Маркс отмечает, насколько общественная потребность в капиталистическом обществе зависит от процесса накопления и распределения прибавочной стоимости между классами. Эта зависимость хорошо иллюстрирована Марксом во II томе «Капитала», в его известных схемах расширенного воспроизводства, под рубрикой анализа взаимодействия между производством и потреблением. Как известно, в своем известном «Введении» Маркс рассматривает потребление как другую сторону процесса производства. Поэтому производство и потребление у Маркса рассматриваются как единство и противоположность. Производство и потребление есть единство, если рассматривать этот процесс в замкнутом, изолированном хозяйстве. Но как только возникает общественное разделение труда, а с ним и обмен, тогда связь между хозяйствами (общинами) возникает через обмен. И по мере развития разделения труда и обмена производство и потребление разделяются, они становятся противоположностью. В капиталистическом хозяйстве производство от потребления отделено рынком. Связь между производителями и потребителями осуществляется через товарный обмен. В основе же общественной жизни лежит все тот же закон: «общественно-обусловленное производство индивидов» и пропорциональное распределение

общественного труда между ними. Здесь уже общественная потребность не устанавливается по заранее определенному плану, а выступает как результат сложных зависимостей процесса распределения производительных сил на основе капиталистического накопления. Из схем расширенного воспроизводства Маркса известно, что последнее характеризуется тем, что в нем I(v + m) более IIc. Поэтому, если мы берем нормальный цикл расширенного воспроизводства, то общественная потребность представляется как зависимость между I(v + m) и IIc. Для того, чтобы произошел обмен между I и II подразделениями в данной схеме расширенного воспроизводства, необходимо условие равенства I со II. Так как постоянный капитал II составляет 1.500 единиц, то норма накопления в I подразделении должна быть равна половине. Производство и потребление и здесь выступает, с одной стороны, как единство, а, с другой, как противоположность. Так для I — 4.000c + 1.000v + 1.000m = 6.000; для II — 1.500c + 750v + 750m =3.000. Внутри I подразделения производство 4.000c представляет в то же время и воспроизводство, т.-е. амортизацию этих 4.000c; оно есть производство и в то же время потребление. Потребление 4.000c выражается в процессе изнашивания основного капитала. Но это изнашивание происходит в процессе самого производства. Производство средств производства есть производительное потребление. Поэтому производство Ic можно рассматривать, как единство производства и потребления, поскольку 4.000c обращаются внутри I подразделения и не связаны с процессом распределения. Но в данных схемах между I и II существует неразрывная связь, так как производство немыслимо без соответствующего обмена между средствами производства и средствами потребления.

Второе подразделение должно дать 1.500 ед., т.-е. $v+\frac{1}{2}m$ в обмен на IIc (1.500 ед.). В таком схематическом виде предложение и общественная потребность или спрос, в чистом капитализме, будут равны [1]). Таким образом, в чистом капитализме, общественная потребность предполагает следующие исходные пункты: размер капитала, в частности, его постоянной и переменной части, размер предшествующего национального дохода, затем норму накопления и весь процесс распределения прибавочной стоимости между капиталистами. При учете же остатков простого товарного хозяйства и крестьянского рынка, общественная потребность представится величиной, еще с большим трудом поддающейся определению. Кроме того, нужно принять также во внимание зависимость общественной потребности от стоимости; отсюда следует, что общественная потребность должна всегда браться в данных границах цены. У Маркса потребление рассматривается не с точки зрения психологии обособленного индивида, а является процессом, неразрывно связанным с производством. В этом смысле «производство создает потребление, порождая определенный способ потребления, и, далее, создает самую способность потребления, как потребность, как побудительный мотив. Эта последняя идентичность многократно раз'ясняется в политэкономии в отношения спроса и предложения, предметов и потребностей, потребностей естественных и созданных обществом» («Введение», стр. 10). «Определенная форма производства обусловливает определенные формы потребления, распределения, обмена и определенные отношения этих различных моментов друг к другу. Конечно, и производство в его односторонней форме, с своей

[1]) Предложение со стороны II подразделения 1.500 ед. выражает в то же время спрос на 1.500 ед. и, наоборот, со стороны I подразделения предложение 1.500 ед. выражает спрос на 1.500 ед. II подразделения. Что, с одной стороны, выступает как предложение, то, с другой стороны, представляется как спрос, и наоборот. В этом смысле Маркс и отмечал, что «действительная трудность при общем определении понятий спроса и предложения заключается в том, что определения эти, по-видимому, сводятся к тавтологии» (Капитал, т. III, стр. 165).

стороны, определяется другими моментами, например, когда расширяется рынок, т.-е. сфера обмена, возрастают размеры производства и становится глубже его дифференциация. С изменением распределения изменяется производство, например, с концентрацией капитала, с различным распределением населения между городом и деревней и т. д. Наконец, запросы потребления определяют производство. Между различными моментами происходит взаимодействие. Это бывает во всяком органическом целом». (Там же, стр. 15).

Маркс не отрицает влияния спроса на рыночную стоимость, но ему важно показать, что спрос или общественная потребность в конечном счете зависит от развития производительной силы труда, которая находит свое выражение в стоимости. Отмечая эту зависимость общественной потребности от стоимости, Маркс говорит: «Пределы, в которых потребность, представленная на рынке, или спрос на товары количественно отклоняется от действительной общественной потребности, конечно, очень различны для различных товаров; я разумею разницу между количеством товаров, на которые фактически пред'явлен спрос, и тем количеством их, на которые был бы пред'явлен спрос при иных денежных ценах или жизненных условиях, покупателей» («Капитал», т. III, стр. 169). Установив, что определение цены спросом и предложением сводится к порочному кругу, Маркс ограничился беглым замечанием о спросе: «Нет ничего легче, — говорит Маркс, — как уяснить себе источник неравномерности спроса и предложения и вытекающие отсюда отклонения рыночных цен от стоимостей. Действительная трудность состоит в определении того, что следует понимать под выражением «предложение и спрос покрываются» (стр. 168). И далее, подходя к сущности стоимости, Маркс констатирует, что, «если предложение и спрос покрываются, они перестают об'яснять что бы то ни было, не воздействуют более на рыночную стоимость и оставляют нас в полном неведении относительно того, почему рыночная стоимость выражается именно в этой сумме денег, а не какой-либо иной. Действительные внутренние законы капиталистического производства, очевидно, не могут быть об'яснены из взаимодействия спроса и предложения (независимо даже от более глубокого анализа этих общественных движущих сил, который сюда не относится), так как законы эти оказываются осуществленными в чистом виде лишь тогда, когда спрос и предложение перестают действовать, т.-е. покрывают друг друга» («Кап.», т. III, стр. 169). Поэтому Маркс и не ставил себе задачу более детального анализа понятия спроса, так как только при абстрагировании от него можно было найти основной закон движения цен на рынке в производительной силе труда. Но рыночная стоимость выражает у Маркса, как мы видим, самый процесс установления цен на рынке в условиях конкуренции, т.-е. когда спрос и предложение не покрывают друг друга. Поэтому рыночная стоимость в динамике цен сама изменяется не только под непосредственным влиянием производительной силы труда, но и под непосредственным влиянием спроса, через колебание цен. «Спрос и предложение,—говорит Маркс,—предполагают превращение стоимости в рыночную стоимость», и далее, говоря о рыночной стоимости, Маркс отмечает следующее: «Здесь дело идет не о формальном превращении стоимости товаров в цену, т.-е. не о простой перемене формы; дело идет об определенных количественных отклонениях рыночных цен от рыночных стоимостей и, далее, от цен производства» (К., т. III, ч. 1,

[1]) Мендельсон утверждает, что Маркс различал понятие спрос и общественная потребность и в доказательство ссылается как раз на эту приводимую нами цитату из Маркса. Между тем, говоря о пределах колебания потребности от действительной общественной потребности. Маркс лишь хочет подчеркнуть зависимость общественной потребности или спроса от данного состояния денежных цен, т.-е. от стоимости. Маркс так и поясняет это место, когда говорит, что под этим я «разумею разницу» и т. д... (См. вышеприведенную цитату).

стр. 174). Мало того, мы видели, что у Маркса, при относительном перепроизводстве, происходит не только отклонение рыночных цен от рыночных стоимостей, но изменяется и сама рыночная стоимость, регулируясь в первом случае наилучшими условиями производства, а во втором — наихудшими условиями. В таких случаях рыночная стоимость устанавливается независимо от удельного веса тех или иных производителей на рынке, так, напр., в случае перепроизводства рыночная стоимость регулируется наилучшими условиями, несмотря на то, что эта группа производителей вырабатывает незначительную массу товаров. Тот же результат получается и в случае недопроизводства, когда рыночная стоимость регулируется наихудшими условиями. Это обстоятельство Маркс отмечает в словах: «Рыночную стоимость (в случае перепроизводства или недопроизводства) определяет одна из двух крайностей (т.-е. наилучшие или наихудшие условия производства), хотя, если судить только на основании отношения между массами, произведенными при различных условиях, должен был бы получиться иной результат» (К., т. III, стр. 164). Относительное же перепроизводство имеет место не только в случае увеличения или уменьшения масштаба воспроизводства, но может иметь место и при неизменном масштабе производства, когда спрос падает или повышается по иным каким-либо причинам. В том же месте Маркс говорит в этом смысле следующее: «Если разница между спросом и количеством продуктов, составляющих предложение значительнее, то и рыночная цена будет значительнее отклоняться вверх или вниз от рыночной стоимости. Разница между количеством произведенных товаров и тем количеством их, при котором они продаются по их рыночной стоимости, может иметь двоякую причину. Или изменяется это количество, становится слишком малым или слишком большим, т.-е. воспроизводство совершается в ином масштабе, чем тот, который регулировал данную рыночную стоимость; в этом случае изменяется предложение, хотя спрос остается неизменным и, следовательно, имеет место относительное перепроизводство или недопроизводство. Или воспроизводство, т.-е. предложение, остается неизменным, а спрос падает или поднимается, что может совершаться по различным причинам; хотя при этом абсолютная величина предложения осталась тою же самою, его относительная величина, его величина по сравнению с потребностью изменилась. Результат тот же самый, что и в первом случае, только направленный в противоположную сторону» (стр. 165). Но в таких случаях мы можем иметь (не всегда, конечно, это будет зависеть от того, насколько значительно несоответствие между массой товаров и общественной потребностью в ней) и изменение самой рыночной стоимости, независимо от удельного веса, какой будут иметь основные группы производителей во всей массе товаров на рынке. Но это изменение в установлении рыночной стоимости, по существу, носит мало устойчивый характер. Ибо в случаях перепроизводства происходит соответственное сокращение производства (группы производителей с большими издержками производства быстро погибают), как, и обратно, в случаях недопроизводства происходит расширение производства. И это происходит до тех пор, пока не установится устойчивый характер равновесия, когда рыночная стоимость будет приближаться к стоимости или совпадать с последней. В том случае, если рыночная стоимость носит неустойчивый характер, то она носит характер цены, ибо она уже не определяется общественно-необходимым трудом в прежнем смысле этого слова. Но поскольку такая рыночная цена является господствующей для всех товаров данного рода и качества, она все же выражает центр (хотя и мало устойчивый), вокруг которого тяготеют цены. Совпадают ли конкретные цены с

такой рыночной стоимостью или нет, но во всяком случае они имеют с последней одну и ту же качественную определенность, т.-е. выражают более или менее одинаковые цены на данного рода товары. Если стать на эту точку зрения в истолковании природы рыночной стоимости и признать, что она носит двойственный характер, включая в себя понятие и цены, и стоимости, то тогда отпадает вся искусственность в построении тов. Мендельсона различий в понятиях спроса и общественной потребности. Тов. Мендельсон считает, что различие в этих понятиях проведено у Маркса для обоснования стоимости, отличной от категории цены. Ибо общественная потребность, по его мнению, входит в категорию стоимости точно так же, как потребительная стоимость есть предпосылка для стоимости меновой. «Тот факт,—говорит тов. Мендельсон,—что общественная потребность находится в функциональной зависимости от стоимости, еще не исключает обратного влияния общественной потребности на стоимость в качестве количественной границы. Спрос же относится к категории цены («Под Знам. Маркс.» 1922 г., № 7—8, стр. 164). С этим положением Мендельсона нельзя согласиться, ибо он отрывает понятие стоимости от цены, как будто последняя совершенно не имеет отношения к стоимости. Когда Маркс делает предположение, что спрос и предложение покрывают друг друга, то он говорит при этом об общественной потребности и, притом, о «количественно определенной общественной потребности». В это смысле тов. Мендельсон прав, говоря об общественной потребности как о предпосылке для реализации стоимости. Говорить же о различных понятиях спроса и общественной потребности, проводимых будто бы Марксом, нет никакого основания. По существу, спрос и общественная потребность есть одно и то же понятие, но обозначаемое лишь различными терминами, т.-е. выражает число покупателей на данном рынке. Маркс так и говорит, что «спрос равен сумме покупателей или потребителей (индивидуальных или производительных) определенного вида товаров» (К., т. III, стр. 169). Спрос же зависит от трех основных причин, как правильно отмечает И. Рубин: 1) от изменения стоимости данного товара; 2) либо от изменения покупательной способности разных групп населения и 3) либо от изменения интенсивности или настоятельности в данном товаре. Эта третья причина может зависеть от естественных, культурных и моральных факторов, т.-е. причин, непосредственно не зависящих от процесса производства. Так, например, смена времен года обуславливает увеличение или уменьшение потребности в одежде. Или изменение в моде ботинок, шляп и т. д. соответственно вызывает изменение спроса. Но отсюда отнюдь не следует, что спрос не связан с определенной формой производства. Ибо «производство создает не только предметы вообще, оно создает конкретные определенные предметы. Отсюда связь формы характера потребления с вновь созданным предметом. Определенность, конкретность предмета диктует форму, способ потребления» (Маркс, «Введение», стр. 9). Что касается общего методологического вопроса, а именно вопроса о взаимоотношении производства и потребления, то Маркс достаточно показал, что примат здесь принадлежит производству. Здесь важно лишь подчеркнуть непосредственную зависимость спроса, или общественной потребности, от стоимости. В этом отношении И. Рубин дает поэтому только более точную формулировку понятия общественной потребности или спроса. «Произведение стоимости единицы продукта, определяемой техническими условиями производства, на число единиц, находящее себе сбыт при данной стоимости, и выражает платежеспособную общественную потребность в данном продукте» («Очерки», стр. 143). Следовательно, не имеет никакого значения отличать спрос от общественной потребности, как это делает тов. Мендельсон. Вопрос заключается лишь в том, влияет эти

спрос на изменение в самой стоимости товаров или нет? Сторонники «технической» версии, отвечая на этот вопрос в отрицательном смысле, признавали косвенное влияние спроса на стоимость, выражающейся в изменениях размеров производства. Сторонники же «экономической» версии признавали непосредственное влияние спроса на стоимость (при чем тов. Мендельсон только заменил спрос общественной потребностью, оставив спрос для категории цены). Как те, так и другие одинаково неправы, ибо в сущности нужно было говорить о рыночной стоимости, отличной от самой стоимости и устанавливаемой теоретически как средняя рыночная цена. Стоимость (под которой Маркс понимает в одном смысле и рыночную стоимость) устанавливается Марксом при абстрагировании от спроса и предложения (статическая точка зрения). Точно так же Маркс поступал при анализе меновой стоимости, абстрагируясь от потребительной стоимости. Для иллюстрации этого положения, т.-е. неправильного анализа рыночной стоимости, и у тех и у других сторонников различного понимания общественно-необходимого труда, мы остановимся на конкретных примерах И. Рубина, как автора одной из лучших работ по теории стоимости Маркса. И. Рубин, оперируя с примером суконного производства (вопреки им же самим установленному анализу рыночной стоимости), дает совершенно неправильный анализ рыночной стоимости, рассматривая ее только как стоимость, вычисленную по средней арифметической. Давая схему № 1, И. Рубин устанавливает размер колебаний производства от 30.000 арш. до 450.000 арш. сукна в границах колебаний цены от 1 до 7 руб. «Из самого спроса,—говорит И. Рубин,—мы не можем усмотреть, имеет ли больше шансов на реальное существование размер спроса в 30.000 арш. по цене 7 руб., или в 450.000 арш. по 1 р., или же какая-нибудь комбинация, лежащая между этими двумя крайностями. Реальный размер спроса определяется развитием производительности труда, которое находит свое выражение в стоимости 1 арш. сукна» (Рубин, ibid., стр. 136). Все это совершенно верно. Но вот И. Рубин обращается к условиям производства сукна и делает предположение, что все суконные фабрики работают при одинаковых технических условиях и что в среднем на один аршин сукна нужно затратить 2¾ часа труда (включая затраты сырья, машины и пр.). Допуская дальше, что час труда создает стоимость в 1 руб., мы получаем стоимость 1 арш сукна в 2 руб. 75 коп. Так как в капиталистическом хозяйстве средняя цена сукна равна не трудовой стоимости, а цене производства, то здесь мы получаем трудовую стоимость, равную 2 р. 75 к. Установив, таким образом, теоретически стоимость в виде средней цены, И. Рубин доказывает, что из бесчисленного количества возможных комбинаций размеров спроса с ценою только одна комбинация имеет шансы на длительное существование, т.-е. комбинация 2 р. 75 к., соответствующая размерам производства в 240.000 аршин сукна. Такую среднюю цену (И. Рубин предполагает, что в суконной промышленности условия производства везде средние, т.-е. фактически взята вся совокупность затраченного труда в данной отрасли и разделена на количество производимых продуктов) И. Рубин и называет рыночною стоимостью. «Рыночная стоимость 2 р. 75 к.,—заключает И. Рубин,—может быть названа» ценою равновесия, а размер производства—«количеством равновесия», представляющий одновременно и нормальный спрос, и нормальное предложение» («Очерки», стр. 137). На самом деле, рыночная стоимость у Маркса носит также характер и неустойчивого равновесия, когда спрос и предложение не равны. И. Рубин в данном случае имеет в виду именно стоимость или только одну сторону рыночной стоимости, которая у Маркса разбирается при допущении совпадения спроса и предложения. При анализе рыночной стоимости, как это известно и И. Рубину, Маркс всегда имеет в виду три основных группы предприятий или три класса производителей внутри данной сферы производства, соответствующие условиям производства

при низшей, средней или высшей производительности труда. При равенстве спроса и предложения, как закон, рыночную стоимость устанавливает та группа производителей, которая производит относительно наибольшую массу товаров. Но так как спрос и предложение в действительности никогда не покрывают друг друга, то рыночная стоимость будет регулироваться очень различно, в зависимости от различной пропорции тех долей в данной массе товаров, которые приходятся на предприятия низшей, средней и высшей производительности, а также и от данного состояния спроса.

Рыночная стоимость как регулирующая цена производства и общественно-необходимый труд.

Мы установили, что сторонники «технической» и «экономической» версии не различали стоимость от рыночной стоимости, за исключением лишь тов. Мендельсона, который отмечал различие рыночной стоимости от стоимости; «экономическая» же версия даже смешивала стоимость с ценою. Отсюда у «экономической» версии происходило полное отождествление теоретического положения Маркса об определении величины стоимости по средней арифметической, с формой проявления этого закона, через категорию рыночной стоимости и цены. В данной главе мы рассмотрим более подробно форму проявления трудовой стоимости в капиталистическом хозяйстве. В капиталистическом хозяйстве стоимость, как регулятор цен, уже выступает в виде модифицированной стоимости, а именно цены производства. Следовательно, если в простом товарном хозяйстве стоимость проходит схему: стоимость — рыночная стоимость (или регулирующая цена) — рыночная цен, то в капиталистическом хозяйстве получается более сложная схема проявления закона трудовой стоимости. В капиталистическом обществе роль рыночной стоимости играет регулирующая цена производства, а роль стоимости играет цена производства. Следовательно, для капиталистического хозяйства получается следующая схема процесса ценообразования: стоимость — цена производства — регулирующая цена производства — рыночная цена.

Величина стоимости, раскрытая Марксом в его понятии общественно-необходимого труда, установлена им чисто-теоретически. Рыночная стоимость отмечает собой попытку Маркса найти подвижной центр регулирования цен, согласно установленному им теоретическому понятию общественно-необходимого труда. Теоретическое же понимание общественно-необходимого труда у Маркса говорит о средних условиях производства, среднем уровне, умелости и интенсивности труда. Стоимость товаров должна тяготеть к затрате труда при средних условиях производства, как наиболее часто встречающемуся случаю. При чем в обрабатывающей промышленности при наличии свободного передвижения капитала и при отсутствии монополии этот закон имеет господствующее значение, т.-е. устанавливается тенденция к средним условиям производства. В земледелии и добывающей промышленности, где мы имеем дело с моментом монополии, там имеет место закон Рикардо, т.-е. рыночная стоимость имеет тенденцию устанавливаться, равняясь на наихудшие условия производства. Но совпадают ли рыночные цены (не говоря о капиталистическом хозяйстве, где мы имеем дело с ценой производства), хотя бы и в простом товарном хозяйстве, с трудовыми стоимостями? Конечно, нет. Каким же образом устнавливается центр колебания рыночных цен при постоянном несовпадении спроса и предложения? На этот вопрос Маркс всегда отвечает анализом рыночной стоимости. При анализе стоимости Маркс всегда говорит о средних условиях производства; при анализе же рыночной стоимости Маркс всегда имеет в виду особые условия производства, т.-е. труд средней, низшей и высшей производительности. Так, например, критикуя теорию дифференциальной ренты Рикардо (где последний говорит об определении меновой ценности товаров наихудшими условиями производства), Маркс говорит следующее: «Вышеприведенное положение (Маркс говорит о точке зрения Рикардо) может быть в общей форме выражено так: ценность товара, который составляет продукт особой сферы производства, определяется трудом, который требуется для того, чтобы произвести всю массу, общую сумму соответствующих этой сфере производства товаров; но не особым рабочим временем, который требуется для каждого отдельного капиталиста или предпринимателя внутри этой сферы производства». И далее, Маркс, предполагая средние условия производства, говорит: «Всеобщие условия производства и всеобщая производительность труда в этой особой сфере производства, напр., в хлопчато-бумажной промышленности, являются средними условиями производства и средней производительностью в этой сфере хлопчато-бумажной промышленности. Количество труда, которым, следовательно, определяются, напр., локоть ситца, есть не то количество труда, которое в нем заключается, которое употребил на него фабрикант, но среднее количество, при помощи которого производят локоть ситца все хлопчато-бумажные фабриканты на рынке («Теории» и т. д., т. II, ч. 1, стр. 43). Такую общую формулировку закона стоимости у Маркса мы находим во многих местах и в III томе «Капитала». Здесь определение стоимости устанавливается именно по математической средней, и здесь стоимость рассматривается теоретически, как средняя рыночная цена, т.-е. она определяется делением всего совокупного рабочего времени, затраченного в данной сфере производства на количество изготовленных продуктов. Это теоретическое положение Маркса о стоимости переносилось непосредственно на установление центра колебания рыночных цен, и таким образом стоимость и рыночная стоимость отождествлялись. Такую ошибку и делали как сторонники «экономической» версии (особенно), так и «технической». Первые делали такую ошибку потому, что стоимость определяли не производительностью труда, а совокупным рабочим временем, затраченным в данной сфере производства. Вторые потому, что рыночную стоимость рассматривали только при равенстве спроса и предложения, т.-е. только при состоянии равновесия. В этом же месте, продолжая дальнейший анализ стоимости, Маркс показывает, что рыночная стоимость фактически не совпадает с этой, выше установленной теоретически стоимостью. Переходя к рыночной стоимости, Маркс учитывает различные условия производства, при которых производят отдельные капиталисты в хлопчато-бумажной промышленности, и констатирует, что эти условия неизбежно распадаются на три класса: «Одни производят, — говорит Маркс,—при средних условиях, т.-е. индивидуальные условия производства, при которых они работают, совпадают с всеобщими условиями производства данной сферы. Среднее отношение есть их действительное отношение. Производительность их труда средней высоты. Индивидуальная ценность их товаров совпадает со всеобщей ценностью этих товаров. Если, напр., они продают локоть ситца по 2 шилл. средней ценности, они продают его по ценности, которую представляют in natura произведенные локти ситца. Другой класс производит при лучших условиях, чем средние. Индивидуальная ценность их товаров стоит ниже их всеобщей ценности. Наконец, третий класс производит ниже средних условий производства». И дальше Маркс, упрекая Рикардо в том, что он изолирует понятие «общественная потребность» или «количество нужных продуктов» от цены, продолжает: «количество нужных продуктов» для этой особой сферы производства не представляет никакой постоянной величины. Если ценность товаров переходит известные границы средней ценности, то количество нужных продук-

тов падает или требуется только по данной цене—или, по крайней мере, внутри определенных границ цены. Следовательно, возможно также, что последний класс бывает вынужден продать свои товары ниже индивидуальной ценности, тогда как лучше всего поставленный класс всегда продает свои товары выше их индивидуальной ценности. Будет зависеть (окончательный результат установления рыночной стоимости) именно от численного отношения или пропорционального отношения величины классов, какой класс окончательно устанавливает среднюю ценность. Если средний класс численно значительно преобладает, он будет устанавливать среднюю ценность. Если этот класс численно слаб, а класс, работающий при условиях ниже средних, численно силен и преобладает, то он определяет всеобщую ценность продукта этой сферы, хотя этим еще отнюдь не сказано и даже весьма невероятно, что решает дело отдельный капиталист последнего класса, в свою очередь, поставленный здесь в наиболее неблагоприятные условия». (Там же, стр. 43). Как видим, Маркс здесь доказывает, что рыночная стоимость может устанавливаться и быть регулятором цен при условиях производства не только средних, но и наихудших, и наилучших. Совпадает ли эта рыночная стоимость с той теоретической средней стоимостью, которую Маркс рассматривал, как частное от деления всего совокупного рабочего времени, в данной сфере производства, на число произведенных продуктов? Ясно, что не совпадает. Еще яснее о характере рыночной стоимости говорит Маркс далее, продолжая свой анализ: «Общий результат таков: всеобщая ценность, какую имеют продукты этого класса (речь идет, очевидно, о III классе), одна и та же для всех, как бы она ни относилась к индивидуальной ценности каждого отдельного товара. Эта общественная ценность есть рыночная ценность этих товаров, ценность, при которой они выступают на рынке. Эта рыночная ценность, выраженная в деньгах, есть рыночная цена, как ценность, выраженная в деньгах, есть цена вообще. Действительная рыночная цена стоит то выше, то ниже этой рыночной ценности и совпадает с ней только случайно. Но в течение известного периода колебания уравниваются, и можно сказать, что среднее действительных рыночных цен есть рыночная цена, которая выражает рыночную ценность. Совпадает ли действительная рыночная цена по величине количественно, в данный момент с этой рыночной ценностью или нет, во всяком случае, она имеет общую с последней качественную определенность, именно, что все находящиеся на рынке товары одной и той же сферы производства (конечно, при предположении одинакового качества), имеют одну и ту же цену или фактически представляют всеобщую ценность товаров этой сферы» (Там же). Это достаточно ясная формулировка природы рыночной стоимости, которая по своему общему характеру совпадает с понятием рыночной цены, но количественно может и не совпадать с нею[1]). Если третий класс (наихудшие условия производства) устанавливает рыночную стоимость, то первый класс получает сверхприбыль. Отсюда следует, что «конкуренция устанавливает рыночную стоимость или цену не при помощи уравнения прибылей внутри особой сферы производства». «То обстоятельство,—говорит Маркс,—что рыночная стоимость образуется на основе различных норм прибылей в данной сфере производства, делает совершенно ненужным проводить резкой разницы между ценой и рыночной стоимостью. Ибо различие в условиях производства и соответственно с этим различные нормы прибыли продолжают существовать для отдельных капиталистов одной и той же сферы, каково бы ни было отношение рыночной цены к рыночной стоимости. Наоборот, конкуренция приравнивает здесь различные индивидуальные ценности к одной и той же, одинаковой, лишенной различий рыночной стоимости тем, что оставляет разницу внутри индивидуальных прибылей» (Там же). В этом смысле рыночная стоимость в корне отлична от цены производства, ибо последняя как раз предполагает противоположные условия, т.-е. одинаковую норму прибыли для всех сфер производства. Маркс останавливает свое внимание на фиксировании этого положения в связи с теорией ренты Рикардо. «Рикардо» для своей теории ренты нуждается в двух противоположных положениях»,—отмечает Маркс. Первое положение: «рыночная стоимость устанавливается на основе различных норм прибылей внутри данной сферы производства, вызывая отклонение от всеобщей нормы прибыли». Второе положение: цена производства устанавливается на основе всеобщей нормы прибыли, т.-е. конкуренция здесь должна приводить к обратному результату—создавать одинаковую норму прибыли. Поэтому рыночная стоимость в капиталистическом хозяйстве предполагает цену производства. Но в целях теоретического анализа рыночную стоимость следует рассматривать отдельно от цены производства, что Маркс и делал в своем неполном анализе рыночной стоимости. Рыночная стоимость есть конкретное проявление закона трудовой стоимости, как подвижного регулятора рыночных цен, но она не тождественна с теоретически установленным понятием самой стоимости[1]). Как закон падения тел предполагает отсутствие воздушной атмосферы, так стоимость реализуется в своем чистом виде при равенстве спроса и предложения. Рыночная же стоимость учитывает и самый процесс конкуренции, т.-е. неравенство спроса и предложения. В анализе рыночной стоимости Маркс не только показал, как общественная потребность или спрос зависят от самой рыночной стоимости, но и то, как спрос влияет на изменение регулирования самой рыночной стоимости через колебания рыночных цен. Не законченный Марксом анализ рыночной стоимости и вопроса о взаимодействии спроса или общественной потребности на рыночную стоимость и создал неясность в вопросе об общественно-необходимом труде, вызвал представление о двух противоположных смыслах его истолкования Марксом. Действительно, при анализе общественной потребности в связи с законом стоимости, Маркс дает и другое определение общественно-необходимого труда, в смысле пропорционального распределения общественного рабочего времени между различными сферами производства в соответствии с общественной потребностью. Когда Маркс говорит о пропорциональном распределении труда между различными сферами производства, то он подчеркивает, что закон стоимости в этом именно и проявляет себя. А форма проявления закона стоимости есть цена. Если мы возьмем среднюю цену, то получаем в качестве исходного пункта уже пропорционально распределенный труд как внутри данной сферы производства, так и между различными сферами производства. В связи с этим мы и находим у Маркса

[1]) О качественном единстве стоимости и цены Маркс говорит, напр., следующее: «Ведь цена—это стоимость товара (это одинаково относится и к рыночной цене, отличие которой от стоимости не качественное, а лишь количественное, касающееся лишь величины стоимости) в отличие от его потребительной стоимости. Цена, которая качественно отличается от стоимости—это абсурдное противоречие» («Капитал», т. III, ч. 1, стр. 339—340).

[1]) В главе о рыночной стоимости Маркс прямо говорит: «Необходимо, кроме того, всегда отличать рыночную стоимость, о которой мы поговорим позднее, от индивидуальной стоимости отдельных товаров, произведенных различными производителями» («Капитал», т. III, ч. 1, стр. 156).

определенное указание на другой смысл общественно-необходимого труда. Приводим это место из Маркса целиком, тем более, что им здесь ясно показано, какую роль он отводил общественной потребности в категории стоимости. «Закон стоимости проявляется не по отношению к отдельным товарам или предметам, но каждый раз по отношению ко всей совокупности предметов отдельных обособившихся благодаря разделению труда сфер производства; следовательно, не только в том, что на каждый отдельный товар употреблено лишь необходимое рабочее время, но и в том, что из всего общественного рабочего времени на различные группы употреблено лишь необходимое пропорциональное количество. Потому что условием остается, чтобы товар представлял потребительную стоимость. Но если потребительная стоимость отдельного товара зависит от того, удовлетворяет ли он сам по себе какую потребность, то потребительная стоимость известной массы общественных продуктов зависит от того, адэкватна ли она количественно определенной общественной потребности в продукте каждого особого рода и, следовательно, от того, пропорционально ли, в соответствии ли с этой общественной, количественно определенной, потребностью распределен труд между различными сферами производства. Общественная потребность, т.-е. потребительная стоимость в общественном масштабе, — вот что определяет здесь количество всего общественного рабочего времени, приходящаяся на различные особы и сферы производства. Но это все тот же закон, который обнаруживается уже по отношению к отдельному товару, а именно тот закон, согласно которому потребительная стоимость товара есть предпосылка его меновой стоимости, а потому и его стоимости. Этот пункт имеет лишь то касательство к отношению между необходимым и прибавочным трудом, что при нарушении этой пропорции не может быть реализована стоимость товара, а потому и заключающаяся в ней прибавочная стоимость. Эта количественная граница тех количеств общественного рабочего времени, которые можно целесообразно затратить на различные особые сферы производства, есть лишь более развитое выражение закона стоимости вообще: хотя необходимое рабочее время приобретает здесь иной смысл («Капитал», т. III, ч. 2, стр. 176—177). В этом отношении совершенно правильно поставила вопрос Т. Григоровичи о двух различных понятиях общественно-необходимого труда у Маркса. «Общественно-необходимый труд в техническом смысле фактор, определяющий ценность, но общественно-необходимый труд в смысле пропорционального, соответствующего количественной общественной потребности распределения всего рабочего времени общества между различными отраслями производства, не имеет никакого влияния на величину ценности товаров. Связь между законом ценности и общественно-необходимым трудом в этом смысле только в том, что от последнего зависит предпосылка ценности массы товаров—наличность потребительной ценности, а, следовательно, реализация ценности» [1]). Этот второй смысл понимания у Маркса общественно-необходимого труда, в смысле его пропорционального распределения, в соответствии с общественной потребностью, есть не что иное, как идеальная форма проявления закона стоимости. Формой же проявления закона стоимости и являются именно категории рыночной стоимости и цены. Если стоимость рассматривать как среднюю арифметическую, то она представится в виде средней рыночной цены. Такая средняя цена соответствовала бы пропорциональному распределению общественного труда, в этом

[1]) Т. Григоровичи, Теор. ценности Маркса и Лассаля, стр. 46.

втором смысле понимания общественно-необходимого труда у Маркса [1]). Но такая стоимость имеет лишь теоретический характер, рыночная же стоимость есть известное приближение к закону стоимости как основной тенденции этого закона. Т. Григоровичи также не отличает рыночную стоимость от стоимости, и потому она не может об'яснить того противоречия у Маркса, когда последний говорит об изменениях в самой рыночной стоимости под влиянием спроса. Так, останавливаясь на известном анализе рыночной стоимости у Маркса при несовпадении спроса и предложения, Т. Григоровичи, пытаясь обойти это противоречие, заключает следующее: «Следовательно, отношение между спросом и предложением, или, что то же, момент потребности, не изменяет рыночной стоимости, а лишь вызывает отклонение рыночных цен от рыночных ценностей товаров; правда, как в первом, так и во втором случае создается впечатление, что вследствие изменения отношения между спросом и предложением меняется сама рыночная стоимость, т.-е. кажется, что она регулируется товаром, произведенным в первом случае при худших, во втором при лучших условиях» (Там же, стр. 40). И далее следует утверждение Т. Григоровичи, опирающееся на соответствующие цитаты из Маркса, что «никакой необходимой связи между рыночной стоимостью товаров и общественной потребностью в них не существует и т. д.». Здесь сразу чувствуется вся натяжка такого об'яснения: Т. Григоровичи совершенно опускает те места Маркса, где говорится о различных случаях установления рыночной стоимости при несовпадении спроса и предложения [2]). Между тем, мы видели что при анализе рыночной стоимости Маркс определенно говорит об изменениях, под влиянием спроса, в самой рыночной стоимости. Как об'яснить столь очевидное противоречие? Это станет совершенно ясным, если мы рыночную стоимость будем понимать диалектически, как динамическую величину. Рассматривая рыночную стоимость в динамике цен, мы получаем моменты, когда она совпадает со стоимостью в форме средней рыночной цены, а когда просто с рыночной ценой. Как мы видели, И. Рубин, при рассмотрении стоимости, также всегда предполагает средние условия производства, не анализируя индивидуальных различий в производительности труда, на основе которой устанавливается рыночная стоимость. Итак, закон трудовой стоимости проходит следующую схему: стоимость (определяемая производительностью труда господствующей группы производителей на рынке [3]),—рыночная стоимость—цена производства—цена. В капиталистическом обществе механизм распределения производительных сил действует через отклонения цен от стоимости, а последняя не есть заранее фиксированная величина, а получает свое выражение через рыночную стоимость, как регулирующего центра рыночных цен. Если спрос, как мы видели, влияет на различные случаи в регулировании рыночной стоимости, то не противоречит ли это Марксовой теории трудовой стоимости? Во-первых, изменение рыночной стоимости в случаях ее регулирования при средних, низших или наилучших условиях производства происходит через колебание цен. Во-вто-

[1]) Но в таких случаях, когда цена совпадает со стоимостью, мы имеем исходный пункт пропорционального распределения общественного труда, т.-е. спрос и предложение равны. Тогда общественно-необходимый труд получит свое единство в техническом и экономическом смысле.

[2]) Капитал, т. III, стр. 164.

[3]) В этом смысле стоимость совпадает с рыночной стоимостью, поскольку последняя приближается к стоимости, как к средней цене, исчисленной по средней арифметической.

рых, сама рыночная стоимость определяется количеством общественно-необходимого труда [1]). Колебание же цен есть проявление закона стоимости, ибо отклонение цен от стоимости, как центра устойчивого равновесия, есть процесс, выражающий несоответствие между произведенной массой товаров и общественной потребностью в них. В этом смысле Энгельс упрекал Родбертуса, говоря, что он не понимал стоимости, как регулятора производства, и забывал общественную потребность, которая проявляет себя через категорию цены. «Лишь благодаря обесценению или вздорожанию продуктов,—говорит Энгельс,—отдельные товаропроизводители начинают понимать, что именно и в каком количестве нужно или не нужно производить обществу» («Нищета философии», предисл., стр. 17). Тов. Мендельсон, ссылаясь на Энгельса, утверждал как раз обратное, а именно, будто бы Энгельс упрекал Родбертуса в игнорировании общественной потребности, которая входит в категорию стоимости. Тогда как в случаях нарушения соответствия между количественной массой товаров и общественной потребностью в них мы всегда имеем дело с ценой или рыночной стоимостью во втором смысле, т.-е. со случаями неустойчивого равновесия [2]). Но такая рыночная стоимость носит характер регулирующей цены, не совпадающей со стоимостью, и потому уже не выражает общественно-необходимого труда в прежнем смысле этого слова. Если рыночная стоимость, например, через колебания цен, передвинулась к новому центру, — допустим, к условиям производства при наилучших условиях,—то последние и будут регулировать рыночные цены. Но сама рыночная стоимость при устойчивом состоянии равновесия определяется общественным рабочим временем в техническом смысле, т.-е. действительным количеством затраченного общественно-необходимого труда. Поэтому, независимо от того, при каких условиях определяется рыночная стоимость, она всегда зависит от количества затраченного труда в данной группе предприятий, которые занимают господствующее положение на рынке [3]). При нарушении пропорции, между количеством произведенных товаров и общественной потребностью в них, происходит не только отклонение цен от данной регулирующей рыночной стоимости, но изменяется и сама рыночная стоимость, ибо она уже регулируется при иных условиях производства. Следовательно, при неизменной технике производства в целом, рыночная стоимость может изменяться именно потому, что при данной технике условия производства внутри данной сферы производства продолжают оставаться очень различными. Рыночная стоимость не есть статическая величина, а устанавливается и регулируется при данной технике различным образом, она может регулироваться или средними, или худшими, или же наилучшими условиями производ-

[1]) Когда рыночная стоимость вполне или приблизительно совпадает со стоимостью.

[2]) Во всех случаях перепроизводства или недопроизводства.

[3]) Мы видели, что при неустойчивом состоянии рыночного равновесия изменяется не стоимость, а изменяется рыночная стоимость, как регулирующая цена, так как регулирующая цена устанавливается при учете влияния спроса. В условиях капитализма регулирующей ценой является регулирующая цена производства. Следовательно, при перепроизводстве имеет место изменение регулирующей цены, т.-е. рыночной стоимости, так как регулирующую цену устанавливают производители, работающие при наилучших условиях производства, хотя удельный вес этой группы производителей и не является господствующим на рынке. Обратное имеет место в случаях недопроизводства. Конечно, данный закон регулирования рыночной стоимости проявляет себя только при условии значительного нарушения соотношения между спросом и предложением. Установление такой регулирующей цены происходит через колебание цен, которое приводит к отклонению рыночной цены от общественной стоимости; регулирующая цена будет уже определяться не общественно-необходимым трудом, но регулирующей ценой вы-

ства. Итак, спрос, вызывая колебания цен вверх и вниз, перемещает самый центр регулирования цен, рыночную стоимость. Следовательно, спор между «технической» и «экономической» версией разрешается в том смысле, что спрос влияет не на стоимость (ибо стоимость рассматривается при абстрагировании от спроса и предложения, как статическая величина, и это есть рыночная стоимость у Маркса в первом смысле, т.-е. имеющая характер средней рыночной цены), а на рыночную стоимость. Рыночная стоимость не есть фиксированная величина, а заключена в границах колебания, между худшими и лучшими условиями производства. Поэтому процесс колебания рыночных цен может быть в то же время и процессом установления самой рыночной стоимости. Колебания цен могут совершаться под непосредственным влиянием роста производительной силы труда, вызывая тем самым и изменение в состоянии спроса. Спрос же в свою очередь воздействует на установление рыночной стоимости при различных условиях производства. Итак, стоимость в чистом виде проявляется лишь при абстрагировании от спроса и предложения. Рыночная стоимость, учитывая спрос и предложение, дает лучше понять закон трудовой стоимости Маркса. Когда рыночная стоимость рассматривается Марксом при допущении равенства спроса и предложения, тогда она совпадает со стоимостью. Рыночная стоимость при ненормальном положении рынка дает возможность лучше понять закон трудовой стоимости, как основную тенденцию к установлению средних цен. Ибо основная тенденция закона трудовой стоимости заключается в том, что рыночная стоимость приближается к стоимости, имея центром тяготения среднюю цену, как среднюю арифметическую. Индивидуальная же стоимость тех производителей, которые занимают господствующее положение на рынке и производят при средних условиях техники, есть лишь приближение к стоимости как к средней цене. В этом смысле Маркс и давал следующее определение рыночной стоимости: «Рыночная стоимость должна рассматриваться, с одной стороны, как средняя стоимость товаров, произведенных в данной отрасли производства, с другой стороны, как индивидуальная стоимость товаров, которые производятся при средних условиях данной отрасли и которые составляют значительную массу продуктов последней» (К., т. III, стр. 157). Таким образом, рыночная стоимость устанавливается в границах между этими двумя крайностями и все же носит характер средней цены, вполне или приблизительно совпадающей с той или другой крайностью (см. там же). Рыночная стоимость у Маркса есть закон тенденции трудовой стоимости, наподобие всех других законов капиталистического общества. Такое же теоретическое значение имеет у Маркса и закон тенденции нормы прибыли к понижению, а также закон цен производства, закон заработной платы

ступает индивидуальная стоимость той группы производителей, которая работает при наилучших условиях производства. Обратное будет происходить в случаях недопроизводства, т.-е. тогда, когда регулирующая цена будет устанавливаться индивидуальной стоимостью производителей, работающих при наихудших условиях производства. Таким образом при учете спроса в условиях нарушенного рыночного равновесия или в случае неустойчивого состояния равновесия, изменяется не стоимость, а регулирующая цена. Изменение же регулирующей цены происходит через процесс колебания рыночных цен, который и совершается до тех пор, пока не установится состояние устойчивого равновесия на рынке, т.-е. когда цена будет наиболее близка к стоимости, а в условиях капитализма к цене производства. В капиталистическом хозяйстве рыночная стоимость носит характер регулирующей цены производства и потому значение категории точно такое же, как и значение рыночной стоимости для простого товарного хозяйства.

и т. д. «В капиталистическом обществе закон экономических явлений действует наподобие закона тяготения, когда дом рушится на чью-нибудь голову», т.-е. как тенденция, как центр колебания и постоянных отклонений». Тем самым становится об'яснимым и понятным, почему у Маркса общественно-необходимый труд при анализе рыночной стоимости, приобретал иной смысл. Этот иной смысл общественно-необходимого труда заключался у Маркса лишь в подчеркивании того момента, что затраченный труд должен быть пропорционально распределен в соответствии с общественной потребностью. Рыночная стоимость выражает у Маркса иллюстрацию закона трудовой стоимости, т.-е. она показывает, каким образом стоимость, как регулятор производства, проявляет себя внутри данной сферы производства поэтому она носит в себе двойственный характер. С одной стороны, рыночная стоимость определяется производительностью труда тех производителей, которые занимают господствующее положение на рынке. При чем при перепроизводстве и недопроизводстве имеет место регулирование рыночной стоимости при наилучших и наихудших условиях производства, совершенно независимо от удельного веса этих производителей на рынке. С другой стороны, рыночная стоимость определяется совокупной массой труда, затраченного в данной сфере производства и деленного на количество произведенных товаров. В первом смысле, рыночная стоимость носит характер подвижной величины и включает в себе моменты устойчивого и неустойчивого равновесия. Во втором смысле рыночная стоимость как средняя цена, исчисляемая по средней арифметической, есть стоимость. Такая стоимость является тем идеальным центром при пропорциональном распределении труда, к которому тяготеют цены. Этот второй смысл рыночной стоимости, т.-е. тот случай, когда она совпадает со стоимостью, подчеркивает то определение общественно-необходимого труда у Маркса, где он говорит о форме проявления закона стоимости, как о пропорциональном распределении общественного труда между различными сферами производства. Таким образом, между техническим и экономическим пониманием общественно-необходимого труда имеется существенное различие. Нельзя понять стоимости, абстрагируясь от цены, как формы проявления закона стоимости. Точно так же будет не понятна роль производительной силы труда, как основного регулятора капиталистического хозяйства, если мы абстрагируемся от процесса распределения труда в товарной форме, в форме категории цены эта же пропорциональность включает в себя момент общественной потребности. Смешение производительности труда с формой проявления пропорционального распределения труда приводило к различному пониманию общественно-необходимого труда у Маркса. Цена, как форма проявления стоимости, совпадает с последней только лишь при равенстве спроса и предложения. Поэтому во всех случаях несовпадения цены со стоимостью (в условиях свободной конкуренции) мы имеем соответствующее отклонение от пропорционального распределения труда, и поэтому такая цена не определяется общественно-необходимым трудом. Ошибка сторонников, главным образом, экономической версии, а отчасти и технической версии [1]) и состояла в том, что в основу своего анализа они брали чисто-теоретическое положение Маркса о стоимости, абстрагируясь от рыночной стоимости и цены.

---

[1]) В отношении сторонников «технической» версии, мы говорим, отчасти, потому что, хотя они и включали в свой анализ категорию цены, но рыночную стоимость рассматривали неправильно, отождествляя ее со стоимостью, не заметив ее двойственной природы.

Именно при анализе рыночной стоимости Маркс достаточно показал, что общественная потребность или спрос влияет на отклонение цены, а равно и рыночной стоимости, когда последняя носит неустойчивый характер, от самой стоимости. В отношении же стоимости, общественная потребность есть лишь предпосылка для ее полной реализации. Стоимость зависит исключительно от производительной силы общественного труда. Такая интерпретация рыночной стоимости Маркса дает возможность лучше об'яснить законы движения цен на рынке и более уточняет понятие общественно-необходимого труда как в техническом, так и в экономическом смысле. Нам кажется, что только при таком истолковании общественно-необходимый труд получает у Маркса полную формулировку и разрешает все противоречия, которые возникали при неправильном анализе рыночной стоимости. Смешение этих двух моментов—технического и экономического и приводит к неправильному анализу общественно-необходимого труда у Маркса.

К вопросу о диалектике художественного процесса[1]).

А. Острецов.

I.

Ленин в своих заметках о диалектике определил наиболее общую закономерность связи явлений между собой и тем самым дал формулу общей методологии для марксиста-исследователя. Тем самым он дал и общую формулу методологии теоретического искусствознания, дал принцип диалектической связи явлений искусства и всего художественного процесса как с миром надстроек, так и с общественным процессом в целом. Какова эта формула? «Отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное так или иначе есть общее. Всякое общее есть частица, или сторона, или сущность отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное не полно входит в общее... И т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями и процессами)». Понимание теории при этом естественно определялось Лениным как раскрытие «об'ективной связи природы». В отношении методологии теоретического искусствознания эта формула Ленина отнюдь не должна толковаться только в плане анализа имманентной, изолированной от общества, структуры искусства. «Отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему» (Ленин). Но отношение отдельного к общему в области искусства не есть только отношение отдельного, конкретного, художественного памятника к общему принципу стиля, частным проявлением которого является данный, отдельный, единичный памятник. Точно также обусловленность существования общего существованием отдельного—«общее существует лишь в отдельном и через отдельное» (Ленин)—не может трактоваться только исключительно по линии «предметного» истолкования стиля в смысле понимания стиля как некоторого единства, существующего конкретно в отдельных предметах, в единичных художественных памятниках и только через них осуществляющего свою общую художественную реальность. Наконец, принцип диалектической связи отдельных («каждое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными») не может быть раскрыт только в смысле стилистического сродства художественных форм и их чисто-эстетического взаимовлияния, в смысле только эстетического единства между художественными памятниками. Вообще эта диалектическая формула не может быть правильно применена в области искусствознания, если само искусство будет браться изолированно от его общественных связей, а не социально. Ведь по отношению к обществу искусство есть специфическая форма социально-практической деятельности, составляющей живую ткань

[1]) Статья помещается в качестве материала по вопросу о диалектике художественного процесса.

и движущий принцип исторического бытия общественного человека. Но «отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему», и искусство, художественная практика как особенная форма общественной практики имеет реальность лишь в меру развития и закрепления своих связей с общим—с широким потоком социально-практического бытия. Этим самым устанавливается диалектическая связь между обществом и искусством, связь не двух самостоятельных величин, а связь общего и отдельного—связь основной формы бытия (социальная практика) и ее конкретной, особенной, отдельной спецификации (художественная практика).

Этим самым устанавливается не только обусловленность искусства обществом, но и взаимопроникновение и взаимосвязь общества с искусством. «Общее существует лишь в отдельном, через отдельное» (Ленин). Общество, социально-практический опыт не существует само по себе, в своем абстрактном общем содержании, изолировано от особенных, конкретных форм своего проявления, от хозяйственной, политической, художественной практики. «Нет общего, которое не конкретизировалось бы как особенное, и особенного, которое не реализовалось бы как единичное», как прекрасно сформулировал однажды это отношение тов. Деборин. Нет общественной практики вообще, абстрактной общественной практики. Общественная практика всегда реализуется в конкретных формах художественной, политической и других видах практики. Конкретная художественная практика не есть продукт абстрактной социально-практической сущности, а есть особенная форма конкретной общественной практики, есть конкретное ее проявление. Этим самым утверждается единство художественно-практического и социально-практического момента, устанавливается единство и неразрывность общества и искусства и их взаимообусловленность.

Но между отдельными видами практики, в особенной форме реализующими, конкретизирующими общее содержание социально-практической деятельности, есть связь. Именно эту связь отмечал Ленин: «Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными вещами, явлениями и процессами». Процесс художественной практики не только конкретизирует общие принципы социально-практического опыта, но и взаимодействует с другими формами социально-практической деятельности. Это и есть так называемая проблема взаимодействия надстроек. Понять подлинную социальную природу художественного процесса можно только тогда, когда будет понят механизм взаимодействия искусства с другими видами социально-практической деятельности. Из общей методологической формулы Ленина с неизбежностью следует один вывод. Искусство и общество едины, но не тождественны. Социальный процесс искусства «тысячами переходов» связан с другого рода социально-практическими процессами и явлениями. Понять искусство—значит понять его общественный механизм, его жизнедеятельность как особенную форму единой социально-практической деятельности общественного человека, диалектически взаимодействующей с другими особенными формами его социальной практики.

Установление непрерывной связи между искусством и общественным процессом в его целом есть наиболее общая задача диалектического понимания развития искусства. В сущности говоря, именно здесь лежит граница, отделяющая диалектика-искусствоведа от недиалектика. Решающим моментом является понимание этой связи. Всякий акт, механически расчленяющий единство художественного и общественного процесса, в корне враждебен диалектическому материализму, даже тогда, когда он внешне замаскирован «блестящей» и, на первый взгляд, даже диалектической формулировкой. Так, например, когда Вельфлин в своей принципиальной, можно сказать, фило-

софской статье об «истолковании искусства» писал: «Истолковать—означает научить чувству общего в отдельном и единичном», то он, в действительности, и не думал покидать свои позиции идеалиста-искусствоведа. Здесь под «общим» подразумевается та формальная стилевая установка, которая является для Вельфлина универсальным началом при об'яснении художественного процесса. Это общее, несмотря на привлекаемый историко-общественный материал, еще не имеет корней в общественной жизни и существует больше в кабинете исследователя. Так, категория барокко, которой Вельфлин посвятил немало страниц, пока еще есть категория исследователей, а не категория исследуемого. Барокко Шмарзова не то же самое, что барокко Бринкмана и Гильдебранда[1]). Что такое барокко в России, мы знаем лишь в цехово-профессиональном смысле, в смысле аналогии и некоторого единства приемов техники и профессиональных методов русского искуства XVII века и таковых же на Западе. Это значит, что категория стиля берется здесь как отдельное, вне связи с общим. Искусство взято вне его связи с общественным процессом. Художественный процесс изучается автономно, в разрыве с обществом. Мы не ошибемся поэтому, высказав мысль, что категории стиля, которыми оперируют сейчас западные Kunstgeschichte и Kunstwissenshaft, именно по тому, что они изучались в разрыве с общей закономерностью художественного процесса, являются категориями, по существу, ложными и неоправданными, если на категорию стиля мы будем смотреть как на общественную катогорию, а не как на профессиональную категорию цеховой науки. Правомерность исторических схем—например, проблема периодизации в истории искусства, как она сейчас представлена взглядами на историю у Вельфлина [2]), Пиндера [3]) и Гергарда Роденвальда, а также правомерность так называемого географического искусствознания (Швигер)—совершенно сни-

[1]) Вельфлин, Ренессанс и барокко, Спб. 1913; Schmarsow, Barock und Rococo, 1899; Brinkmann, Die Barockskulptur –в Handbuch der Kunstwissenschaft, 1917, и его же Die Kunst des Barocks und Rococos; Hildebrand, Die Malerei und Plastik im XVIII in Frankreich 1915—1924. Все эти исследователи оперируют с такого рода «готовыми» понятиями, как «влияние итальянского искусства», «тенденции к классицизму» и пр., и, исходя из постулируемых ими отвлеченно формальных категорий (особенно Вельфлин), доказывают «возможность» и правомерность своей точки зрения, не ставя вопроса о том, как было и что представляло собой в действительности изучаемое ими искусство. «Возможным», а не «действительным» занимается и Вильгельм Гаузенштейн в своей работе «Vom Geist des Barock» (München, 1924)—его «дух» остается несведенным к конкретной психологии определенного класса.

[2]) Wölflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, München 1923. В этой книге Вельфлин выступает последовательным дуалистом: с одной стороны он признает независимую от исторического развития категорию «видения», с другой—допускает обуславливающую развитие искусства роль «внешних обстоятельств» (S. 241, 242, 245). Но и эти внешние обстоятельства не представляют собой чего-либо большего, чем обычные—«художественный темперамент», «дух эпохи», «нравы» общества и т. п., и т. д. Но отсюда и смена стилей и периодизация определенных художественно-практических установок носит характер «имманентно-развивающегося» процесса.

[3]) «Das Problem der Generationen in der Kunstdeschichte Europas». «Возрастные группы—поколения—вот что двигает историю искусства. Стиль художника предопределен годом рождения последнего. Законы искусства вытекают прямо из хронологии. И надо сказать, что этот нелепый хронологический фатализм «владеет умами» многих искусствоведов и выдается ими за науку. Впрочем, европейское «Kunstwissenschaft» вообще богато сейчас курьезами. Так, напр., мыслимо ли уложить всю мировую историю искусства на прокрустово ложе такой схемы: 1) примитивное, 2) архаическое и 3) классическое искусство? Между тем именно такую схему» предложил почтенный Гергард Роденвальд в своем докладе «о значении периодов в истории искусства» на III конгрессе эстетики и общего искусствознания в Галле (1927 г.). Надо ли говорить, насколько над'историчны и сверхобщественны подобные концепции. Они выглядят бедными и куцыми, если их сравнить с четырехчленным членением, Скалигером греческой поэзии (De emendatione temporum 1583) или с пятичленным винкельмановским принципом периодизации. Gesch. d. Kunst. (I. Aufl. 1764).

мается, если под абстрактной схемой подразумевать только допустимое и нужное теоретическое изображение общественно-исторического движения художественного процесса. Как раз момент общественно-исторического в искусстве и остается всегда под вопросом у буржуазного писателя. Даже там, где он ни на минуту не покидает историческую прагматику, он в действительности знаком лишь с передней истории искусства или с ее чуланом, а не с самой общественной историей художественного развития, единственной истории, которая была, есть и будет у искусства. Прагматик-искусствовед на Западе имеет две крайности: знаточество и априорность исследовательского прожектерства. Тип знатока и прожектанта нашел себе классическое выражение в фигурах Фридлендера, Боде и Стржиговского. Но все они знают только одну историю—историю материала в искусстве. И, конечно, не западной ученой оппозиции с Бирманом во главе преодолеть тот тупик, в который зашло западное искусствознание.

Но установить принцип, наметить задачи—не значит еще решить проблему теории искусства. Для этой последней необходим метод, необходимы приемы конкретного применения принципа, необходим критерий правильности решения поставленных себе задач. В общем философском плане о методе теоретического исследования, о его структуре, его основных конститутивных моментах писал Ленин в своей брошюре о профсоюзах: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить и изучить все его опосредствования. Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвления. Это во-первых. Во-вторых, диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии, самодвижении. В-третьих, вся человеческая практика должна войти в полное определение предмета и как критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно для человека. В-четвертых, диалектическая логика учит, что абстрактной истины нет, истина конкретна». Эти четыре общих принципа диалектической методологии, формулированных Лениным, должны составить основные узлы методологии теоретического искусствознания и конкретизироваться применительно к об'екту своего исследования. Принцип «охвата всех опосредствований», требование всесторонности, теоретическое обязательство «включать в полное определение предмета всю человеческую практику» есть основное положение диалектического материализма. Это положение, примененное к искусствознанию, означает требование подходить к совокупному процессу искусства и к отдельным его моментам в их связи и между собой и с явлениями, лежащими вне собственного процесса искусства, но в практике общественного человека соприкасающимися с искусством, обусловливающими его развитие, влияющими на внутреннюю жизнь художественно-практического опыта.

Любопытно, что здесь, в сфере практики, западное искусствознание постоянно пользовалось принципом связи и опосредствования. Теоретически санкционировав отрыв художественного процесса от общественного, западные искусствоведы не могли, однако, не столкнуться с реальным выражением их единства и частично признали его. Западный искусствовед все более и более начинает понимать начало связи, момент опосредствования искусства другими надстройками. То же самое барокко некоторые исследователи связывали с той или иной формой идеологии (И. Бриггс, А. Ригль) или с характером бытовых установок тогдашнего общества (Вельфлин). Также не осталась в тени мысль о некотором единстве жизни, что, получая разную окраску и характеристику, вошло в общее достояние науки (четко поставлен вопрос о единстве различных сторон жизни у Якова Бургхарда и Освальда Шпенглера). Так что, отдавая должное буржуазной науке, сле-

дует признать, что гегелевская мысль о том, что «частное содержит в себе общность, составляющую его субстанцию, род, есть неизменная в своих видах, виды различаются не от общего, а только один от другого. Частное имеет с другими частными, к которым оно относится, одну и ту же общность», уже в скрытом и частичном виде получила доступ в область западного искусствознания в виде мысли о связи различных сторон жизни и искусства. Конечно, это еще далеко от подлинной диалектической мысли Гегеля, взятой даже в идеалистическом ее значении как выражение абстрактной умозрительной закономерности. Вряд ли про кого-нибудь из буржуазных ученых можно было бы утверждать, что они действительно вполне усвоили мысль Гегеля, что «частное имеет с другими частными, к которым оно относится, одну и ту же общность, вместе с тем их различие, в виду их тождества с целым как таковое общее: оно есть целостность. Таким образом, частное не только содержит в себе общее, но также изображает последнее через свою определенность» и т. д. Ведь именно эту мысль, подчеркивая ее актуальность для диалектической методологии исследования, выдвинул Ленин. Однако, повторяем, будет преднамеренным искажением, если мы заранее припишем западному буржуазному искусствознанию в целом взгляд, по которому развитие искусства совершается совершенно вне связи с общественным процессом,—например, вне связи с миром культурных надстроек. В той или иной мере сознание этой связи есть достояние науки, вовсе не отличающейся материализмом. «Научный солипсизм» и цеховая узость и те нередко оказываются бессильными и на практике приводят к мысли о связи искусства с миром культуры. Искусствоведы типа Фидлера, заявившего, что искусство «может быть определено только на его почве», или его двойника—русского Фидлера-Недовича, полагающего не без скрытой мысли о «социологизме», что искусство «онтологически не подлежит» ни природе, ни истории, совсем не исчерпывают того теоретического содержания западного искусствознания, какое имеет в себе свои элементы как бо́льшей широты» взглядов, так и бо́льшей диалектичности. Так, например, Дворжак пишет: «Если таким образом искусство становилось непосредственным органом религиозно-суб'ективной жизни человека,—первый шаг к постепенному превращению в орган суб'ективной жизни вообще,—то художественные средства своей непосредственностью абстрактно закономерных форм, задача которых в пробуждении душевных эмоций и их направлений, приобретали ту самостоятельность, какой они в античном мире, где они были более тесно связаны с об'ективным содержанием представлений, не обладали». Или в другом месте, когда он описывает, как искусство явилось «средством в художественно-классических образах подчинить все имеющее отношение к телесной и душевной жизни новому психоцентрическому мировоззрению», он в действительности в абстрактных терминах описывает связь определенной психоидеологии с развитием художественной жизни, и описывает эту связь в терминах, указывающих на активность воздействия первой на вторую, отличаясь этим от других своих коллег, у которых психологическая надстройка выступает как абстрактная воля (Пановский) или как априорно предпосланное решение развития искусства (ранние работы Воррингера [1]).

[1]) Идеалистическая концепция настолько довлеет над западным искусствоведением, что апелляция к «духовному» началу нередко имеет место там, где без нее обойтись было легко. В этом отношении интересна работа Paul Frankl, Die Entwicklungsphafen der neueren Baukunst—1914 Leipzig, в которой автор делает попытку «одухотворить» свой материал. Аналогичное явление имеет место и в музыкальной науке. Так называемая «энергетическая» теория истолкования музыкального процесса, представленная на Западе в учениях Грунского, Шеринга, Курта, а у нас Б. Яворского, склоняется нередко к явному фетишизму звуковой формы. В частности стройное учение Б. Яворского о звуковом тяготении в своих конечных

Дворжак не подозревает, что он в некотором отношении уподобляется Фейербаху, так как, подобно ему индивидуализируя общее, он в то же время генерализирует частное. Но только в противоположность Фейербаху общее Дворжака стоит на голове и, являясь лишь духовной надстройкой, несмотря на кажущуюся «широту» открываемых им возможностей об'яснения явлений искусства, в действительности суживает и ограничивает изучение реального общего, т.-е. основной связи художественной жизни с общественным процессом. Даже там, где Дворжаку удается охарактеризовать внутреннюю противоречивость художественной жизни того или иного периода (например, борьбу элементов «христианского» и «языческого» в ранней христианской живописи или натурализма и идеализма в готике), он не справляется с действительным характером этих противоречий и, в сущности, остается лишь узким аналитиком отдельного, не знающего общего. Еще показательнее беспомощность исследователя свести концы с концами, когда кругозор его охватывает и реальные общественные явления. Так Воррингер в своей книге о египетском искусстве [1]), дав изощренно тонкий анализ противоречивости египетского художественного миросозерцания и практики, уперся в тупик, когда пришлось все это как-то обосновать с точки зрения культуры и общества. В египетском искусстве мы имеем факт загадочного и странного смешения принципов величайшей организованности и ясности и самой откровенной, некритической узости миросозерцания, обнаруживающего беспорядочную «первобытность» представления о мире. Это смешение нашло свое выражение и в установке классической египетской пластики, выступающей как своего рода грамматика абстрактного порядка, и в то же время проникнутой всеми случайностями темной дикарской мифологии, позволяющей сочетать лицо зверя с четким планом человеческого образа и в архитектуре с ее «американизирующим» конструктивизмом и неоправданностью бесчисленных переходов, закоулков, мрака темных углов и пространственной дезориентированности (например, храм Саху-Ра). Этот факт совсем не об'ясняется победой цивилизованного рационализма над представителями первобытной культуры (над alle Naturgewachsnheit der Grundrissbildung), как это полагает Воррингер. Первобытный культ зверей, тотемизм в искусстве играли роль вовсе не атавизма из мифической пре-истории (aus mythenschöpferischer Vorzeit, и дело заключалось вовсе не в переработке «естественно-непосредственного» с помощью абстрактного канона, и понятие переработки здесь ничего не об'ясняющее слово, а вовсе не das entscheidende Wort, как думает Воррингер. Идеологические и художественные противоречия египетского классического искусства есть выражение реальных общественных противоречий социального суб'екта этого искусства. Мало учитывать высокую технику, их бюрократическую психику и цивилизаторские тенденции, как это делает Воррингер, следуя вслед за Лео Фробениусом, Шефером и Видерманом, прямо указавшим на противоречивость египетской культуры [2]). Надо обратиться к самой общественной основе. Только тогда египетская культура и искусство получат свое правильное

теоретических выводах приводит к тому, что односторонний учет «тяготений», инерции и «потенциалов» звуковой материи служит посылкой и для приписывания им особой самостоятельной силы («звуковой воли»), выступающей в процессе оформления определенных психических движений, как демиург муз. практики, и едва ли не наперекор самому замыслу художника. Естественно поэтому, что позитивисты нередко перекликаются с ясновидящими спиритуалистами. Так граница между Шпенглером и Leo Frobenius'ом, автором «Das unbekannte Afrika», оказалась вовсе не непереходимой. Напротив, они отлично работают вместе.

[1]) Vorringer, Von aegyptischer, Kunst, München 1927.

[2]) Schäefer, Von aegyptischer, Kunst, Berlin 1919 Wiedermann, Das alte Aegypten, 1920. Следует здесь упомянуть и интересную работу H. Grapow'a, Die bildichen Ausdrücke des Aegyptischer, Leipzig, 1924.

отображение в трудах исследователя и перестанут быть подобными воронке Дантова ада, где один темный круг сменяет другой, все дальше и дальше уводя в пропасть. Но уже тот факт, что европейские писатели отмечают внутреннюю противоречивость художественной жизни и ее связь с общественным процессом, показывает, что западное искусствознание в какой-то мере диалектично.

Основное, что здесь мы должны иметь в виду — это то, что элементы диалектики в западном искусствознании не знают подлинной сферы диалектики — материалистического понимания истории. Диалектика западного искусствознания идеалистична и в корне чужда историческому материализму. Она имеет на Западе два пути: Первый путь — путь имманентного рассмотрения художественного процесса, как смены форм и борьбы элементов стиля. Этим путем идеалистическая мысль искусствоведа и дилетанта идет от старого Аристоксена до Дельсарта, Пауля Франкля, Салиса, Клейна и др. Другой путь—путь рассмотрения развития искусства, как связанного с явлениями духовной и материальной жизни, лежащими вне искусства и взаимодействующими с ним. Таковы Аристотель с его поэтикой, Платон и вся, надо сказать, весьма разноплеменная плеяда современных авторов, исходящих из убеждения, что связь между «надстройками» — реальный факт, игнорировать который не представляется возможным. Таковы: Эмиль Утиц, признающий бытийный разрез и ценность обнаружения», Макс Дессуар, учитывающий расу и среду, как влияющих на развитие искусства, и, в сущности, являющийся более прогрессивным писателем, чем тяжеловесные представители классической эстетики в роде Ионаса Кона или Германа Когена или односторонних материалистов типа Стржиговского.

Но здесь следует сказать, что проблема взаимодействий надстроек, показательная для исследователя диалектика в той форме, в какой она стоит у немарксистов-искусствоведов, есть в сущности проблема влияний между надстройками, так как сами надстройки берутся уже в готовом, ставшем виде, и проблема взаимодействия их на деле сводится к проблеме механического сосуществования отдельных самостоятельных рядов: художественного и культурно-исторического. Таковы: Воррингер с его «человеком вообще», с человеком, само происхождение которого у него в такой же мере зависит от искусства (например, готического человека), как происхождение искусства от человека. В значительной мере это относится и к Вельфлину и Арнольду Шерингу, понимающим общественного человека, как нечто растительно-произрастающее на лоне быта. В сущности, такое же механическое сосуществование надстроек, ряда полагающихся друг с другом, мы наблюдаем и в «органических циклах культур» Шпенглера. В этом разрезе Шпенглер не диалектик. Искусство у него лишь на диво отполированное зерцало его Seelehtum, не знающее внутренно-противоречивого движения, почему Шпенглер, несмотря на то, что он иногда и умеет абстрактно изложить борьбу стилей и противоречий между отдельными видами искусства, никогда не умеет выяснить действительных связей искусства с другими надстройками, отделываясь туманной фразой о единстве «прасимвола» данной культуры.

Ленинское требование, ленинский принцип включения «всей практики» в полном определении предмета обязывает искусствоведа выходить за пределы собственно искусства, анализировать связи и опосредствования между различными формами общественной практики. В плане конкретной социологии искусства этот принцип включения всей практики в полное определение предмета означает требование при анализе конкретных художественных образований (художественного памятника, школы, стиля, художественной культуры) учитывать как влияние смежных с искусством надстроечных образований, так и влияний базисного порядка. Марксист-искусствовед должен понять свой об'ект в его соотношениях и практических связях с той общественной средой, из которой он вырос, в которой он существует и которую он обслуживает. Какое бы то ни было определение художественного факта не мыслимо без учета его связи с его социально-практическим окружением, с той реальной почвой социальной практики, на основе которой вырастает определенная художественная форма, стиль искусства. Но вместе с тем это вовсе не означает отказа от различения в многообразии социально-практических связей искусства его основной причины — ведущей роли классовой борьбы. Ленинский принцип всесторонности, обязывающий включать в полное определение предмета «всю практику общественного человека», не означает неспособности рассматривать явления как выражение одной основной и решающей закономерности. Наоборот, именно Ленин настаивал на рассмотрении самого сложного общественного явления под углом определенных общественных отношений и классовых противоречий. Найдя тот «уголок»,—говорит Ленин,—который «воплощает в себе квинт-эссенцию современных общественных отношений», и рассматривая весь современный хозяйственный строй под углом отношений, сложившихся в этом «уголке», получаешь возможность разобраться в основных взаимоотношениях между различными группами участвовавших лиц, а следовательно, и рассмотреть основное направление развития данного строя». Почить на лаврах всестороннего анализа не составляет «приятного долга» для марксиста-искусствоведа. Он должен бороться с этим. «Подделка эклектизма под диалектику легче всего обманывает массу, дает кажущееся удовлетворение, якобы учитывает все стороны процесса, все тенденции развития, все противоречивые влияния и проч., а на деле не дает никакого целого понимания процесса общественного развития». «Здесь потребуется в первую голову, и больше, чем где бы то ни было, изображение процесса в целом, учет всех тенденций и определение их равнодействующих, или их суммы, их результата» (Ленин). Определение же равнодействующей художественного процесса, его основной классовой линии не мыслимо без сведения всего индивидуального в художественном процессе к этой основной его ведущей причине.

То обстоятельство, что всякий раз, когда подымается вопрос о многообразии связей и опосредствований художественного процесса, неизбежно встает и вопрос о едином связующем их в нечто цельное начале, наглядно показывает, что монизм исторического материализма есть выражение диалектики самой истории, закон ее многообразия.

Вместе с тем, уже здесь мы имеем первый практический вывод для понимания общественной природы художественного процесса. Связь художественной практики с общественной, особенным проявлением которой она является, определяет понятие типа художественной практики, как некоторого художественно - идейного единства, отвечающего характеру данной общественно - исторической формации. Так диалектически решает запутаннейший вопрос искусствознания — что является масштабом и критерием для определения той или иной исторической величины художественной практики? Буржуазное «западное искусствознание» оставило нам в наследство понятие стиля — историческую категорию художественного выражения общественного человека. Но эта категория до сих пор не обрела себе твердой научной базы. Стилем называется до сих пор стиль эпохи, художественного течения, школы, отдельного мастера. Между тем, принцип диалектической связи художественной практики с общественной позволяет нам в основу художественного процесса положить другие, более определенные категории, которые уже и будут общественно-историческими единицами измерения Kunstgeschichte. Поскольку исторический процесс имеет дело с типами общественно-эконо-

мических формаций, постольку он имеет дело и с типами художественной практики. Марксист-искусствовед вместо надисторического схематизма стилей — например, архаика, классика, барокко, рококо — имеет дело с художественным опытом определенных общественно-экономических систем. Мы смело можем говорить о феодальном, античном, азиатском, натурально-первобытном, капиталистическом и социалистическом типах художественной практики. Этим мы наделе отмежевываемся от ложного сверхисторизма, антиисторизма и априорного псевдоисторизма «западного искусствознания».

Но идем далее. Каждый тип художественной практики есть summa summarum определенных стилей, которые являются видами художественной практики внутри данного типа ее. Мы будем не далеки от истины, если скажем, что стиль — по своей общественно-исторической обусловленности, конечно — есть категория социально-политическая по преимуществу. Дело в том, что, оправдывая об'ективные требования дальнейшего расчленения художественного процесса, эта «категория» естественно связывается с социально-политическими модификациями общественных систем, иначе сказать, типов общественной, а следовательно, и художественной, практики. Возьмем конкретный пример. Так в Египте искусство, представляющее собой с эпохи IV династии вплоть до VI—V века до нашей эры, тип феодального искусства, исторически дифференцируется, однако, на несколько стилей. Последние являются историческим выражением смены различных социально-политических укладов и систем общественных устройств, видоизменявших характер и общественно-практическую установку египетского искусства. Так, «геометрический стиль» V династии тем отличается от «свободного» стиля XII династии, что в первом случае мы имеем художественную практику централистического феодализма, еще не перешедшего в абсолютизм, а во втором случае имеем дело с абсолютистской версией феодализма, переходящего потом в дворянско-бюрократическую монархию («новое царство» XVIII династии). Отсюда идут качественно отличные друг от друга собственно художественные характеристики этих стилей. Так, мы имеем геометрическую строгость и максимальную дисциплинированность композиции, линий, ритма в архитектуре и пластике стиля V династии, применяющего глубинное и вертикальное пространство, как средство для интенсивного центростремительного развертывания пространства—отсюда идет сама форма пирамиды (чего не хотят, или не могут, до сих пор заметить многие исследователи) — и трактующего архитектурную массу как силовой комплекс, тектоника элементов которого господствует над моментом инерции. Это становится понятным только при определении социально-политической специфичности общественной функции данного стиля. Сам тип данного искусства, как феодальный, еще не об'ясняет для нас этих черт художественной практики. Они вытекают из династического пафоса общественной практики первых фараонов. Точно так же «свободный» стиль XII династии есть новый этап в развитии феодального египетского искусства. Он соединяет величавую простоту с расчлененностью, любовью к детали в толковании пространства и композиционной схемы, отличаясь от классического стиля древнего царства бо́льшим разнообразием, а главное иным пониманием конструктивного тектонического начала, значительно расширяя рамки всего декоративного, орнаментального, что отвечает «экстенсивности» придворного быта и, как уже сказано, подтверждает нам, что мы имеем дело с абсолютистской версией феодальной художественной практики. Стиль «нового царства», оставаясь также в пределах феодального типа искусства, становится понятным, если мы учтем его как отдельный вид феодальной художественной практики. Светскость с легким налетом скептицизма, — вспомним аристократический быт при Тут-

нозисе III, — придворная помпезность, сочетающаяся с крайним проявлением абстрактного схематизма, уродующего нередко чистоту орнамента и пластического образа, об'яснимы только как результат новой общественной установки художественной практики. Мы имеем здесь дело с искусством дворянской бюрократической монархии. Общественный суб'ект искусства — класс чиновников дворян, «министериалов» фараона, образующих «высший свет» египетского общества — иначе смотрит на жизнь, чем «династы» древнего царства и «чистый абсолютизм» среднего. Наконец, в эллинскую эпоху мы имеем крушение самого типа художественной формации и перерождение ее в новую, собственно-античную, общественная природа которой близка античной Греции и Риму. Точно так же в античном типе искусства мы имеем богатство различных стилей. Еще больше в «капиталистическом» буржуазном типе. Но они всегда связаны с социально-политическим моментом, с определенным положением классов в данной общественно-экономической системе. Аргументировать подробно мы не будем сейчас, так как этому вопросу мы посвятим особую работу. Сейчас нас занимает общий принцип, основная историческая категория художественной практики. Таким образом, исторический стиль выступает перед нами не как главная категория, а как подчиненная, как вид художественной практики.

Но стиль также является интегрирующим моментом по отношению к отдельным школам и художественным направлениям, играющим роль отдельных родов художественной практики внутри вида его, т.-е. стиля. Каждый данный род художественной практики, думается нам, исторически связывается с социальными группами внутри определенной социально-политической системы. Разница между школами и направлениями не зачеркивается марксистом-диалектиком, а подчеркивается, и требует внимательнейшего к себе отношения. Художественные школы искусства — это специфические идеологические призмы определенных социальных групп, в которых преломляется исторический опыт общественного человека. Совокупность идеологического опыта общественного человека и существует именно благодаря активности этих социальных групп. Без школы Фидия мы не знали бы классического стиля эпохи Перикла. И обратно, конечно. С полным правом это может быть применено и к Рафаэлю, и к Листу, и к Вагнеру, и к «могучей кучке» в России. Если употреблять «эволюционистскую» терминологию, то имеющееся здесь отношение можно выразить следующим образом: вид художественной практики (стиль) интегрирует род ее (школу), в то же время дифференцируя его внутри себя. Род же (школа, художественное направление) дифференцирует вид (стиль), интегрируя его в себе. По-марксистски надо сказать так: «Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное так или иначе есть общее». Рафаэль познается через ренессанс. Ренессанс познается через Рафаэля. Только это не надо делать по-вельфлиновски.

Наконец, внутри художественных форм и направления есть своя социальная «дифференциация» — особи рода, ячейки художников и сами художники. Надо ли их связывать с социальными прослойками внутри определенных общественных групп (я думаю, что надо), или поступать с ними как-нибудь иначе,— этот вопрос мы не будем решать сейчас. Все это относится к кругу вопросов, связанных с проблемой формы художественного процесса, и разбирается нами в другой нашей работе. Основное, что следует заметить — это то, что общий принцип искусствоведческого исследования истории искусства вытекает именно из теоретической посылки диалектического материализма познавать явление в его историческом своеобразии и учитывать его частные закономерности, и должен быть противопоставлен механистическому и идеалистическому принципам, оставленным нам в наследство «западным искусствознанием».

В данное время западное искусствознание сдает свои последние исторические позиции... Категория стиля сейчас есть блуждающая, бездомная категория, которая устало бродит из одного лагеря в другой. То это духовная категория—Ригль, Дворжак, Пановский, молодой Воррингер, Шпенглер. То бытовая, расовая, национальная — Фробениус, Шефер, Вильдерман, Швигер, идущие здесь за Тэном, и теперешний Воррингер, а с ними и Пиндер и Арнольд Шеринг. То социальная, но... сверх- и междуклассовая, «социал-демократическая», как, напр., у Утица, обручившего кольцом культурного панлиберализма (читай: оппортунизма) социализм и капитализм, или у Вильгельма Гаузенштейна с его синтезом «двойной мощи двух классов». Или, наконец, просто «формальная категория», чистенькая и не замаранная общественностью и уж, конечно, без дурных социальных привычек, как и ее представители Пауль Франкль, Фидлер, Салис, Клейн, Гильдебранд и др.

Как известно, формалистам особенно повезло. Их «формальная категория» уж, конечно, знает, что̀ такое «действительно научный искусствоведческий подход к искусству», и, что всего любопытнее, пользуется уважением у русских искусствоведов и даже... некоторых социологов, может быть, угадывающих в ней антипода своего «классового миросозерцания».

В СССР с категорией стиля — скажем прямо — также обстоит пока неблагополучно, хотя неизмеримо лучше, чем на Западе. Она нашла дом, но ей нечем жить. Она будет жить у нас, как только диалектический материализм оплодотворит ее и даст ей силы. Этого сейчас не сделано. Иоффе, отрицая идеологическую природу стиля, кроме этого, понимает ее как самостоятельную практику определенно-социальных групп: так, по Иоффе, у нас в СССР столько сейчас самостоятельных стилей, сколько социальных групп, и — что всего «парадоксальнее» — эти стили, оказывается, независимы друг от друга в силу «многопланности общественного процесса». Арватов механизирует художественный процесс вплоть до отождествления его с производством вещей: посуды, машин, табуреток и пр. и о категории стиля не говорит вовсе. Федоров-Давыдов идет за Гаузенштейном и «в общем и целом» соглашается на двухклассовое об'яснение стиля».

Единственные, кто, рассматривая художественный процесс, внесли ясность в понимание общественной закономерности природы художественной формы — это В. М. Фриче и И. Маца̀. Общее содержание нашего теоретического анализа связи форм художественной практики с общественно-историческим процессом примыкает к их точке зрения. Вот почему мы считаем актуальным дать определение этой связи как связи отдельного и общего и во главу угла художественного процесса положить понятие исторического типа общественно - художественной формации, включающего в себя как свой отдельный вид стиль и затем школу и художественную группировку как «род и особи» художественной практики. Намечая здесь общую принципиальную теоретическую установку на понимание связи художественного процесса и общественного, мы, конечно, оставляем за собою право дальнейшей расшифровки данной нами общей формулировки. Важно взять ее за основу, за отправную точку; чтобы правильней наметить линию диалектиесского познания художественного процесса в целом.

II.

Вместе с тем становится очевидным, что разногласия между идеалистом и материалистом-искусствоведом были лишь прелюдией к первому акту революционно-материалистической критики — критики социологов, чуждых диалектического материализма. Социолог-искусствовед, учитывающий многообразие связей и зависимостей искусства, но не умеющий установить их внутреннюю соподчиненность, закон их отношения друг к другу и роль ведущей их развитие основной причины, тем самым ставит себя по ту сторону диалектического материализма. Монист на словах, на деле он покрывает грехи теории факторов, плюралистичной по своему существу. Или, оставаясь на материалистической основе, он превращается в типичного механиста, не отрицающего роль классов, но предпочитающего говорить о технических, позитивных, экспериментальных условиях искусства. Поистине образцовым приемом социолога-эмпирика, социолога-плюралиста может служить Гаузенштейн. Примером материалиста-механиста от искусствознания или «сверхматериалиста», как удачно назвал И. Маца̀ этот тип социолога-искусствоведа, являются Лю-Мертен, Бене, Иоффе и солидаризирующиеся с ними, как, например, Чужак, Федоров-Давыдов и др. Почему те и другие не являются диалектиками? Потому, что они не рассматривают реальную историю искусства как выражение классового антагонизма в идеологических формах художественной практики. Это не значит, что они не говорят о классах. Это значит, что они не переводят свои утверждения о классовой природе искусства в конкретный анализ классовых противоречий самой идеологии, выражением которой является искусство. Они не только «отвлекаются» от противоречий реальной действительности, но и вовсе не учитывают их при определении художественных формаций. Само понятие определения еще носит у них механистический характер. К ним вполне применимы слова Маркса, что они «задаются отыскиванием таких категорий, которые являлись бы выражением буржуазных отношений, но не содержали бы противоречия, составляющего их сущность и от них не отделимого. Они воображают, что серьезно борются с буржуазной практикой, но сами все-таки буржуазны, и даже более других». Это действительно так. И социологические эмпиристы и социологи-сверхматериалисты, встав в ряды марксистов-искусствоведов, сделали решительно все что нужно, чтобы доказать свою благонаменеенность, позитивность и материалистичность, кроме применения диалектического оружия исторического материализма — теории классовой борьбы— в области идеологии, к области искусства в том ее революционном понимании, как она была дана Марксом и Лениным. Им всем присущ тот так ярко охарактеризованный Лениным «узкий об'ективизм, ограничивающийся доказательством необходимости и неизбежности процесса и не стремящийся скрывать в каждой конкретной стадии этого процесса присущую ему форму классового антагонизма — об'ективизм, характеризующий процесс вообще, а не те антагонистические классы в отдельности, из борьбы которых складывается процесс». В плане научного исследования явлений искусства это означает требование такой установки научной работы, которая стремится в основном определить классовую идеологическую природу данного художественного явления, определить ее в ее конкретно-историческом разрезе с ее противоречиями, тенденциями и устремлениями. Пример того, чем должен быть, в основном, марксистский анализ художественного явления, мы имеем в том, что дано марксистам-искусствоведам Владимиром Ильичем в его анализе творчества Толстого.

Ленин не мыслил анализ художественного факта без определения противоречий той идеологии, выражением которой он является.

«Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого действительно кричащие», и Ленин вскрывает эти противоречия, это сочетание в Толстом реалиста-художника и помещика, юродствующего во Христе. С одной стороны замечательно-непосредственный искренний протест против общественной лжи и фальши, с другой стороны, «толстовец», т.-е. истасканный истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «Я скверный, я гадкий, но я занимаюсь

нравственным совершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками»; с одной стороны беспощадная критика... с другой — юродивая проповедь «непротивления злу»; с одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок, с другой — культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины». Определив противоречивую природу творчества Толстого, Ленин ставит вопрос о причине этих противоречий. И уж, конечно, видит ее не в быте или в психологии художественной группы или в особенностях технического мастерства, но в общественной практике определенного класса, имеющего в данный исторический период все основания обладать такой идеологической установкой, такими вопиющими противоречиями. «Противоречия во взглядах Толстого надо рассматривать с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальным строем русской деревни». Надо заметить, что противоречивость идеологической практики класса имеют в виду и Плеханов, когда об'ясняет искусство XVIII века во Франции, и Меринг, когда он анализирует творчество Лессинга. Анализ Ленина с максимальной четкостью показывает нам, куда именно должен направить внимание марксист-искусствовед при определении и исследовании художественного явления. По-марксистски определить художественный факт — это значит, во-первых, понять его в его общественно-практической обусловленности, во-вторых, в его внутренне-противоречивой общественно-идеологической природе и, в-третьих, в той общественно-практической тенденции, какую он собою выражает. Это основное. Раскрытие общественных противоречий художественного процесса и прежде всего противоречий его идеологической сердцевины, понимания художественного процесса как развивающегося противоречиво, по самой своей общественной «сути», по своему идеологическому остову, — все это есть показатель того, что искусствовед действительно применяет диалектический метод на практике, в своем научном исследовании художественного факта. Одна из основных практических задач марксистского искусствоведения — установление метода социальной атрибуции, т.-е. определение художественного факта, как некоторой социально-идеологической величины, может быть выполнена только при наличии революционно-марксистской диалектической установки. Недиалектик, как бы он ни прикрывал себя марксистской терминологией и прежде всего левой фразой о классах и художественном производстве, на деле не идет дальше установления связи искусства с бытом, с отдельными надстройками, «с классом вообще», т.-е. не идет дальше теории факторов. Его социальная атрибуция недостаточна или просто неверна.

Вот примеры.

Почему Гаузенштейн Поликлета считает буржуазным? Потому, что «распущенность» его форм отвечает афинской буржуазии. Но ведь «распущенность» может отвечать и другим группировкам, — например, крестьянству и той οἱ πολλοί, которая пульсирует в Пирее V века. В действительности Гаузенштейн руководится здесь рецептом: если не аристократично, то буржуазно. И так как в середине V века имеется параллельный Поликлету класс городских мелких собственников, то... Поликлет буржуазен. Тот факт, что идеология всей торгово-аристократической партии с ее лидером (Периклом) во главе есть идеология консервативной аристократии непосредственно после реформы Эфиальта, пришедшей к власти и руководящей всей культурной жизнью Афин, и своей политикой, этой смесью либерализма и демагогии по отношению к аттическому демосу, в действительности лишь обеспечивавшей себе сохранение аристократических традиций, этого Гаузенштейн, очевидно, не знает. То, что вся художественная надстройка, представленная деятельностью Софокла, Фидия, Поликлета, Аристофана и др., вырастает на основе чудовищного социального компромисса аристократической партии, делающей последние уступки демосу и внутренно уже изживающей себя, а мир искусства идеально отражает этот действительный компромисс мысли, воли и чувства — это не входит в задачу анализа Гаузенштейна. Между тем как именно на этой почве можно понять то своеобразное смешение натурализма и «благородного идеализма», каким является стиль Фидия и Мирона в пластике, амальгаму дорической строгости и ионийской роскоши зодчества Иктина (Парфенон), сплетение рационализма и религиозного пафоса у Софокла и особенности стиля вазовой живописи таких мастеров, как Дурис. Гаузенштейн даже и не затрагивает этой стороны вопроса. И это не случайность, об'ясняемая трудностью применения марксистского анализа к области античного искусства.

Почему тот же Гаузенштейн Буше и Фрагонара считает также буржуазными? Потому, что их нагота здорова, их эмоциональная структура жизнеспна без декаданса и... кто же мог дать эту здоровую наготу и жизненность, как не здоровый, полный жизни и любящий пожить хорошо буржуа? Правда, что «сходство» оказывается не слишком прочным. Далее, когда взор Гаузенштейна падает на картины Греза, буржуа является нам склонным к воздержанию, к отречению. Буржуа более не расточитель, а скупой бережливец жизни,—рассказывают нам картины Шардена. Буржуа суров и аскет,—возвещает Давид. Буржуа как беззаботный суб'ект беспечного эротичного рококо, провозглашенный Гаузенштейном, стушевывается перед строгим буржуа, идущим к событию — подвигу 1789 года. Тот первый становится как бы тенью второго. Эта тень перестает быть тенью, когда мы вспомним, что придворное дворянство не только обладало прекрасным аппетитом и что его рента была вполне достаточной, чтоб оплатить «приятную жизнь» и быть материальной опорой здоровой наготы альковного идеала тогдашней живописи, но и сам этот идеал появляется,—а это и есть самое главное,—как неизбежное выражение тех социальных противоречий, которыми было полно тогдашнее «общество», т.-е. придворная аристократия. Всемогущая и бессильная, полная сознания своей власти (государство—это я) и тратящая силы на то, чтобы лучше изжить эту власть, прожигая себя в удовольствиях и развлечениях (после меня хоть потоп), стоящая на первом плане общественности тогдашней Франции и замыкающаяся в салоне и будуаре, принимающая все меры к организации хозяйственной и финансовой политики Франции и, в то же время, дезорганизованная и способная лишь к усовершенствованию личного комфорта, такова аристократия, на почве общественного опыта которой возникает дворянская «идеология рококо» и стиль рококо в музыке, живописи и литературе с его кричащим, постоянным противоречием социальной дезориентированности и полнокровной жизненности вырождающегося социально-дегенеративного класса. Именно здесь лежит социальное определение и характеристика фарфоровых пастушек, живописных идиллий, изящного менуэта, гавота и архитектурных манерных вариаций с общей для них всех типической чертой — чертой «здоровья в упадке». Призрачный «буржуа рококо» есть результат механического перенесения в область искусства и в область идеологии вообще факта экономического роста буржуазии, перенесения одного ряда в другой без анализа их конкретной связи. Диалектика самой исторической действительности, выразившаяся в том факте, что экономический рост буржуазии еще не означал ее полного социального и культурного самоопределения, а экономическое вырождение аристократии еще не означало сдачи ее социальных и культурных позиций, потери ее художественного и политического господствования — именно только она может быть ключом к тому мнимо-удивительному явлению, что

вырождающаяся дворянская культура приняла те, а не другие формы, тот, а не другой стиль идеологии и искусства. Плеханов как знаток общественной динамики был чужд враждебного марксизму механизма в истолковании художественных явлений. Его оценка рококо основана на понимании общественной диалектики этого стиля, являющегося, по Плеханову, идеологическим выражением того политического кризиса, в которых находилась тогдашняя французская придворная аристократия.

Таким образом, социальный анализ Гаузенштейна, вопреки основному положению Маркса, выбранному им эпиграфом для своей работы — общественное бытие определяет сознание, — не подымается до понимания действительного хода исторического процесса, а ограничивается его поверхностью. Бытовые черты — «распущенность буржуа», «здоровые эмоции буржуа» — уже достаточны, чтобы атрибуцировать, т.-е. определять художественный факт социально. Быт становится демиургом формы. Социолог-недиалектик обращается к бытовому антуражу потому, что не может справиться с анализом основных связей искусства и с общественно-историческим процессом в целом. Пользование бытовой категорией как средством для определения превращается в самоцель и, что всего интереснее, в глорификацию художественной жизни. Теоретическая беспомощность такого социолога искусства открывает совсем особый мир социальной зависимости перед читателями. Мир, полный соков земли, широких жестов плебея, легенд о святых, экономических реминисценций о мануфактуре и меркантилизме, улыбок знатных дам и оброненных замечаний. И все это подано как соль общественной жизни. Здесь теряется часто последняя грань, отделяющая социолога от буржуазного эстета и журналиста. Об'яснить Шардена кастрюльками и кухнями буржуа, а молодого Писарро капустными и салатными кочанами из его собственного огорода, не напоминает ли нам это «социологию» Юлиуса Мейергрефе, «об'яснившего» рисунки Константина Гиса тем, что ранее в Париже «поза была импозантнее и девушки были царственнее».

Точно так же происходит и с применением других социальных категорий, если их применяют механистично, если не дается понимание содержания ведущей художественный процесс основной причины—общественного противоречия социального суб'екта данного искусства, если нет сведения всего индивидуального к содержанию этой основной направляющей ход искусства общественной причине.

Так, например, Федоров-Давыдов самую политику, самый социально-политический момент происхождения искусства толкует преимущественно как факт быта. Вот как он характеризует в своих заметках о барочной архитектуре Рима социальный суб'ект стиля барокко. «Это — новая знать, сама по себе в известной мере абстрактная, в том смысле, что она не связана теми реальными связями средневековья и ренессанса, когда социальная значимость человека была обусловлена его социальной функцией. Она бытует в какой-то наджизненной атмосфере». Рим — «это город политической и социальной, а потому и идеологической абстракции, ибо его расцвет не был обусловлен его собственной экономикой. Это не означает, что экономических причин не было; это означает лишь, что их воздействие не было непосредственно». Таким образом, социально-политическая верхушка, оказывается, характеризуется «отрывом от своих социально-экономических корней», а Рим — как город, который «не был обусловлен его собственной экономикой». Это говорится в то время, как не совсем не известный Федорову-Давыдову Меринг прямо говорит о «неустанно действующей эксплоататорской машине церковного механизма», как непосредственном выражении условий тогдашнего хозяйства, о том, что «итальянцы тем более становились папистами, чем более развивалось товарное производство», о том, что именно двойственный характер хозяйственной политики князей церкви — поддержка и феодального и капиталистического способа производства — определил устойчивость института религиозной надстройки. Более того, вместо того, чтобы искать об'яснения возникновения и развития римского барокко в историческом своеобразии классовой практики, диктующей внутренний принцип данного стиля, Федоров-Давыдов сводит все дело к расплывчатой фразе о воздействии на массу массивностью архитектурных форм. «Именно заданием коллективизма, — говорит он, — заменой воздействия на рассудок тонко-чувствующего индивида воздействием на коллективное чувство толпы и определяются массивная грандиозность и могущество впечатления барокко. Оно не знает пределов фантазии, оно мыслит всегда огромными массами». Общественную сущность стиля домашней архитектуры он видит в «стремлении поразить и поколебить иностранца, внушить ему страх и почтение перед могуществом владельца дома. Дом ренессанса — это дом для жилья. Палаццо барокко — это помещение для празднеств и официальных приемов. Этим об'ясняется его архитектура». Без сомнения, этим она не об'ясняется. Так можно, быть может, установить необходимость больших размеров помещения, но ставить так проблему стиля — значит игнорировать конкретные общественно-исторические условия возникновения данных художественных формаций. Расчет на массу, на торжественность знаком многим архитектурным стилям. Например, храмовому зодчеству Египта и готики, гражданскому зодчеству республиканского Рима и в некоторых отношениях современной европейской архитектуре. Не в этом лежит общественная определенность стиля. Она лежит в противоречиях классовой идеологии, выражением которой и было барокко. Конечной общественной основой последнего был конфликт между ростом капиталистических отношений и старым «феодальным» способом производства, выразившийся к началу XVII века, т.-е. ко времени возникновения барочного стиля в новой общественной роли, которую выполняло феодальное дворянство, тормозившее общественное развитие и эксплоатировавшее его. Эпоха феодальной реакции XVII века, иначе говоря— стабилизация феодальной аристократии на новой основе, и выдвинула новый тип общественного человека — класс феодалов, князей церкви и князей мира, живущих теперь в условиях все более и более растущих товаро-денежных отношений. Стабилизация феодалитета есть в то же время идеологическая стабилизация феодальной идеологии в новых условиях, менее всего превращающих эту идеологию в абстракцию. Поклонники республиканских писателей древности и в то же время «ревностные борцы за новый абсолютизм» (Меринг), преисполненные языческими воззрениями, и активные борцы против монахов и пап, в то же время «остающиеся решительными католиками, совершенно правильно сознавая, что полный разрыв с папством изолировал бы их от стран, наиболее развитых в экономическом и умственном отношении» (Меринг) — люди барокко и не думают «бытовать в наджизненной атмосфере», как это полагает (и совершенно бездоказательно) Федоров-Давыдов. «Люди барокко», т.-е. социальный суб'ект стиля барокко, живут и действуют в рамках тех общих социальных условий, а именно условий величайшего конфликта феодальной системы и капиталистических отношений, усваиваемых самими феодалами, какие сделали неизбежным тот «идеологический» факт, что за самой отвлеченной рационалистической и повышенно возбужденной в своих формах архитектурной концепцией выглядывает совсем недвусмысленно физиономия житейски тщеславного и, несомненно, «официозного» монаха или кардинала, весь просвещенный рационализм и абстрактное миросозерцание которых сводится к грубейшей эксплоатации всех и всяческих духовных и материальных ресурсов для поддержания высоты своего общественного «престижа». Но понять и раскрыть это противоречие, гуманистической тонкости и дифференцированности сознания, с одной стороны, и элементарно-житейской и сеньориальной односторонности представления, с другой,

и именно так, как они выразились в архитектуре, музыке и живописи барокко, можно только при условии отчетливой марксистской постановки исследования реальных общественных корней как самой классовой идеологии, так и ее выражающего художественного стиля. Здесь лишний раз подтверждается ленинское требование определения предмета изучения, в данном случае искусства, в его внутренно-противоречивой природе и его общественно-практической установке, включая всю практику в полное определение предмета и рассматривая свой об'ект как определенную форму классового антагонизма.

Таким образом, задача марксиста-искусствоведа показать социально-экономическое происхождение стиля не может быть выполнена без раскрытия диалектической природы стиля, как определенного результата противоречивой общественной практики класса.

На самом деле, уже в том, что мы видим в самой барочной архитектуре, мы можем заметить определенную диалектичность. Мы видим смелую, энергично-выраженную тектонику архитектурного организма, всю пропитанную антитектоническими декоративными тенденциями. Это в равной мере относится к пространству, которое то стягивается, то разбрасывается, то ведет нас в глубь соборного нефа, то готово обрушиться на нас и втянуть в бесконечность эллипсоидального или круглого купола. Координация пространственных направлений в барокко одновременно и ясна, и непонятна. Пространство развертывается одновременно и как измеримый об'ем вместилища, предназначенного для человека, и как внеобщественный безмерный, супернатуралистический космос «чистой» пространственной стихии. Именно так постигается конфликт четких и элементарных геометрических пространственных комплексов, сводимых к простейшим стереометрическим фигурам и им противопоставленных сложнейших пространственных операций и перспективных ухищрений барочного стиля, конфликт, которым неизменно проникается и зритель, не могущий не заметить кривых барочных фасадов, изогнутых лестниц, сокращенных в профилях окон, арок, раккурсов, парящих в облачных и лучезарных высотах плафона фигур и порывов, уводящих в зеленеющие дали живописно-разрисованных стен. Весь пространственный мир барокко так же тяготеет к зрителю, как и покидает его, чтоб устремиться в «иные миры», в безбрежные дали затеривающихся где-то холмов, равнин и облачных сфер. Весь пространственный мир барокко воспринимается как неумолкающий кругооборот пространственного движения от центра к периферии и от периферии к центру. Но весь этот космос существует лишь микрокосмически. Природа повергается к стопам человека, растворяющегося в природе. Божество очеловечивается. Человек становится богом. Об этом говорит барочная живопись с ее единой точкой зрения, и типичные для барокко функции глубинного и вертикального пространства, которое создают направления широких маршей величественных лестниц, ансамбли фасадов, декорированных с исключительным расчетом повысить впечатление об'ема и величины масс здания, композиции внутренних зал с их ложными проспектами и строгим убранством, оттеняющим потенции иллюзионистического порядка. Знаменитая «живописность» барокко есть утверждение человеком самого себя господином вселенной, что и выражено всей этой пространственной эксцентрикой. В противоположность готике, которая уходит от земли и, отрешаясь от действительности, дает обет смирения и верности небу, барокко утверждает свою власть над действительностью, и само небо гигантским раккурсом низводит на землю («Страшный суд» Микель Анджело). Так хочет феодал, усваивающий капиталистические отношения и третирующий старую правовую норму во имя признанного им права частной собственности. Он уже считается, и не может не считаться, со своим «я», приобщенным к товарно-денежным отношениям и вкусившим приятный плод разрешенного отныне земельного оборота. Это «я» диктует ему волю и власть, в основе которой противоречие его общественной системы, его общественной практики. Но это же «я» диктует ему жажду видеть мир у своих ног. Отсюда новое понимание пространства и новая рецептура техники зодчества.

Вопрос: «как все это сделано?» не находит себе ответа, если нашим исходным пунктом будет допущение какой-нибудь одной стороны, одной установки барочной архитектуры. Барочная архитектура, взятая в ее целом, есть нагляднейший пример своеобразного переплетения (органического, разумеется) таких начал зодчества, которые, казалось бы, должны были уничтожить друг друга, а между тем, ведут к органическому синтезу. Только внутренняя природа этого синтеза противоречива. Мы видим мудрую расчетливость во всех этих арках и перекрытиях, напряжение которых согласовано с длиной пролета в гораздо бо́льшей мере, чем это знала греческая или романская архитектура. Гигантские члены соборов барокко находятся на фундаменте, момент наибольшей нагрузки которого влечет за собой страшное напряжение в материале (не превышая, конечно, предела допускаемого). В то же время система нагрузочных и разгрузочных арок приводит к эффектам дематериализации внутренних масс. Внутри барочного собора, свободное пространство которого охватывает зрителя, не приходит в голову мысли о пятикратной степени прочности барабана купола, или о колоссальном давлении плафона на краевую стенку. Дело в том, что пространство развертывается в его сложных направлениях, и масса сама кажется возбужденной. Она уже не является более мертвым весом, происходящая работа ведет к динамике, и мы одновременно наблюдаем и бо́льшую легкость, и бо́льшую напряженность материи камня. Более того, техника, с помощью которой добиваются «динамичности» архитектурной массы, состоит также и в том, что работа, производимая частями барочного здания, выявлена как ради конструкции, так и ради показа декоративных пространственных эффектов. Если мы возьмем какую-нибудь барочную лестницу, например, королевскую лестницу Ватикана (Scala regia) со всеми ее утонченными перспективными ухищрениями и деталями ионического ордера, на которые был такой мастер Бернини, то мы можем удивляться положенному в ее основу расчету привнести в конструкцию деконструктивную тенденцию и все ради того, чтобы представить относительно узкий и короткий проход как «емкий и глубокий». Пространственный эффект, достигаемый таким способом, не изменяет, однако, того обстоятельства, что производимая несущими частями работа незначительна, удельная работа лестницы (собственный ее вес и возможная нагрузка) невелика, и рабочая единица об'ема не превышает средней нормы. В чем же дело? В том, что общественная идеологическая природа стиля барокко ведет последний к внутреннему конфликту конструктивного принципа. Динамика барокко в такой же мере построена на технике конструкции, как и на декоративной показной стороне оформления. Организация архитектурной массы осуществляется в диалектической форме, путем переключения в рационально-организованную, высоко-дифференцированную техническую базу элементов фантастико-иллюзионистического порядка. Поскольку дело идет о законченном архитектурном организме, эта внутренняя двойственность остается скрытой. Великолепная лестница палаццо Барберини в Риме, лежащая на двойных тосканских колоннах и восходящая частью овальными поворотами, есть такое же единство, как не менее грандиозные системы Декарта и Лейбница. Но ее эффект обусловлен синтезом взаимоисключающих черт. Масса здесь уравновешена не ради конструктивных целей, не ради экономии материала, об'ема и удобства пространственного пути, а для того, чтобы создать мраморную симфонию мерно пульси-

рующего ритма маршей, переходящих друг в друга, т.-е. ради декорации [1]). Рациональный технический расчет необходимо переходит в «иррациональный» эффект чувства, где уже руководствуются математикой и механикой совсем другого порядка. Сама «динамика» есть выражение и своеобразный атрибут этого внутреннего исконного конфликта.

В еще бо́льшей мере выступает перед нами природа этого стиля, если мы спросим себя, куда он развивается. От Антонио да Сангалло и вплоть до Франческо Борромини (ум. 1667 г.) идет непрерывная линия. Экономия и четкость тектоники, с одной стороны, и исключительное богатство декоративной выразительности, с другой,—таков путь. Но уже в зрелых творениях Борромини, например, в палаццо Одескальки (1665), где весь нижний этаж играет роль цоколя, а два верхних представляют собой одно целое благодаря единству восьми мощных пилястр композитного ордена, мы убеждаемся, что тектоника массы не стоит на первом месте и обнаруживается с помощью чисто-внешних приемов. Барокко господствует над массой с помощью живописной,—иллюзионистической в своем предельном смысловом значении,—манеры. Известная маленькая церковь с. Карло алле Кватро Фонтане в Риме (1640—1667) является своего рода архитектурной манифестацией эстетики барокко. Она утверждает право кривой изогнутой линии быть красивой, разрешает деформировать основные линии здания. Тем самым она создает нового кумира—живописность. Ведь именно этот классово-идеологический конфликт приводит к тому, что в архитектуре вместо благоустроенного, годного для жилья, дома ренессанса желают иметь величественный образ здания, в котором хотя и неудобно жить, но можно поразить и ошеломить посетителя всей этой импозантной и напыщенной каменной театральностью, тяжелой игрой масс, сложными направлениями внутреннего пространства и эффекта света и тени. В пластике ясная, аналитическая и полная пытливости и чувства реального, мысль органически сливается с бравадой великолепного театрально-возбужденного жеста (Микель-Анджело не об'ясним без учета этого противоречия, лежащего в основе его творчества). В музыке мы имеем беспрецедентный для всей предшествовавшей истории этого искусства случай расцвета церковной музыки на основе рациональных светских «проклятых и осужденных церковью» приемов письма. Мессы Палестрины, в этом отношении, вершина того редкого политического такта, какой мог проявить Ватикан в искусстве в условиях новой классовой кон'юнктуры. Осужденный буллами пап контрапункт и свободные модуляционные планы, звучащие по-«светски» для слуха католика, и уже начинающий себя знать септаккорд в гармонии,—все было амнистировано ради музыки, так же хорошо оперировавшей антифонным пением с его требованием равновесия двух хоров (Лассо!) и последними новшествами упрощенного голосоведения, кристально чистого по ясности своей гармонизации, как и, в еще бо́льшей мере, способной само небо свести на землю, как говорили про могучие хоры Орландо, или грешного человека поднять до рая, как это указывалось в отношении музыки «мессы папы Марчелла». Таков был стиль. Папа и кардиналы, санкционировавшие светскую ориентацию на звуковое изобилие и богатство нового стиля—классический пример своеобразной утонченной классовой демагогии в музыке. Но само внутреннее противоречие такой художественной политики вполне закономерно. Именно оно и дает жизнь и движение художественным формам. Направление общего потока римского барочного искусства не вызывает сомнений. Живописность и динамическая насыщенность на

[1]) Взгляните на проекцию опорной площади этой лестницы. Рабочий эффект ее не зависит от промежуточных стадий, а от основных координат работы. Между тем, эффект лестницы — сам пространственный путь ее, сама звеньевая последовательность ее маршей. Уже в такой детали сказался характер стиля и его диалектическая природа.

основе все еще ясной конструктивности остаются господствующими. Пьетро да Картона (1596—1669), с его вызолоченными лепными переплетами рамок плафонов в дворцовых залах, Карло Райнальди (1611—1691), давший нам примеры редчайших нюансов игры свето-тени на фасадах зданий, или Карло Фонтана (1634—1714), увековечивший себя в прихотливых «сметанных фасадах» Сан-Марчелло и Сан-Тринита,—вот люди, бывшие виновниками всей пышной, временами разнузданной, оргии церквей и соборов барокко!

Но и они сами были лишь агентами другой неизмеримо более сильной воли. «Оргия» имела свои законы. Совершенно ясно, что ни один из художников барокко не был марионеткой, бездушной и автоматичной во всем, что она делает. Активность позднего Бернини, Микель-Анджело и Палестрины не лишена большого принципиального смысла. Они были творческим авангардом своей общественной группы. Острие их меча разрубило торс старого провинциально-буржуазного кумира Ренессанса. Но и они были об'ектом более широких социальных условий. Поэтому они несли в себе противоречие породившей их общественной системы. И чем сильнее работала их мысль, тем ярче проникало в сознание все скрытое, внутренне-противоречивое, что было в жизни. Не находясь в одной социальной прослойке и на одном этапе развития своего класса, они под разными углами видели и поняли жизнь. Для одного это был просветленный взлет к небу, для другого—жуткое наваждение. Но все они родились в одной общественной системе и на одной исторической орбите, одного класса. Понять их можно, только исходя из общих противоречивых условий данной общественной системы.

Наблюдаемый нами своеобразный конфликт в художественной практике барокко, в его игре пространством, светом и массой, а равно и не менее своеобразный конфликт в технических установках зодчества, с их противоречиями конструктивной целесообразности и внеутилитарной показной стороны архитектурного организма—все это целиком и полностью об'ясняется идеологической природой самого общественного суб'екта стиля барокко, т.-е. феодальной знати, существующей в условиях исторического конфликта между ростом капиталистических отношений и старым «феодальным» способом производства. Это противоречие общественной системы проникает культурную практику феодальной аристократии и определяет как ее регрессивный политический характер, так и ее идеологию, сочетающую достигнутое ренессансом «гумманистическое», «просвещенное» отношение к действительности, с властной деспотической концепцией мира, скованного волей феодальных сеньоров. Политический смысл такого миросозерцания есть необходимое условие и для понимания эстетики искусства барокко. Барокко, как стиль, утверждает такое отношение к действительности, какое сочетает принцип личной власти и принудительного «сервилизма» для массы индивидов с самой широкой и просвещенной «самодеятельностью» индивида в пределах данного типа культуры. Барокко существует не для невежд и неграмотных холопов провинции, а для культурных господ и князей церкви и мира сего, об'ектом власти которых являются классы, уже достигшие значительного культурного уровня. Но как далек от истины исследователь, поясняющий, что «культура барокко должна была стать культурой, об'единяющей в себе противоречивые стремления денежной аристократии и аристократии родовой» (Федоров-Давыдов). О таком об'единении, конечно, не может итти и речи. Скорее, если и оставалось у аристократии еще место для чего-либо, то для ненависти. И уже ближе к истории оказывается цитированный нами автор, когда он указывает, что «родовая аристократия, постаравшаяся в условия жизни денежной аристократии, стабилизировала свою былую военную суровость», и что этой «стабилизацией римского общества

мы и склонны об'яснить стабилизацию римской архитектуры» (117). Но эта неплохая мысль, брошенная мимоходом, остается невскрытой и—увы!—даже не координированной с другими заявлениями. Между тем, если и недостаточно оперировать с «военной суровостью», а равно и не совсем удачно говорить о «родовой аристократии», как об общественном суб'екте стиля барокко, то все же здесь мы как будто подходим к сути вопроса. Отсутствие правильной методологической установки помешало выяснить и Гаузенштейну и следующему за ним нашему русскому искусствоведу социологу истинный смысл и подлинную историческую природу их об'екта. Оба они не поняли противоречивость политической установки стиля, рассчитанного на интересы церковных и светских сеньоров, усваивающих себе нормы капиталистических отношений, и остающихся об'ективными носителями старого способа производства, а отсюда на идеологическом фронте, неминуемо выполняющих регрессивную функцию, а именно, под флагом широчейшего и решительного культурного насаждения начал нового отношения к действительности, более того, под флагом массового культурного строительства, на самом деле парализующих и нейтрализующих действительно революционные завоевания ренессанса. Оба они не вскрыли общественную направленность барочного стиля, представляющего собой шаг назад по сравнению с достигнутым буржуа ренессанса мироотношением, а равно и по сравнению с буржуазной художественной концепцией, лишь суммирующей в формах искусства огромный идеологический опыт реалистического и относительно-об'ективного познания действительности, опыт, которым обладает буржуазный художник XV века, и который выступает в XVII веке уже парализованным и переведенным на язык «феодальной ограниченности», на язык католической догмы и феодального сервилизма с его этикетом приемов и постоянной мечтой о власти, которая может сказать про себя «divide et impera». Наконец, оба они не определили идеологическую сущность художественных форм барокко, как форм, пронизанных одним током жизни и лишь под разными углами осуществляющих одну волю, один аспект жизне- и миропонимания. Барокко не выступает у них как целостная картина мира. Вся совокупность высказанных наблюдений и мыслей (большинство их заимствовано у Вельфлина, Ригля и Шмарзова) лишь пестрит глаза своей мозаичностью и еще дальше уводит нас от фокуса, куда сводятся все лучи, все сияние муз и граций барочного Парнасса—психику феодального аристократа эпохи контрреформации. Таков печальный результат попытки социологического анализа стиля, попытки, построенной на ложной методологической основе, осуществленной ложными средствами и не имеющей, по существу, действительно-марксистской цели, к которой стремились бы исследователи. Так обрекает себя на неудачу недиалектик, в руках которого сама история превращается в зыбкий и неустойчивый образ, в тень тела, сплошь и рядом карикатурно искажающую очертания и облик самого тела, самой действительности.

Следует особо отметить, что недиалектик, несмотря на осведомленность относительно самих фактов социальной художественной истории, однако, не в состоянии монистически подойти к пониманию возникновения и развития данного явления. Так, Гаузенштейн и Федоров-Давыдов, несмотря на то, что первый обратил внимание на идеологию и мир форм духовной жизни XVII века, а второй поставил своей задачей выяснить социально-экономическое положение римского барокко, в действительности оба, говоря по правде, в своих определениях ушли лишь немного дальше Кон-Винера, который в своей истории стилей писал: «Носителями стиля барокко являются преимущественно церкви и дворцы», а вместе с развитием барокко, «который культивирует религиозные идеи и любит репрезентативные монументальные постройки, церковь снова становится в центре архитектуры». Если

эти архипустые фразы, решительно никуда не ведущие нас в понимании действительной исторической закономерности возникновения и развития данного стиля, считать социологией, то надо, по справедливости, одним из социологов барокко признать и Кон-Винера, а за ним может быть и Ригля, об'яснившего революцию внутреннего двора барочных зданий из закономерности служебной функции этого же двора, и Бриггса, и Вельфлина, и Шмарзова, у которых нет недостатка в признании целого ряда «факторов» (идеологии контрреформации, бытовых навыков, идеологических установок и пр.). С этой же мерой измерения Воррингер и Лео Фробениус, четко наметившие влияние материальной среды на искусство,—несомненные марксисты. Здесь социологи-эмпирики, позитивисты-социологи и формалисты-социологи или «форсоцы», как их называют, сближаются с «чистыми» западными искусствоведами. Вильгельм Гаузенштейн протягивает руку Вильгельму Феге, Максу Дворжаку, а наш русский социолог не совсем не согласен с принципом спецификации изучения искусства, выдвинутым Недовичем. Всех их об'единяет механистичность. Им всем недостает революционной диалектики.

В чем это видно?

Повторяем, именно в том, что им всем недостает революционного понимания классовой борьбы, ведущей развитие надстройки искусства, именно в том, что они, говоря о связях искусства с жизнью, в действительности остаются на точке зрения теории факторов. Здесь еще не преодолена механистичность понимания общественной закономерности развития искусства. В чем она заключается? Закономерность развития художественного процесса есть общественно-идеологическое противоречие исторического суб'екта данного искусства, устанавливающее тип художественной практики. Но, повторяем еще раз, это не одно и то же, что сообщение о различных классах, сосуществующих и взаимодействующих друг с другом, как это имеет место у представителей описательной «идеографической социологии». Так факт борьбы аристократии и буржуазии еще не определяет стиля. Его определяет противоречие определенного класса. Так же думал и Энгельс, когда писал: «Если гегелевское «учение о сущности» низвести до плоской мысли о силах, движущихся в противоположном направлении, но не противоречиво, то, во всяком случае, лучше всего уклониться от такого-либо применения этого общего места». Таким образом, если мы определим художественный процесс как общее выражение в формах искусства определенного типа классовой психики на данной ступени общественного развития класса, то задачу изучения художественных форм этого процесса мы можем определить как отыскание той исторической закономерности, какая противоречия классовой идеологии данного периода закрепляет в материальных формах искусства и делает ведущим началом художественной практики как в ее основной идеологической установке, так и в подчиненных последней различных опосредствованиях и связях с остальным миром надстроек.

Вместе с тем, если художественный процесс тем отличается от других видов идеологической практики, что в нем общественный человек организует свое сознание, свою психику не с помощью общих представлений, как, напр., в религии, науке, философии, а с помощью единичных конкретных художественных образов, то противоречивое существо его психики и его идеологии, являющейся содержанием художественной практики, остается тем, чем оно остается и в других надстройках—общей для всех них общественной предпосылкой. Понимание этой последней вне ее внутренне-противоречивой природы ведет к одностороннему и ложному пониманию

самой природы надстроек, выступающих как различные идеологические формы деятельности общественного человека. Как особенные формы общественной идеологической практики, все они могут быть определены только путем раскрытия общей для них их внутренне-противоречивой идеологической природы. В разных формах они несут одно и то же общее им противоречие своего социального суб'екта. Благодаря именно этому обстоятельству все они, несмотря на индивидуальность своей организации, несмотря на специфические свои признаки, имеют один фокус—единство общественной практики своего социального суб'екта. Наконец, именно здесь мы видим с полной определенностью, что особенность конституции художественной надстройки, то, что называется спецификумом искусства—организция общественным человеком своей психики с помощью конкретных чувственно-непосредственных образов, закрепляющих в материальной форме психику общественного человека—этот специкум искусства есть лишь особенное проявление противоречивой общей жизнедеятельности общественного человека, направленной на организацию своего как духовного, так и материального бытия. Здесь так же, как и везде, оправдывается ленинское требование видеть в единичном общее, а в понимании общего усматривать проявление единичного. Здесь также, именно потому, что мы рассматриваем художественный процесс как внутренне-противоречивую идеологическую практику, мы видим, что его противоречие—лишь единичное выражение общих протиоречий, а идеологическая форма художественной практики есть лишь специфическое проявление общей закономерности развития общественного человека. Именно здесь оправдывается наше определение основной закономерности художественного процесса как специфической идеологической формы тех противоречий, какие несет в себе породившая его причина—общественное развитие самого общественного человека, его единственного исторического носителя и творца.

III.

Таким образом, поскольку мы рассматриваем художественный факт как единство противоположностей, а сам художественный процесс как противоречивый процесс, мы стоим уже твердо на почве диалектического материализма. Однако это не значит, что этим исчерпывается все. «Диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии, самодвижении»,--говорит Ленин в цитированном уже выше замечании. Момент развития, момент самодвижения абсолютно неизбежен, как предпосылка научного исследования предмета. Поскольку нашим об'ектом является искусство, это означает требование рассмотреть развитие художественного процесса как идеологическое выражение развития борьбы классов в классовом обществе и развития общественного человека в бесклассовом обществе. Это требование определяет сам путь и характер движения надстройки искусств в целом, как развитие института идеологического воздействия, механизм которого обладает неизменно и постоянно теми или иными общественно-практическими тенденциями, и именно в силу этого является постоянно изменчивым и развивающимся общественным фактором, в каждый данный исторический период определенно ориентированным общественным идеологическим агентом в борьбе классов. Общее методологическое и практическое значение такого понимания развития каждого общественного явления было определено еще Лениным. «Маркс всю цену своей теории полагал в том, что она по самому существу своему теория критическая и революционная. Это последнее качество действительно присуще марксизму всецело и безусловно, потому что

эта теория прямо ставит своей задачей вскрыть все формы антагонизма и эксплоатации в современном обществе, проследить их эволюцию, доказать их преходящий характер, неизбежность превращения их в другую форму...». Вскрыть все формы антагонизма, т.-е., следовательно, и искусство—идеологическую форму классового антагонизма. Но не только вскрыть, а и «доказать их преходящий характер, неизбежность превращения их в другую форму». Исходя из этой предпосылки, искусство, как и всякое другое изучаемое общественное явление, прослеживается не как самостоятельно развивающееся, а именно как развивающаяся идеологическая форма классового антагонизма.

Закономерность развития художественного процесса получает свое реальное историческое выражение в факте борьбы стилей, агентов идеологического самоопределения определенных общественных групп, в конкретных художественных формах, организующих свое общественное бытие и тем самым выступающих по отношению к другим социальным группам, как социально конституирующиеся классы, стремящиеся овладеть всем полем всеми формами социальной практики (а не только искусством, как обыкновенно думают). Художественная практика, выступая как искусство, выступает в то же время как выражение общей социальной установки своего общественного суб'екта,—например, социально-политической, моральной установки, как справедливо отметил Келлес Краус, вслед за Плехановым, Мерингом, Бухариным и Фриче. Эта закономерность развития художественного процесса определяет закономерность возникновения новых художественных формаций и разложения старых как процесс борьбы различных видов идеологической практики исторических общественных групп, степень силы и мощности, а также характер которой (практики) прямо пропорционален степени силы и социальной значимости ее общественного суб'екта. Так общеизвестный факт «отставания надстроек» в действительности есть факт отношения определенной формы общественной практики к определенному социальному суб'екту, степень социальной мощности которого еще не достаточна, чтобы изжить данный тип общественной практики, и таким образом не достаточно, чтобы вытеснить одну из форм общественной деятельности враждебной ему социальной группы, надстройку которой он считает «отстающей». Так пролетариат в России еще не преодолел мелкобуржуазных форм в искусстве и мелкобуржуазного рассуждательства в научных дисциплинах, например, в том же искусствознании. Считая их «отстающими» от революции, забывают, что они и не думают отставать от своего социального суб'екта. Вот почему Ленин так подчеркивал эту, казалось бы общеизвестную и врагам и друзьям, мысль о необходимости «вскрывать все формы классового антагонизма и доказать их преходящий характер». Применительно к искусству это означает, что мы должны считать первостепенно важным, чтобы марксист, поняв закономерность развития художественного процесса, как борьбу самоопределяющихся в формах искусства общественных групп, сделал для себя абсолютно невозможным понимать общественную природу данной художественной формации как чего-то неподвижного, обреченного на существование своего рода исторического истукана, монолитной каменноподобной социальной колоды. Каждая общественная художественная формация развивается, прогрессирует, регрессирует или уничтожается вовсе, чтобы снова возникнуть, когда придет время, потому что ее внутренняя противоречивость как общественного явления определяет ее движение. Толстой выродился в социального дегенерата. Фарфоровая пастушка рококо разбилась и была раздавлена деревянным башмаком парижского булочника. Небесные хоры месс Палестрины отдали свою радость и силу под'ем придворной оперетке, чтобы «возродиться» в просветленной музыке пантеистического Баха, но возродиться уже без старой феодальной

католической интонации, по-протестантски, «буржуазно». Художественная практика знает одну форму существования—движение, один закон—свою внутреннюю противоречивость. Вот почему возникновение каждого нового исторического типа художественной формации есть результат разложения старой, есть новая форма новых общественно-идеологических противоречий на другой основе. Развитие художественной формации, имея свои этапы, периоды стабилизации, укрепления своей социальной мощи и распадения, разложения ее, в каждый данный момент своего исторического пути имеет своей конечной основой развитие и движение определенных общественных противоречий, природа которых является ведущим началом идеологической практики общественного человека, социального суб'екта художественной надстройки. Если речь идет о кажущемся «мирном состоянии» художественной практики, то, в действительности, это лишь показывает, что эволюция противоречий данной художественной практики не превратилась в революцию. «Антитезы» еще находятся в равновесии [1]). Возникновение же нового типа общественной художественной формации означает, что внутренние противоречия общественной практики уже не могут существовать в старой форме, которая теперь является их оковой, и которую они разрушают. «Антитезы» взаимно пожирают друг друга. Победа одной дает новый тип общественной практики, новое искусство (это не всегда ars nuovo), нового человека. Наступает тот период развития художественного процесса, который, следуя терминологии Гегеля и Энгельса, следует назвать отрицанием отрицания.

Вот конкретный пример:

Греческое классическое искусство века Перикла, несмотря на все свои реалистические элементы, не является еще реализмом в смысле позднейшего искусства. Так называемая «струя реализма» (это слово, как известно, буржуазными писателями никогда не расшифровывалось) в греческом искусстве идет еще от вазовой живописи последней четверти VI века, от реалистических установок Мирона и мастеров олимпийских фронтонов (Пеония, Алкамена?). Непосредственно после кимоновского затишья (70-е годы) она быстро идет в гору, чтобы достигнуть зенита в величавых импозантных композициях Фидиевой школы, этого мудрого компромисса реалистического анализа и отвлеченного идеализированного синтеза. Реалистичность понимания художественного образа живет еще только как антитеза, как скрытое внутреннее противоречие, замеченное, кстати сказать, до сих пор только привилегированным меньшинством знатоков искусствоведов. Откуда же берется такая внутренняя антитеза? Из общих противоречий самой общественной практики. Торговый капитал, разлагающий все более и более натуральное ойкосное хозяйство эвпатридов, дифференцируя последних со времени Солона (594 г.) на две четко определившихся фракции, формируя вместе с тем целый ряд новых общественных элементов (напр., πάρακοι жителей прибрежья, о которых говорит Аристотель в своей афинской политии),—тем самым определил всю общественную практику греческого общества как антитетичную. Уже в выступлении демиургов в аграпаге 593—592 гг., а также в факте давления группы метеков на государственное строительство Коринфа времени Периандра, приведшем к небывалым ограничениям аристократических форм быта (не говоря о репрессиях по отношению к знати в другом истмийском государстве, Мегаре),—мы можем видеть историческое подтверждение тому, что новая художественная

[1]) В настоящей статье категории тезы, антитезы и синтезы берутся нами как структурные элементы данного типа общественно-художественной формации. Однако категории эти могут применяться и для раскрытия механизма общей исторической динамики различных типов общественных систем (ср. схемы Энгельса). Но это уже—предмет другого исследования.

антитеза уже здесь получила свое боевое крещение. За ней стоит новая социальная группа.

Художественно-идеологическая антитеза возникает с первым раскатом надвигающейся социальной грозы. Именно в Коринфе, в период тирании Периандра, мы имеем смелое течение в вазовой живописи, которое сквозь архаическую условность дает проникнуть в мир форм этого искусства новому пониманию человека и его образа. Вдруг откуда-то берутся смелые уверенные, полные движения линии, жест, позировка, вместо вневременного статического состояния художественного образа намечается кратковременная, почти моментальная иногда действенность его, масса получает активность за счет момента инерции, ритм линий и композиции, ранее размеренно медленный, усваивает теперь остроту и ускоренность пульса, пространство теряет свою планиметрическую плоскостность, приобретает некоторую глубину переднего плана и относительно сложные направления, организующие эту «малую глубину» (например, лаконская чаша Аркезилая). На ряду с изображением Аристократа на колесницах или вооруженного Гоплита появляется образ рабочего, горожанина, мастера из простонародья (типичны здесь «пинаки», расписные блюда Тимонида). Но вот что важно. Все это появляется, во-первых, в «малом искусстве», т.-е. на вазах, статуэтках и проч., т.-е. не на арене большого общественного радиуса, как, например, в музыке, архитектуре или круглой пластике, а, во-вторых, все эти элементы реализма в действительности не опровергают и не преодолевают архаической традиции, а существуют внутри ее на протяжении десятков лет, не разрушая ее сразу, а лишь дифференцируя в целом ряде отношений. Но они растут вместе с ростом общественных противоречий. Как антитеза они борются с идеалистическим каноном и изнутри видоизменяют его. Они—оружие борьбы новой, растущей общественной группы.

Так все бо́льшая эмансипация торговой фракции, уже в концу VI века приведшая к решительной реформе помещичьего аграрного строя (конституция Клисфена 510 г.), дает сильный импульс к укреплению новых элементов в идеологии прогрессивных аристократических кругов. Дело идет не только о демократизации нравов, что и было в период свержения тирании и непосредственно перед персидскими войнами, а о развитии нового взгляда на жизнь. В идеологии противоречия «тезы» и «антитезы»—аграрной помещичьей идеологии и разлагающих ее элементов торгово-денежного мышления—растут.

Весь период от Солона до Фемистокла надо рассматривать как поступательное движение в области сознания. На ряду со старым понятием лучшего права как юридической «ассигнации» господствующего класса решать вопросы публичного права (литургии, права на имя, принадлежность к фратриям, досудебным порядком (так называемой диадикассией) возникает понятие абсолютного, равного для всех права. Возникает новое понятие хозяйственной техники, напр., понятие кредита, товарищества в целях торговли, векселя, нового понятия ипотеки, которые входят в жизнь лишь под сильнейшим влиянием островной политики Писистрата, поднявшего торговое значение Афин. Возникает новая мораль: здесь благотворное влияние оказало, на наш взгляд, орфическое движение (что, впрочем, еще нельзя считать вполне доказанным), способствовавшее росту наиболее общих представлений о долге, обязанности, грехе, искуплении и, по существу, как мы полагаем, боровшегося с родовой традицией местной знати, отстаивающей, под маской старого понятия родовой власти и долге, свои чисто-классовые интересы. В этот период под влиянием этих же общих условий, т.-е. увеличения общественной роли и удельного веса торгово-аристократических элементов—вспомним, хотя бы Алкмеонидов, принимавших большую роль в культурной жизни Аттики,—художественная практика развивается в направле-

нии все бо́льшего и бо́льшего увеличения «реалистического момента» в искусстве. Всякий, кто имел случай познакомиться с такими фигурами в пластике, как мальчик и старик на восточном олимпийском фронтоне, или с живописью Эвфрония и молодого вазописца Дуриса, а также таких мастеров, как Колхос, Пистоксен, тот может судить, насколько уже реалистическое понимание жизни проникло в область искусства. То, что называется идеализированным жанром, несмотря на всю свою обобщенность, однако в полной мере воспитывало в себе элементы чисто-реалистического анализа. Почти научная строгость в наблюдении, любовь к анатомии и проч. идут именно отсюда. Так крепнет новая либерально-аристократическая программа искусства Мирона с ее динамическим, хотя еще все-таки отвлеченным, пониманием художественного образа. Отсюда идет вся мироновская эстетика и ее канон: быстрое почти моментальное движение, дифференцированная масса, лаконичный и острый ритм. Но снова мы видим, что все это существует лишь как подчиненная, зависимая сторона данного искусства в единстве с совершенно противоположными и все еще господствующими началами художественной практики. Так самая смелая трехчетвертная постановка фигуры и раккурс в пластике, в период господства земельно-аристократической партии (напр., весь кимоновский период), не образуют еще свободы пространственного оформления, еще связаны малой глубиной архаического рельефа, не знают еще третьего измерения. Аристократическая консервативность видит опасность в изображении человека вне схемы, вне традиционной нормы и продолжает усиленно рекомендовать благообразность пространственного порядка, ограничивающую все индивидуалистическое «слишком свободное» в толковании художественного образа. Мирон исходит не из кубических представлений круглой пластики, а из двумерной схемы. Несмотря на сильное применение contraposto и расчленение масс,—на это намекал уже Квинтилиан в своем суждении с дискометателе Мирона, все же они не преодолевают плоскостности основных пространственных направлений. Точно также и архитектура, несмотря на широкое применение колоннады и расчленение на отдельные планы внутренности храма (целлы), тем не менее не развивала мотивов глубинного пространства, как это я показал в одной из своих работ, и даже вертикаль и вертикальное пространство сводила к плоскости, не развивая его направлений. Глубинное вертикальное пространство вплоть до архитектуры творений Иктина живут в подчинении у плоскости. Этого требует представление о той идеальной ἑστία и дворянском этосе, какие когда-то еще Ницше назвал «прямоугольно телом и душой», т.-е. существованием в строгой норме, в строгом правиле. Греческий храм—это материализированное представление об этом существовании. Таким образом, начиная с нового понимания самой жизни человека, его требований, правовых, моральных и эстетических и кончая ростом экономического распада аграрного строя греческого патрициата, мы имеем одну картину роста противоречий общественной практики аристократического общества. Художественная практика, отражая эти противоречия, отстаивала и задерживала падение не только уже ставшей консервативной идеологической надстройки, она вместе с тем защищала интересы социально-политического господствования земельной аристократии, являясь ее духовным щитом, теми латами духа, в броню которых облачали себя приверженцы ареопага и дворянского ойкоса. Во всех формах общественной практики мы имеем рост противоречий как проявление борьбы антитез единого, пока еще целостного, обществеонго строя.

Но рост противоречий в определенный период развития данной художественной формации ведет к скачку. После периода реакции, результата временного возвышения старой знати во время персидских войн и небывалого расцвета торгово-денежных отношений, старая социально-политическая обо-

лочка дает трещину. Эфиальт первый наносит удар своей реформой ареопага и совета (457 г.). Аристократическая торговая фракция держится некоторое время на гребне исторической волны. Наконец, последняя ее захлестывает. Напрасны все усилия: провокация пелопоннесской войны Периклом, политическая демагогия и шовинизм вождей, экономический тормоз правительственной надстройки. Время аграрно-торговой аристократии исполнилось. Время Фидия, Софокла, Полигнота кончилось. Старая художественная надстройка держится теперь только исторической инерцией общественной практики. Она уже «отстающая» надстройка. Требования афинского «бюргера», богатого метека, и его миросозерцание разбогатевшего выскочки, парвеню и рабовладельца стали в центр идеологической практики. Плебей плутократ,—вспомним трапезитов Формиона, Пассиона, спекулянтов Андокида, Клеона, Демона,—вот новый суб'ект нового искусства.

Когда-то это была «антитеза» аристократии. Была внутри ее. Классовым суб'ектом растущей торговли была все-же аристократия. Брат аристократки-поэтессы Сапфо возил вино в Египет. Семейство именитых Алкмеонидов не гнушалось собирать барыши от торговли. Не только одни метеки, но и такие «частные люди», как Солон, сначала собирали в копилку звонкую и тяжеловесную эгинскую и эвбейскую монету, а потом пускали ее в оборот. Философы типа Фалеса, улучив время, умели зафрахтовать корабль или арендовать маслобойни на случай урожая маслин. Но основное в культуре античной «классической» культуры было (вплоть до века Перикла) натуральное хозяйство, дворянская аристократическая практика и идеология. Сам Перикл, если и покупал продукты на рынке, то кормился от возделывания земли. Софокл в эпоху расцвета финансовой политики Афин воспел, однако, в своем «Эдипе Колонском не монетарные спекуляции на Агоре или в Пирее, но поэзию благословенного края помещиков, с ручьем Кефисом, с рощами и лугами. Аристократия четко противопоставила свою идеологию и свое искусство не только горожанину, но и земледельцу бедняку. Так если над всей поэзией и витает еще образ матушки земли, то это не тень захудалого хлебороба из каменистой деревушки Аскры, тень Гесиода. В статуях если и есть еще сходственность солдата из агроиков (крестьян), но основное—благородство аристократического олимпийца. В храме все еще приспособлено к культу крови и родовой жертвы аристократического ойкоса (попрежнему синонима γενος'α) И, повторяем еще раз, поэтому именно классический грек не знает динамики в толковании массы и пространства, не знает всего смысла третьего измерения и боится хроматизма и колоратуры флейты и вокализа, усматривая в них враждебное для себя начало жизнепонимания.

«Век Перикла»—век классики—был лишь временем стабилизации противоречий аристократии перед кризисом. Но наступает кризис. Антитезы поглощают друг друга. Представители натуральной экономики побеждены торговым капиталом, разложившим их и отнявшим у них власть. В новой общественной практике, начиная с последней четверти V века, мы имеем отрицание самой природы былой борьбы, старых отношений, старых противоположностей, имеем отрицание отрицания, т.-е., иначе сказать, отрицание противоречия старой общественно-художественной практики и установления нового типа качественно иной художественной практики с другим ее ведущим началом и другими внутренними противоречиями.

Мир киренаиков, школы Праксителя, Менандра и Паррасия совершенно иначе социально ориентирован. Его нельзя рассматривать как антитезу классики Софокла, Фидия, Сократа и Полигнота. Он есть новый синтез—форма общественно-идеологического самоопределения другого класса, поставившего в центр своего миросозерцания совсем иные кумиры, другую веру и идеалы. Рассматривать новый стиль гедонистически вкушающего жизнь аполитичного обывателя и плутократа можно лишь как качественно иной, как другой обще-

ственно-идеологический тип искусства. За это говорят все его детали, начиная с новой тематики (нагая женщина в пластике, например, и жанровая установка в литературе) и кончая новым пониманием техники оформления. Только теперь греки узнали, что такое свободное трехмерное пространство в архитектуре, энгармонизм в музыке и пользование тембром и хроматикой в инструментальных и вокальных сюитах, распевавшихся на симпосиумах (пирушках). «Денежный мешок» хочет пожить. Его сословные представления иные, иные вкусы и бытовые привычки. Вот почему гетера играет центральную роль в искусстве—вспомним Фрину как модель Афродиты Праксителя. Вот почему светотень вдруг приобретает решающее значение в проблеме пластической формы. Нужна красота, доведенная до гурманства складками платья, изгибом плаща, кривой линией бедра, мерцанием влажных мраморных глаз (τρόπος Скопаса), женственностью линий рук и ног и мягким шелестом замедленных ритмов. Профессиональные приемы художественного мастерства, введение новой трактовки волос, новых поворотов головы (в ¾), изменение нюансов фактуры в сторону смягчения обработки поверхности мрамора,—все это вытекает из качественной новой общей установки художественной практики и лишь подчеркивает, что мы имеем дело с новым художественным синтезом нового класса.

Новый тип художественной практики по отношению к предшествовавшему выступает как активно вытесняющий и разрушающий его, как художественная практика нового класса, постепенно перерабатывающая элементы старого типа и ассимилирующая их этим своим активным воздействием и переработкой. Начиная с последней четверти V века новый стиль—новая художественная практика,—внезапно самоопределяясь, начинает функционировать, как культурный сепаратор нового типа общественной формации, новой общественной системы, нового класса. Неверно сказать, что он родился незаметно или внутри форм старой формации. Определенность, с которой новый тип искусства выступает на подмостки истории, весьма бесцеремонно и решительно опрокидывая старые кулисы искусства, производя иногда впечатление античного бога, спустившегося на машине, не подлежит сомнению. Мы можем точно датировать момент, когда Эврипид кощунствует в своей «Медее», заподазривая святость самих олимпийцев, художник Деметрий вдруг обнаруживает желание изображать лысые головы, морщинистые лбы и обвисшие животы, а музыканты позабывают благопристойность размера и интонирования, возмущая таких завсегдатаев пирушек, как Платон, и, наконец, сами архитектора уже переходят границу монументального принципа классического зодчества, возводя вместо строгих дорических рамок «нарядные шкатулки» (храм Нике Аптерос) на бастионе аристократического акрополя, заставляя своей дерзостью только качать головой старожилов. Это—последняя четверть V века. Если раньше «реализм» был антитезой, то теперь он—теза нового типа, его лейтмотив, рожденный в исторической судороге общественной практики нового класса и без нового класса не могущий быть рожденным вовсе. Но тем самым он уже недруг и враг старого синтеза и самого отношения его противоположностей. Он исторически связан с антитезой этого синтеза только для того, чтобы преодолеть и разрушить последний. Элемент преемственности не создает только отношения преемственности. Связь и характер этой связи—борьба, разрыв, преодоление. Если торговая аристократия в исторической экспозиции своей художественной программы реализму отвела место подчиненного сопровождения ее основной темы—отвлеченного идеализма, то новый человек плебей-плутократ, разрушая такое отношение вещей, разрушал и тот реализм, которым пользовался и практиковал враждебный ему класс. Поэтому мы имеем здесь дело не с высвобождением антитезы, как обыкновенно думают, а также с разрушением ее. И это надо сказать сейчас со всей определенностью. Новый класс не защищает антитезу старого общественного строя, так как на практике это всегда полумера, а преодолевает ее. Возникновение новой художественной практики не есть мирный расцвет антитезы старой художественной практики в новый синтез, а есть полное борьбы «отрицание отрицания», отрицание старого отношения противоположностей, старого синтеза и старой антитезы.

Таким образом, количественный рост общественных противоречий, если и приводит к новому синтезу в искусстве, то это нельзя представить себе в виде общественно-воспитательного, миролюбивого акта старого класса, своей «антитезой» образующего новый вид общественной практики. Новый синтез связан со старым тем, что последний в общественном характере своих противоречий заключал элементы своей гибели, своего разрушения. Так колоссальная декорация, сгорая, оставляет стропила и место для новой. И не только стропила. Своих мастеров, свой цех, которых история заставит писать заново и по-новому. Но эта связь не связь пассивной преемственности, а связь активной борьбы новой практики со старой. Так Пракситель учился у Поликлета, чтоб бороться со своим отцом Кефисодотом, живым рецидивом старых традиций. Так современный теоретик искусства учится у Вельфлина, чтоб бороться со Шпенглером и с самим Вельфлином. Есть ли это отношение преемственности? Только в одном отношении: элементы «старого стиля» науки искусства новая практика не уничтожает совсем, а, разрушая, в то же время перерабатывает и приспособляет их для себя. Формулировать это может быть следовало бы так: новая художественная практика возникает в прерывности со старой и, на основе этой прерывности, разрушая и борясь с отрицаемой ею художественной практикой и ее противоречиями, активно перерабатывает ее.

Обычный способ выражаться, что новый тип искусства рождается и возникает из старого, маскирует этот момент прерывности. И за таким способом изложения истории кроется, в сущности, нечто большее. Скажем прямо: желание игнорировать, даже теоретически, постулат революции—неизбежность скачка и борьбы новой общественной практики со старой. Суть дела здесь заключается в том, что необходимо условиться в понимании отношения тезы, антитезы и синтеза в художественном процессе.

Теза и антитеза в художественном процессе не есть два различных самостоятельных состояния, а синтез не есть переход этих двух различных состояний в единство. Так готика не есть антитеза романского искусства, а ренессанс по отношению к ним не играет роли синтеза. Точно так же архаика, классика и барокко не представляют собой тезы, антитезы и синтеза, как это думают механисты социологии в роде нашего русского теоретика-социолога Федорова-Давыдова. Или в данном нами примере классика Перикла не есть теза, а искусство Скопаса и Праксителя антитеза, а синтез, вероятно, надо будет уже начинать искать в Лисиппе, или в эллинистическом «барокко», или в александрийском «рококо» и т. д. Нет. Так нельзя излагать историю.

Теза и антитеза в художественном процессе есть формы проявления борьбы взаимоотрицающих и исключающих друг друга начал, существующих в единстве художественной практики данного типа искусства. Как формы проявления самого содержания художественного процесса, в его становлении они образуют общественно-идеологический синтез, противоречия которого, по мере своего роста, могут нарушить достигнутое единство и, качественно изменяя сам характер и вид художественной практики, дать новый синтез, заключающий в себе свое новое общественно-идеологическое противоречие. Только сама концепция развития художественного процесса как борьбы и

единства противоположностей «дает ключ к «самодвижению» всего сущего, только она дает ключ к «скачкам», к перерыву постепенности, к превращению в противоположность, к уничтожению старого и возникновению нового».

В конкретной истории искусства борьба тезы и антитезы выражается в форме общеизвестных мнимых «неровностей» и «запутанностей» как самого характера, так пульса и ритма художественного процесса. Такие «критические эпохи», как египетское искусство времени XVIII династии, весь период поздней архаики в Греции, кватроченто в Италии или русское искусство второй половины XIX века—примеры обостренной борьбы антитез художественной практики, выражающейся в самых парадоксальных крайностях, в гротесках формы, в ничем казалось бы не оправдаемых художественно-идеологических скрещиваниях и отступлениях от норм и «канонов». Это всегда, вплоть до сегодняшнего дня, давало писателям самых противоположных лагерей широкий повод говорить об исторических паузах, цезурах и капризных «взлетах» художественного процесса. На самом деле мы имеем здесь дело с обострением внутренних противоречий художественной практики, выражающемся в повышенно-дифференцированных, а потому и кажущихся «крайними» установках художественной практики.

Синтез в истории искусства—это период относительной устойчивости определенного исторического типа художественной практики, когда противоречия общественного суб'екта ее стабилизованы. Но это единство противоположностей, когда они даны в своем «синтезе», как исчезающие, по выражению Гегеля не означают их полного тождества, их примирения или исчезновения. «Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение». Так, совсем по-гераклитовски, писал Ленин. Применительно к искусству, это значит, что художественный синтез не является показателем исчезновения борьбы внутренних антиномий данной художественной формации. Художественный синтез означает, что художественная практика получает такую форму своего исторического становления, что ее противоречивость выражается в относительно устойчивой «сглаженной» форме, как результат длительного равнодействия общественных сил. Синтез художественной практики и есть, говоря словами Ленина, относительно длительная равнодействующая противоречий этой практики, но не есть единство двух разных художественных практик, как это иногда полагают.

«Классический синтез» искусства века Перикла не означал прекращения борьбы внутри данной художественной практики. Идеалиста Фидия посадили в тюрьму за реализм, допущенный им на щите Афины-Паллады. Возвышенный Софокл потрясал сердца политической манифестацией своей партии. Певец «героев», он, в то же время, был певцом сегодняшнего дня политики Перикла. Его отвлеченные трагедии на мифологические сюжеты были агитацией и оправданием вполне реальной тактики «лидера». Протагор, любитель абстрактных спекуляций о свободе, пишет фурийцам их конституцию, защищающую аристократов, и т. д. Таков «синтез классики» греческой культуры. И разрешим себе еще один пример «синтеза».

Возьмем «примиренный с жизнью», «чуждый противоречий» жанр голландского искусства XVII века, с его вереницей бытийно непосредственных образов, с его тучной мирной коровой, ветряной мельницей на взморье, влажным воздухом отдыхающих лагун и полей, поселянином-фермером с трубкой в зубах, за кружкой вина и принаряженной и добродетельной фермершей. Как далеко от истины было бы принять его за безмятежное отражение какой-то исторической идиллии. Исторический процесс еще не создал классовой аркадии, счастливого, чуждого борьбы, существования той или иной общественной группы. Точно также и здесь только повидимому осуществлена та самая «гармония классов», о которой любит поговорить Гаузенштейн или такой мастер на утопические синтезы (напр. социализма и капитализма) как Утиц. В тихом семейном мирке голландских натюрмортов (Stilleben) и пейзажей кроется своя внутренняя драма. Аполитичность и мещанский эгоизм «хозяйчика»—основные противоречия культуры голландского бюргера—в своем равнодействии и «совпадении», как бы сказал Ленин, и дают эту самую гармонию бюргерской идеологии, представленную искусством. Она выражена состоянием «домашнего благополучия» филистера и филистерской эстетикой: «усладой» в картинках с чудеснейшей рыбой, превосходнейшей закуской, дичью, вином, посудой, предельно отчетливо и любовно выписанными художниками. Эта идеологическая идиллия имеет свою трагическую судьбу. Обнищание голландского бюргера, раздавленного абсолютистской экономикой и политикой больших государств, ведет на Голгофу старое «примиренное с жизнью» искусство. Отсюда внутренняя опустошенность старого добряка художника, не знающего, что собственно надо делать теперь. Мучительная беспокойность и смятенность таких «героев безвременья», как Рембрандт. Между тем как только один шаг отделяет разоренного мещанина от счастливого баловня истории зажиточного бюргера «счастливой Голландии». Только один шаг отделяет жуткий, странный и мертвый «супернатуралистический» свет картин Рембрандта от предзакатного, мягкого, желтоватого полусумрака Кейпа — певца прибрежных лагун.

Таким образом синтез в искусстве не может быть познан, как форма практики, не знающая противоречий. Именно потому, что противоречия «совпадают» и равнодействуют друг с другом, и возможно состояние относительной устойчивости, то, что воспринимается как равновесие и гармония практики. Так социализм, сознательно достигая равновесия и относительного тождества общественных противоречий, создает перманентное единство и синтез в общественной практике. В классовом же обществе, именно вследствие того, что «совпадение» и «равнодействие» противоречий не имеет организованной формы, а есть всегда анархический синтез, мы не знаем примера, где бы борьба классов умолкала и в самых гармонических, повидимому общественных формах не проявлялась бы, хотя и в скрытом состоянии. Идеологический синтез в классовом обществе есть латентная (скрытая) форма классового антагонизма. Это относится и к философии и к религии в такой же мере, как и к искусству.

Обобщая все сказанное нами по этому поводу, мы можем сделать два вывода:

Во-первых: теза, антитеза и синтез в истории развития данного типа искусства есть лишь различные, находящиеся в постоянном единстве между собой проявления непрекращающейся борьбы противоположностей художественного процесса.

Теза и антитеза, как форма проявления развития художественного процесса, действенны, поскольку их активность осуществляется одновременно в данном типе художественной практики.

Художественный синтез, как относительное единство и совпадение противоречий, есть особая форма становления художественного процесса, обусловливающая длительность и устойчивость существования определенного типа художественной практики.

Во-вторых: понимание тезы и антитезы в искусстве, как двух следующих друг за другом самостоятельных художественных практик, а синтеза, как нового типа художественной практики, представляющего собой их «единство»—такое понимание—неправильное, недиалектическое понимание действительной природы развития художественного процесса.

Первая точка зрения на развитие художественного процесса высказывается и применяется нами как ортодоксально-марксистская в искусствознании.

Распространенность именно второй точки зрения делает ее особенно опасной, и вот почему. Следуя ей, каждый данный исторический тип или вид (это сейчас не играет роли) художественной практики рассматривают как антитезу другого. Классика будет антитеза архаики, а барокко—антитеза классики и т. д. В поисках синтеза его видят в чем-нибудь «третьем». Так то же барокко оказывается может быть синтезом, так как оно якобы примиряет противоречия буржуазного ренессанса и феодальных тенденций (Гаузенштейн). Наш русский социолог Федоров-Давыдов в своей книге, в специальной главе о диалектике ухитрился синтез увидеть в классике, об'явив без особого колебания архаику и барокко антитезами, т.-е. синтез очутился уже «по середине» и ранее, чем появилась антитеза. «Синтез, возникший без антитезы»—большего теоретического курьеза и произвола, перешедшего в чистое рассуждательство, т.-е. отрыв от изучения реальной истории, трудно найти. Иоффе в своей большой и богатой мыслями работе допустил фантастическую многоплановость и независимость существования разных художественных практик, разных общественных групп, т.-е. попросту «расправился» на скорую руку и наспех с трудностями анализа отношений и переходов их друг в друга, заменив все это универсальной «многопланностью». Иначе сказать, вторая точка зрения признает классовую природу и борьбу разных художественных практик, а также и переход их друг в друга (исключая Иоффе), но толкует их только как противоположности. Будет ли такое понимание художественного процесса диалектическими или это эволюционная теория, изложенная в терминах борьбы разных общественных групп?

Практический совет—лучший ответ на данный вопрос—дал нам Энгельс. В выше приведенной уже цитате он пишет: «Если гегелевское «учение о сущности» низвести до плоской мысли о силах движущихся в противоположном направлении, но непротиворечиво, то. во всяком случае, лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места». Энгельс был прав. Когда мы, например, говорим, что архаическая художественная практика, как «теза», связывает греческое общество с аграрной военноаристократической культурой, а классика, как «антитеза» художественной практики, ведет к новому городскому «бюргерскому» представлению о жизни, то мы, в действительности, не вскрываем еще общественного механизма движения обоих видов художественной практики. не определяем основной закономерности этого движения и разбираем художественный процесс безотносительно к этой основной, его ведущей причине. Точно так же, когда мы говорим, что в конце XVI века готика практически укрепляет идеологическую мощь одной общественной группы, а французский или итальянский ренессанс тоже выполняют по отношению к другим общественным группам, то мы забываем, что общественная закономерность и «суть» социальных функций обеих художественных практик—и той, которая двигает общество вперед, и той, которая двигает его назад—еще не вскрыта нами. Основная причина и закономерность развития художественного процесса еще не определена. А «антитезы» такого типа, вместо того чтобы об'яснять художественный

процесс, подменяют его действительную внутреннюю противоречивость внешними противоположностями, по существу старыми «прогрессом и регрессом». «Диалектическая многопланность», «теза», «антитеза» здесь на деле играют роль гегельянского костюма для эволюционной фразы. Конечно, это исправимо. Стоит только пользоваться революционными антитезами материалистической диалектики, а не эволюционными, механистичными.

Таким образом, вместо отвлеченного и высоко условного понимания триады как «схемы этапов», что позволяло многим исследователям в замаскированной форме протаскивать эволюционно-оппортунистическую теорийку о «периодизации», по Гегелю на словах, а на деле по Спенсеру. Мы подчеркиваем целесообразность иного понимания, а именно понимания исторической антитетики и синтеза в художественном процессе как форм обнаружения классовой борьбы, проходящей определенные фазы. Историческое содержание тезы и антитезы всегда—классовая борьба. За их спиной стоят борющиеся классы. Пути исторического становления искусства как во всех проявлениях его антиномичности, так и во всей его «органической» «синтетичности», как иногда говорят искусствоведы (с легкой руки Вильгельма Гаузенштейна)—всегда остаются путями борьбы различных классовых идеологий.

В приведенном нами конкретном примере из античного искусства с совершенной отчетливостью можно видеть, как одна общественная группа по мере роста своей политической и культурной мощи противопоставляет свое искусство искусству и культуре другой общественной группы.

Торговая аристократия в своей художественной практике оказалась качественно несводимой к искусству консервативных аграрноаристократических кругов. Тем самым, об'ективно, она выступала как антитеза, как «противоположение» архаического дорического стиля. Но, отрицая консервативно-аристократическую художественную программу, она не «снимала» самого отношения противоположностей имеющихся художественных стилей.

Более того, в пределах данного типа искусства она создала художественный синтез на основе своего временного единства с земельной знатью и тем самым укрепила себя в максимально обобществленных формах. И если таковое совпадение противоречий оказалось возможным для VII века между земельной военной знатью и средним классом аграиков (крестьян) на основе их политики притеснения мелких землевладельцев, очутившихся в полной от них зависимости—что в искусстве дало возможность расцвести и укрепиться милитарическому дорическому стилю, в котором и выразился своеобразный лагерный «демократический» синтез культуры греческого средневековья, то для V века временное совпадение интересов аграрной и торговой аристократических «фракций» оказалось реальной базой для другого синтеза—аристократической классики, пропитанной духом либерализма.

Материалист-диалектик только таким образом познает причину самодвижения данного художественного явления, его двигательную силу. Главное внимание устремляется именно на познание источника самодвижения» данной области общественной практики (Ленин). Но источник самодвижения художественной практики лежит как в ней самой, так и вне ее. А именно: в самой художественной практике, как отдельной форме общественной практики в целом и в этом целом общественной практики. Источник самодвижения, а следовательно, и возникновение «синтеза» и нового отношения противоположностей (тезы и антитезы) не об'ясним без анализа связи художественной практики и ее форм со всем содержанием исторического опыта общественного человека. Отдельное и общее снова выступают перед нами. Сама борьба стилей в конечном счете есть выражение борьбы общественных групп внутри данной общественной формации, переведенной на язык отдель-

ного—идеологии, закрепляемой в материальных формах искусства. Их отношение, как отдельных частных единств, есть отношение борьбы. Как мы уже говорили, возникновение каждого вида (стиля) художественной практики есть осуществление прерывности исторического процесса, хотя бы она и совершалась в пределах определенного типа общественной художественной формации. Более того, каждый тип художественной формации есть недруг не только другой художественной формации, но и самого себя, так как хранит в себе свою гибель. Так искусство капиталистической Европы само приготовило себе могилу и воспитало в себе своего могильщика. С этого следует начинать и кончать изложение конкретной истории развития художественного процесса.

IV.

Закон отношения количества к качеству и их переход друг в друга только тогда является и будет являться действительным оружием в руках исследователя-искусствоведа, когда последний связывает его с революционным пониманием художественного процесса как противоречивого и развивающегося скачкообразно. Категории качества и количества, оторванные от понятия противоречивости развития данного процесса, служат не революционному марксизму, а эволюционной теории. Если мы, исходя уже из вышеизложенного анализа развития художественного процесса, попытаемся определить его, применяя к нему данные категории, то наше внимание естественно устремится на момент революционного перехода одного состояния в другое. Для чего нужны категории качества и количества искусствоведу? Чтоб уметь научно выразить и определить как общественную природу эволюционной стадии развития художественного процесса, так и общественную природу революционного скачка в художественной практике. Эта пропись диалектического материализма на деле оказывается в большинстве случаев понятой только на половину. Сам переход количества в качество в конкретной истории искусства некоторые исследователи-социологи толкуют все-таки эволюционно. Почему? Потому, что они отрывают количественную сторону развития от противоречивой природы художественного процесса, от его качественной противоречивости. Смысл применения этих категорий у них сводится к тому, чтоб показать увеличение некоторых черт данной художественной практики. Этим увеличением уже об'ясняется появление новой художественной формации. Спенсер был бы доволен таким об'яснением. Нечто подобное можно встретить у Георга Зиммеля, с его механистической теорией социальной дифференциации, правда, интересной в других отношениях, или у идеалиста Тарда. Но, во всяком случае, у искусствоведа-марксиста изображение развития художественного процесса, только как количественного накопления определенных свойств, означает — увы! — тот самый механистический уклон, против которого борются наши диалектики-марксисты. Надо еще заметить, что «количественник» в искусствознании может и не пользоваться гегелевской терминологией. Но он всегда представляет возникновение новой художественной формации, как увеличение и «завершение» определенной художественной практики. Тем самым он оперирует не с революционной борьбой противоположностей внутри качества данной художественной формации, а ее количественной эволюцией. Например, Гаузенштейн, об'ясняя возникновение барокко, пишет: «Соединение буржуазных энергий с централизованной монархией порождает придворно патетический стиль позднего ренессанса. Этот пафос должен был найти свое завершение. Завершение этого пафоса и есть барокко. Барокко — это попытка возвысить достигнутый в эпоху ренессанса натурализм до нового искусства выражения, сообщить ему эмфаз, душевное возбуждение». Новый стиль трактуется как завершение ста-

рого. Он спускается с высот, достигнутых предшествовавшим, или как с исторического трамплина отталкивается от старого стиля, чтоб самому «возвышаться и завершать». Естественно, что о моменте борьбы здесь нет и речи. Есть только период «органического завершения» и перерождения. В результате новый стиль оказывается сразу рожденным двумя классами и сочетает их энергии, а муза этого стиля сразу сидит на двух стульях. Недаром Гаузенштейн социал-демократ. Перо социал-демократа всегда может легко написать следующее: «В социально-экономическом и политическом отношении барокко — синтез двойной мощи, возникающей из феодального мира: монархии и церкви с развитыми энергиями буржуазии». Здесь верно только то, что барокко не мыслимо без наличия феодального класса и растущих капиталистических групп. Но что синтез его лежит не в «двойной мощи» двух классов, а в социальной практике одного класса, и именно феодалов, со всеми реальными внутренними противоречиями этого класса в период его стабилизации на новой основе, об этом Гаузенштейн не хочет знать. Развитие у него происходит мирно как последний акт исторической драмы, как социальный апофеоз старого класса, великодушно возлагающего корону власти и лавровый венок искусства на голову своего преемника. Это великодушие неизвестно истории. Лавры муз скорее венчают победителя в классовой битве.

С верностью теоретического единомышленника точку зрения Гаузенштейна повторяет нам наш русский искусствовед-социолог Федоров-Давыдов, когда он говорит, что, изучая происхождение барочных форм, он «пришел к выводу, что они возникли совершенно незаметно и органически внутри форм искусства ренессанса, путем количественного накопления характерных свойств последних. В диалектике стилей раннее барокко есть сам себя отрицающий ренессанс. Переход этого количества в качество, т.-е. зарождение нового стиля, происходит тогда, когда северо-итальянские мастера ничинают работать в Риме. Возникновение барокко связано с расцветом Рима после возвращения туда пап». Совершенно последовательное рассуждение для эволюциониста. Приезжают папы, начинают работать северо-итальянские мастера и «совершенно незаметно и органически внутри форм искусства ренессанса» возникает барокко. Характер развития художественного процесса, таким образом, знает лишь те взрывы и скачки, какие вытекают из мирной эволюции и совершаются в пределах данной художественной формации.

В чем здесь ошибка? В том, что возникновение новой художественной формации определено как результат количественного накопления свойств старой формации. Вместо роста противоречий качества художественной практики, ведущего к «скачку», мы имеем механическое количественное накопление тех или иных свойств. Вместо момента перерыва постепенности, как качественного скачка, отрицающего противоположности старой художественной формации, мы имеем «завершение» (Гаузенштейн) или «самоотрицание», взятое как эволюционная противоположность старой художественной практики, двигающаяся в другом направлении, но не противоречиво (Федоров-Давыдов). Это не по Энгельсу, а по Спенсеру.

Однако в чем существо проблемы качества и количества художественного процесса и его развития? Начнем с качества. Качество в художественном процессе есть тип и характер оформленной средствами искусства идеологии общественного человека класса, группы, сословия на данной ступени его общественно-исторического развития. Несовершенства этой формулировки не должны нас смущать. Важно то, что качество художественного процесса не есть сумма технических, профессиональных приемов и в то же время не есть идеология общественного человека вообще. Поскольку мы вводим сюда момент исторической зависимости художественной практики от ее реального общественного суб'екта, мы можем говорить об историческом

типе художественного оформления данного общественного суб'екта на данной ступени его общественного развития, как о качественной величине художественной практики. Сам же момент типизации характера последней можем считать ее собственным, ей присущим качеством. Количество в художественном процессе—это степень насыщенности данного искусства чертами определенного типа и характера, оформленной средствами искусства, психики общественного человека. Вместе с тем, если борьба стилей есть борьба качественно разных художественных установок, за которыми скрыты различные общественные группы, то можно ли выводить один тип искусства, одно качество художественной формации из «количественного нарастания» иной художественной практики другой социальной группы? Конечно, нельзя. А кто это делает, тот сам не подозревает, какую путаницу он вносит в понимание действительного хода искусства. Вот почему мы полагаем, что изображение развития художественного процесса, как смены и борьбы разных общественных качеств художественной практики, можно выразить только путем признания ведущей роли за качеством художественных формаций, за типом художественной установки, который проникает все элементы данного искусства.

Роль количества таким образом не определяется нами как формирующая образование нового стиля, нового качества. Вместе с тем, количество художественного процесса, т.-е. степень насыщенности определенными чертами той или иной художественно-общественной обстановки, не теряет своего чрезвычайно важного конститутивного значения. Количество в художественном процессе показывает степень социальной активности и действенности данной художественной формации. Определяя количественный коэффициент данного стиля, мы устанавливаем идеологическую мощность той или иной социальной группы, степень ее эмансипации от идеологии других групп, в основе которых лежит другое качество, степень влияния ее на мир надстроек, делаем отсюда практические выводы, насколько данная общественная группа тормозит или двигает вперед развитие общественной мысли и культуры, насколько она самоопределилась по отношению к себе самой, насколько она оформилась или деформировалась по отношению к предшествовавшему своему состоянию, определяем таким образом, и только таким, ее общественно-практическое отношение к обществу в целом и к отдельным группам и силу ее общественной тенденции в данный исторический период. Таким образом, мы отнюдь не умаляем роли количества, мы только определяем его согласно истории и диалектического понимания этой истории, а не путем механического перенесения гегелевского термина. Продолжим наш пример с барокко.

Как струя пара действует на холодную воду, так работа Микель-Анджело, Орландо Лассо, Бернини и Палестрины действовали на старую традицию. «Покаянные псалмы» Лассо, барочная месса Палестрины, раб Микель-Анджело и суть новое качество, которое вовсе «неколичественно» и не незаметно возникает как «антитеза ренессансу». Оно есть факт новой идеологической установки определенного класса, в данном случае феодальной аристократии, в условиях развивающегося капитализма. Как новое качество искусства, оно в то же время есть новое качество в обществе, имеющее своего социального суб'екта— причину своего появления. Процесс возникновения такого нового качества нельзя представить себе только в виде количественного изменения в старом стиле. Хотя бы уже потому, что количество художественного процесса при таком толковании выступает совсем не в свойственной ему роли. Оставляя основную решающую роль в развитии художественного процесса количественному изменению «старого

стиля», исследователь тем самым ограничивает себя рамками общественной практики той группы, которая является носителем старого стиля. Правда, бывает еще хуже. Мы знаем социологов, которые развитие искусства представляют в виде абстрактного процесса технических усовершенствований. Так Лю-Мертен пишет, что развитие художественной формы «есть от содержания изолированное, формальное техническое производственное развитие». Но и марксист, представляющий развитие искусства как процесс нарастания количественных изменений в старом стиле, также представляет количество как отвлеченное, оторванное от своей исторической основы количество вообще. И вот почему. Раз границы, смысл, тенденции и ведущее начало борьбы художественных формаций остаются не вскрытыми, то и ведущая роль количества не получает своей качественной окраски. Между тем, если мы ведущую роль в развитии искусства оставим его качественный общественно-практической определенности, а именно, поймем это качество как тип определенной идеологии, закрепляемой в художественных формах, то, без сомнения, мы поймем развитие искусства как смену и борьбу разных типов классовой психики, выражаемых качественно отличными художественными установками. Естественно, что качество в художественном процессе есть тип художественно оформленной общественной психики. Вместе с тем качество не есть нечто застывшее, оно есть единство противоположностей — противоречивое качество. Из роста его противоречий, изменяющего данную художественную практику, рождается новое единство нового качества. Таким образом, количественное изменение не есть все, не есть самое главное определяющее. Основой развития данной художественной формации является сама качественная противоречивость художественного процесса.

Общественная противоречивость идеологии, эстетики, художественного оформления ренессанса определила неизбежность его разрушения и возникновение барокко. Эта революция и эволюция были качественно обусловлены. Это не одно и то же, если мы скажем, что здесь имеет место только «накопление характерных свойств», как выражается Федоров-Давыдов. Не верно также сказать, что мы имеем здесь дело с многопланностью художественных практик, как это полагает Иоффе. Эта многопланность только разрывает (дифференцирует по Спенсеру) художественную практику на ряд автономных планов, из существования которых «выводятся» стили и школы. Вся эта сверхдиалектика механистична и эволюционна. На примере с развитием греческого искусства мы видели, что новое качество—новый тип, вид и род художественной практики—возникают иначе. Во-первых, в прерывности, со старой художественной практикой и на основе этой прерывности, перерабатывая ее. Во-вторых, новое качество не есть антитеза — «отрицание», а есть новый синтез — «отрицание отрицания» старой художественной практики. В-третьих, новое качество не есть результат только «количественного накопления» черт старой художественной практики, а есть результат качественного изменения ее, степень которого (количество изменений) в определенный момент нарушает единство типа художественной практики и определяет возникновение нового единства. Было бы нелепо сказать после нашего анализа, что стиль Лисиппа есть лишь результат количественного накопления свойств классического стиля. Или ограничиться заверением любезного читателя, что, мол, стиль Праксителя и Парасия — это «антитеза» фидиевской школы, и статуя Гермеса возникла как «сама себя отрицающая» фидиева Афина, с помощью того же самого накопления черт своей художественной культуры. Мы уже показали, что дело не в гегелевской терминологии, а в революционном понимании диалектического перерыва постепенности и возникновения нового художественного синтеза. Переход количества в ка-

чество в художественном процессе есть качественный скачок.

Вот почему вместе с тем мы должны признать, что у большинства искусствоведов, не понимающих общественную природу стиля как качественно определенного количества, или, лучше сказать, как определенной качественной величины художественной практики, само понятие количества играет совершенно не ту роль, какую оно получило бы при правильном понимании природы художественного процесса. Количество выступает в них не как качественно определенное количество, т.-е. как степень насыщенности искусства чертами данного стиля, данного типа художественной установки, а как «количество вообще», бескачественное количество, т.-е. на деле как сумма различных приемов художественной техники. Так, когда мы читаем в вышеприведенной цитате, что барочные формы «возникли совершенно незаметно и органически внутри форм искусства ренессанса, путем количественного накопления характерных свойств в последних», то совершенно очевидно, что количественное накопление характерных свойств форм искусства ренессанса может только усилить общественную и художественную эффективность форм данного искусства, а не преодолеть его. Тут-то и совершается таинственный мирный прыжок, эта эволюционно-филистерская «органическая революция» внутри форм данного искусства. Автор хочет сказать, что усиление количества, т.-е. степени мощности данного типа искусства, именно оно его уничтожает. Это не верно. Степень интенсивности и общественной действенности данного типа художественной формации только утверждает качество ее общественно-практической установки. Ренессанс погиб не потому, что он стал таким сильным, что вдруг превратился в барокко. Это теоретическая наивность думать так. Барокко возникает не от избытка сил ренессанса, а вопреки ренессансу, в борьбе с ним, с его силой, разрушая ее и с самого начала противопоставляя себя как новую качественно-определенную величину художественной практики.

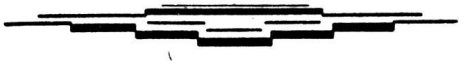
Проблема исторических антитез в процессе становления общественного типа количества не есть проблема превращения или перерастания одной художественной формации в другую, а есть проблема борьбы противоположностей внутри каждой данной художественной формации.

Борьба же сложившихся художественных формаций не может быть изображена в виде процесса количественных изменений одной художественной формации, приводящих к образованию новой. Она есть борьба двух общественных установок различных общественных систем, выражаемая в формах художественной практики. Последняя выступает как отдельное проявление этой общей борьбы двух враждебных общественных формаций и стоящую за спиной общественных форм — враждующих классов. Совершенно ясно, что качество новой художественной формации менее всего является достоянием какой-либо враждебной ему общественной группы. И еще менее оно сваливается с неба в руки своей общественной группы, как это выходит у выше цитированных авторов, полагающих, что качество нового стиля новый класс получает в виде отпущения грехов или культурной амнистии из рук старого класса. Здесь следует еще раз подчеркнуть наше выше нами сформулированное положение, что отношение качеств новой и старой общественно-художественных формаций есть не только отношение преемственности. Новое качество в художественном процессе, т.-е. новый тип художественной практики, возникает, как только экономические противоречия общества сделают неизбежным появление новой социальной группы, которая, самоопределяясь в социально-политическом отношении, начинает стремиться к культурному самоопределению. Что это не всегда можно с полной точностью определить, это мы знаем еще из указаний Маркса и это оправдывается в исто-

рии искусства. Например, момент художественного самоопределения ремесленников в раннем средневековье, демоса в Греции в клисфеновскую эпоху, торговой буржуазии в Центральной России в 1-й половине XVI века и т. д. Но это не означает, что возникновение нового типа художественной практики надо об'яснять как-то иначе. Надо только правильно учесть момент революционного выступления определенного класса в области культурной практики. Учесть момент разрушения старого качественного единства художественной практики и возникновения нового единства. Отсюда наша формулировка. Новое качество, возникающее в художественном процессе и выраженное новым типом художественной практики, есть конечный результат роста противоречий внутри качества старой художественной практики. Вместе с тем это есть единичное проявление общественной практики нового класса на данной ступени его общественного развития. Понимая искусство, мы понимаем и сами общественные отношения, и обратно. Следовательно, есть только один путь исследования и определения движения и смены одних художественных формаций другими — рассмотрение их как особенное проявление общественного развития определенных исторических групп.

Так же думал и Ленин, когда указывал, что «исправление, изменение общественных отношений разумеется возможно, но возможно лишь тогда, когда исходит от самих членов этих исправляемых или изменяемых общественных отношений». На место conflicting dogmas (спора, столкновения догм, теорий), — писал Маркс в 1868 году в письме к Энгельсу, — мы поставим conflicting facts (столкновение фактов, действительных отношений) и реальные противоположности, которые составляют их скрытую подоплеку». Еще менее допустимо выводить появление нового типа и характера художественной практики из борьбы идеологических надстроек, или из материальных профессиональных моментов, как это иногда выходит у «производственников», сверхматериализирующих развитие художественного процесса. Напомним слова Владимира Ильича: «причина, по мнению марксиста, не в политике, не в государстве и не в обществе, а в данной системе экономической организации». Таким образом, подытоживая наше рассуждение, суть вопроса можно сформулировать следующим образом. Возникновение качественно новой художественной формации выражает собой не количественное изменение общественной активности старой художественной формации, изменение действительно происходящего, но факт борьбы ее внутренних качественных противоречий, рост которых и уничтожает в определенный момент старое качественное единство и создает новое. Далее, количественное изменение происходит не в одном типе художественной практики, а в обеих борющихся между собой общественно-художественных формациях, показывая степень общественно-идеологической активности и мощности каждой из них. Таково отношение барокко к ренессансу, лишь постепенно преодолевающему художественную практику последнего. Таково же отношение классицизма времени Давида к художественной практике рококо. Количество нового стиля художественной формации растет уже на основе данного, ей присущего качества, тогда, когда общественный человек уже имеет определенный тип художественного оформления своей психики. Наконец, следует заметить, что проблему скачка — перерыва постепенности в развитии художественного процесса, именно вследствие неправильного понимания отношения количества к качеству — также толковали неправильно. Из вышеизложенного видно уже, что скачок в художественном процессе — это не скачок в химическом или физическом процессе. Скачок в искусстве — это длительное во времени общественное самоопределение и формирование нового исторического типа художественной практики. Если проблему периодизации в художественном процессе, — конечно, не так, как она поставлена

у Пиндера, Роденвальда, идущих здесь в сущности только за Вельфлином,— перевести на язык диалектики, то мы будем иметь дело не с «годами рождения» или с «веком смертных», т.-е. с 75-ю годами, а может быть иногда и со столетием. Например, периоды возникновения стиля в эпоху древнего царства в Египте, или возникновение романского стиля в раннем средневековье. Возникновение определенной художественной формации есть хронологически переменная величина и не может быть определена заранее. Но, во всяком случае, она только по аналогии может быть сравнена с моментом возникновения определенного нового физического или химического состояния. Правильное понимание момента прерывности (скачка) в художественном процессе есть понимание его как относительно длительного исторического периода образования нового общественного типа художественной практики, нового стиля художественной формации. Наконец, следует отметить, что из вышеизложенного следует также и то, что мы не можем считать правильным то почти что традиционное понимание отношения проблемы качества и количества к проблеме антитезы и проблеме прерывности (скачкам), по которому антитеза в художественном процессе каким-то образом есть лишь выражение количественных изменений тезы, внутри которой она паразитически существует, а скачок есть эмансипация этой же фантазии, но только по милости тезы, на «количественном иждивении» которой существовала эта удивительно революционная антитеза. Эту поистине мюнхгаузеновскую теоретическую путаницу мы позволим себе не разбирать сейчас, оставляя за собою право еще раз вернуться к этой проблеме. Изложенная нами точка зрения ясна, и она не расходится с философской линией диалектического материализма. А это самое главное.



Рефлексология или психология.

Мы не останавливались бы так детально на этих азбучных для всякого материалиста истинах, если бы в наше время это положение не подвергалось всякого рода сомнениям и оговоркам, даже со стороны тех, кто именует себя материалистом и марксистом.

Чарановский, из статьи в «Под Зн. Маркс.».

И. Курманов.

I.

Под этим заголовком в №№ 9—10 журнала «Под Зн. Марксизма», за 1928 г., помещена статья Р. Черановского. Содержание статьи говорит о том, что спор по основным методологическим вопросам психологии между психологами-марксистами и рефлексологами, далеко еще не снят с повестки дня. Правда, годы борьбы прошли не напрасно: во всяком случае наши противники с видимым уважением стали относиться к основоположникам марксизма и в связи с этим исправлять кое-что в своих обобщениях. Конечно, этого мало, но и это уже некоторый шаг вперед, ибо и формальное приближение к марксизму все же есть приближение.

Наиболее типичным представителем «рефлексологического марксизма» после Струминского мы считаем Р. Черановского. В ряде своих работ и в последней статье в журнале «Под Зн. Марксизма» он довольно ясно определил свои методологические позиции. В настоящей статье мы и попытаемся ознакомиться с его взглядами по имеющимся у нас материалам.

Тов. Черановский в отличие от многих других близко к нему стоящих, которых он, однако, выделяет в особую категорию «ретивых рефлексологов», обнаруживает большую терпимость в отношении к основным положениям марксистской психологии. На первый взгляд кажется, что между ним и марксистами-психологами, по основным вопросам психологии, не существует больших разногласий. Он как будто признает все, за что боролись представители марксистской психологии: «существование сознания», «его своеобразие», «его несводимость к движению материи», «социальный фактор», признает и считает «одним из основных факторов науки о поведении». В части оценки методов он также очень осторожен и, во всяком случае, диалектику считает основой познания. Словом, он признает все, что завоевано марксистами-психологами в течение нескольких лет, и что уже нельзя не признать, ибо иначе это будет старо и автор рисковал бы остаться за пределами научного внимания.

Однако все эти признания сделаны для того, чтобы на деле проводить совершенно другое: чтобы основное сделать второстепенным, совокупность заменить частью; словом, он ставит своей задачей реконструировать сложившиеся методологические основы марксистской психологии путем производства переоценки ценностей.

Автора, повидимому, совершенно не удовлетворяет то, что и как признано психологами, работающими во главе с Корниловым, в соответствии с основными положениями марксизма. Поэтому вместо того, чтобы разрабатывать и оплодотворять общепризнанные марксистами-психологами принципы, он пытается дать новую интерпретацию признанным фактам и по-своему представить известные положения Фейербаха, Маркса, Энгельса, Плеханова и др.

Тов. Черановский начинает свою интерпретацию с основного вопроса философии и психологии, именно, с психофизической проблемы. Прежде всего он считает, что основоположники марксизма и их последователи не ошибаются, когда признают: 1) «существование сознания», 2) «его своеобразие», 3) «его несводимость к движению материи» («Под Знамен. Марксизма», стр. 199). Он также совершенно согласен с их общим положением о примате материального над психическим. «Это положение диалектического материализма,—пишет он,—целиком совпадает с тенденциями современного естествознания, точно так же утверждающего функциональную зависимость явлений сознания от состояния тела, и в особенности нервной системы» (Там же, стр. 200). Работы Леба, Павлова, Бехтерева, Джемса, Кеннона ясно говорят об этой зависимости. «Единственно, в чем лишь грешат представители естествознания, это механическое перенесение законов физики и химии в область более сложных явлений (особенно социальных) без учета качественных особенностей более сложных сфер бытия. Не эти физико-химические законы играют основную роль в жизни «высших сфер» бытия, но специфические для них» (Там же).

После этих всем известных положений тов. Черановский вносит и свою лепту в область решений этого основного вопроса. Как и всегда в таких случаях, дело начинается с уточнений и маленьких поправок. «Уточним теперь вопрос о роли сознания в нашем поведении,—пишет он.—Если сознание есть лишь внутренняя сторона физиологических процессов, и если физиологические процессы развиваются по своим собственным материальным законам, то ясно, что сознание не играет никакой самостоятельной роли в нашей деятельности. Точнее выражаясь, его роль состоит лишь в констатировании известных фактов. В так называемых произвольных действиях и решениях роль его совершенно та же, как и в действиях непроизвольных» («Под Зн. Маркс.», стр. 200)... «Мы вынуждены... признать наличие полной пассивности сознания» (Там же, стр. 201). Сознание — «эпифеномен»,— таков первый вывод, совершенно ясно сделанный Черановским.

Нет особенной надобности доказывать, что такой вывод с точки зрения марксизма является и новым, и неожиданным. Фейрбах, Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин и др. в своих теоретических суждениях по этой проблеме не дают ни малейшего основания притти к такому решению вопроса. В самом деле, если бы было не так, то стоило ли им так много говорить и писать о таких явлениях, которые ровно ничего не могут ни прибавить и ни изменить в процессах окружающей их действительности? Между тем, для т. Черановского даже нет и сомнения в том, что они решали данную проблему именно так, как он представил ее в своих уточнениях: «Мы не останавливались бы так детально,—пишет он,—на этих азбучных для всякого материалиста, истинах, если бы в наше время это положение не подвергалось всякого рода сомнениям и оговоркам даже со стороны тех, кто именует себя марксистом и материалистом» («Под Знам. Маркс.», стр. 201).

Предчувствуя известные возражения со стороны тех, кто не согласится зачислить психическое в эпифеномены, Черановский сам себе делает это возражение и победоносно расправляется с ним. «Среди других чаще встречается так наз. «аргумент от эпифеноменизма» (Там же, стр. 201).

«Если сознание не играет никакой роли в нашем поведении... если оно есть просто эпифеномен, то почему оно существует? Не должно ли оно исчезнуть, атрофироваться у живых существ, как атрофируются у них при отсутствии упражнений ненужные органы? Между тем, можно констатировать, что с развитием органического мира и, в особенности, у человека сознание играет все большую роль» (Там же, стр. 201).

Вопрос, над решением которого не мало первоклассных мыслителей ломало себе головы, оказывается очень простым: «Обратим наше внимание на то, что все эти возражения имеют глубоко антропоморфный и телеологический характер. Почему мы обязательно должны признать целесообразность существования свойства материи, именуемого сознанием, в то время как мы давно отказались от вопроса об изначальной целесообразности всех других свойств? Сознание существует—и мы вынуждены принять этот факт, выясняя его природу, но не ища обязательной целесообразности» (Там же, стр. 201). «Непространственное сознание не может изменить движения ни одного атома пространственной материи». «Свойство материи не может влиять на деятельность носителя этого свойства». «Сознание в нервно-физиологических процессах играет пассивную роль протоколиста-наблюдателя» (Там же, стр. 202).

Итак, перед нами, как это очевидно, не уточнение, а совершенно новая мысль автора, который по-своему ставит и разрешает проблему. Конечно, нет надобности говорить о том, что это по существу энчменизм в новой форме. Ниже мы и попытаемся это показать.

Прежде всего, излишне обращаться к истории и показывать, насколько не нова мысль, высказанная Черановским. Пред нами книге Ле-Дантека — «Познание и сознание» (перевод Базарова, Спб., изд. 1911 г.). В этой книге знаменитый биолог, в сочиненном им диалоге между «Традицией» и «Мерой», вопрос «о сознании эпифеномена» развивает с изумительной ясностью. Мы увидим далее, что соображение Черановского есть не более, как неполное и плохое издание идей Ле-Дантека. «Мера» показывает «Традиции», что сознание не есть самостоятельная субстанция, способная определять ход материальных процессов. Действительно, с точки зрения идеалиста, признающего психическую субстанциональность, признать непрерывность содержания материального процесса, т.-е. безусловную применимость закона сохранения материи и энергии ко всем формам материального бытия, значит признать сознание эпифеноменом.

Возражая «Традиции», «Мера», выражающая взгляды Ле-Дантека, говорит: «С об'ективной точки зрения — отражение (речь идет о резонирующих вещах, о их взаимоотражениях. *Н. К.*) есть все-таки нечто,— сознание же — ничто. Мы не знаем ни одного об'ективного свойства, которое бы не играло известной роли в системе материального равновесия, следовательно, ни с одним из этих свойств не можем мы сравнить сознание, которое не играет в мировом равновесии никакой роли» (Ле-Дантек, «Поз. и созн.», стр. 34). Другими словами, слова Ле-Дантека означают, что если бы с об'ективной точки зрения мы констатировали что-то в системе материального равновесия и назвали это что-то сознанием, то тем самым мы бы сказали, что сознание есть движение, ибо всякое об'ективное свойство вещи есть та или иная форма проявления движения в том или ином отношении к другим вещам. Однако известно, что основоположники марксизма стояли на точке зрения признания единства психического и материального, а не тождества их. Формула Фейербаха гласит: «Я не суб'ект и не об'ект, а суб'ект-об'ект, единство мышления и бытия».

На вопрос своего оппонента: «Если бы все существа сохранили свои об'ективные свойства и утратили свойства сознавать себя, то в мире решительно ничего не изменилось бы» Ле-Дантек отвечает: «Я сам некогда

употреблял эту формулу (а теперь, два десятка лет спустя, ее употребляет тов. Чераковский), но она представляется мне неудовлетворительной». — Почему неудовлетворительной? Тов. Чераковскому необходимо запомнить ответ на этот вопрос: «Абсурдно предполагать, что вещи устроены иначе, чем они устроены в действительности» (Там же, стр. 35). И на второе возражение того же самого свойства Ле-Дантек отвечает «Традиции»: «Само собой понятно, что вы придете к нелепым утверждениям, раз вы отправляетесь от посылки, что вещи не таковы, каковы они в действительности» (Стр. 36). И несколько дальше: «Исходя из нелепой гипотезы, вы, разумеется, легко получите нелепые выводы. Раз сознание существует, мы не имеем права предполагать, что оно не существует или существует иначе, чем в действительности. Вы злоупотребляете неудовлетворительной формулой, назначение которой — выразить лишь одно: что сознание не имеет об'ективного значения, и что, несмотря на это, конечное об'ективное изучение живых существ возможно. Мы отнюдь не в праве предполагать, что сознание не существует; мало того, мы можем надеяться, что, сопоставляя наши суб'ективные и наши об'ективные данные, мы сумеем в конце концов узнать, какие именно явления сопровождаются и какие не сопровождаются сознанием» (Стр. 38. Курсив наш. *Н. К.*).

Мы сознательно цитируем Ле-Дантека, ибо его терминология, во-первых, более точна; во-вторых, он несравненно более тонкий мыслитель, чем люди, уточняющие марксизм в области психологии; в-третьих, мы его цитируем там, где он повторяет давно известные истины, установленные основоположниками марксизма. Тов. Чераковский, в своих уточнениях неплохо повторяет внешние особенности аргументов Ле-Дантека, отставая от него в понимании вопросов по существу. Вообще же говоря, Ле-Дантек далеко не достиг методологической ясности и точности в постановке интересующего нас вопроса, сравнительно с тем, что мы имеем, например, у Фейербаха.

Расхождение между нами и тов. Чераковским,— расхождение между марксистами-психологами и наивными психологами-рефлексологами,—в этом вопросе состоит в том, что мы признаем не только реальность сознания, но и его об'ективную значимость, тогда как они, признавая факт существования сознания, считают его эпифеноменом по существу. Для нас об'ективная значимость сознания, выражена в своеобразии действия тех высокоорганизованных материальных форм, которые сопровождаются этими суб'ективными состояниями, и мы, рассматривая всякий процесс, как он есть, во всей его всесторонней целостности, не можем сказать, что этот же процесс остался бы тем же, если бы мы реально удалили из него что-то его составляющее. Мы и представить этого не можем, ибо это была бы фантазия, а не научное мышление. Повторяю: об'ективная значимость суб'ективного выражена в своеобразии действия тех материальных форм, которые сопровождаются внутренними суб'ективными явлениями. И, наоборот, суб'ективные явления, в свою очередь, есть одна из форм специфического выражения об'ективного своеобразия. Речь, следовательно, идет о двух формах выражения определенным образом организованной материи.

Какой смысл имеют заверения Чераковского о том, что он принимает положения Плеханова, где последний говорит о психическом, как о внутреннем состоянии движущейся и определенным образом организованной материи?

Итак, ошибка тов. Чераковского состоит в том, что он противопоставляет свойства, особенности материальных форм этим же формам в их действительной целостности. Он не понимает, что материя, ее сущность, выражается в бесчисленных свойствах и вне их существует только как абстрактная реальность.

II.

Можно, пожалуй, подумать, что философские откровения Р. Чераковского не связаны с другими его работами, имеют чисто-случайный характер и скорее являются выражением его большой невинности в вопросах, уточнением которых он занялся. Однако это не так.

Нет сомнений, что в основе ошибочных философских изысканий Чераковского и ему подобных психологов лежат две непосредственных причины: во-первых, человек, которого они изучают, т.-е. бесконечно-сложная и непревзойденно-трудная проблема, и, во-вторых, их собственная методологическая слабость, домашняя философия, не позволяющая им подняться на такую высоту, чтобы увидеть действительную сложность об'екта, перед которым они стоят. Согласно Марксу и Энгельсу человек в своем типично-человеческом, в отличие от типично-животного, прежде чем что-нибудь делать, или на что-нибудь воздействовать, проектирует свои предстоящие действия в мысли, а потом регулирует и контролирует отдельные акты своего поведения, соответственно созданному в мысли проекту. Этот процесс иной раз в отношении его сознаваемости сильно упрощается. Однако от этого не изменяется принципиальная постановка вопроса. «Внутренний контроль», т.-е. определяемость отдельных актов поведения со стороны высших его целостных форм, не снимается и в формах их бессознательного выявления. Разница лишь в том, что здесь мы имеем более упрощенные, постоянные схемы отношений к более постоянным и часто повторяющимся моментам во внешних условиях, в силу чего эти отношения становятся прочными, устойчивыми и не нуждаются в коррективах и дополнениях со стороны сознательных, менее устойчивых, более подвижных процессов. Но стоит измениться внешним условиям, как бессознательные акты становятся подконтрольным сознательным процессом и создаются условия для возникновения какой-то новой целостной системы актов. Здесь, следовательно, мы имеем дело с особого рода структурами преднамеренных действий, для которых характерной является та внутренняя связь между вошедшими в структуру компонентами, от которой зависят последовательность и характер выявления актов поведения во времени. Само собою разумеется, что последняя форма включает в себя первую и является высшей формой поведения. Однако «законы рефлексологии» заставляют по Чераковскому построить другую схему, что лучше всего выясняется на избранном им же примере человека, намеревающегося пообедать в столовой. Пусть тов. Чераковский сам расскажет нам, как это делается по законам рефлексологии: «Проходя по улице, я вижу вывеску: «Столовая». Этот раздражитель заставляет меня сделать несколько шагов в его сторону и находить себе подкрепление в новом раздражителе низшего порядка — дверь в столовую. Этот же раздражитель заставляет меня сделать движение открывания, что приводит к лицезрению кассы и к последовательным действиям, результат каждого из которых является раздражителем для нового действия, пока я, наконец, не получаю блюда и не удовлетворяю свой аппетит» («Под Знам. Марксизма», стр. 208). Перед нами не структурная реакция, а цепочка равнозначных, механически спаянных друг с другом рефлексов. Таково последнее достижение науки о поведении человека по «сватательной методике» Чераковского. Далее, мы с нею познакомимся еще ближе. А пока обратим наше внимание на следующее: тов. Чераковский совсем не напрасно дал себе труд доказать, что психическое — эпифеномен. «Из всего сказанного выше,— пишет он,— вытекают и определенные методологические следствия для науки о поведении» (Там же, стр. 202). В самом деле, раз факты сознания есть не больше, как эпифеномены поведения, то мы должны сосредоточить свое научное внимание не на суб'ективных пере-

живаниях, а «на внешнем поведении живых существ» (Там же, стр. 202). Это необходимо еще и по следующим причинам: 1) «Факты сознания имеют ту особенность, что они доступны исключительно лицу, наблюдающему их. Будучи прекрасно известны каждому на самом себе, они совершенно не поддаются единовременному наблюдению нескольких человек и, таким образом, не обладают «социальной наглядностью». Между тем эта «социальная наглядность» составляет характерную черту всякой науки». 2) «Кроме отсутствия социальной наглядности, факты сознания отличаются к тому же чрезвычайным непостоянством, быстрой изменчивостью, непрочностью и неуловимостью» (Стр. 205). Во втором выпуске «Вопросов науки о поведении ребенка и взрослого», в редакторском введении (Чарановский является редактором этих выпусков), затрагивая эти же вопросы, он пишет: «Вот почему наука о поведении изучает в первую очередь внешнее поведение человека (двигательное, речевое), а не отражение этого поведения в сознании (стр. 4). «Мы полагаем,— заключает он,— что именно эта точка зрения ближе всего соответствует точному смыслу марксизма...» (Там же).

Итак, из всего сказанного мы могли бы сделать вывод, что Чарановский предлагает отбросить те методы, с помощью которых психологи пытаются установить действительные связи суб'ективных переживаний с соответственными формами об'ективного поведения, и остановиться на разборе его методологических позиций. Однако, если бы мы сделали так, то он в ответ на это мог бы привести нам массу цитат из своих же собственных произведений и показать, что он, как и всякий марксист, не болеет односторонностью. «Говоря принципиально, раз мы не отрицаем существования сознания, наличие которого каждый может констатировать в себе, мы не можем отрицать и правомерности самонаблюдения. Факты сознания есть факты действительности; а если так, то их можно наблюдать и изучать. Нет такой области, которую отказалась бы осветить своим факелом наука» («Под Знаменем Марксизма», стр. 205. Курсив наш. *Н. К.*). Оказывается, «определенные методологические следствия» Чарановского до сего времени не были принципиальными и из них «не следует, однако, что психология как дисциплина не может существовать» (Там же, стр. 210). Наоборот, «психологическую интерпретацию актов поведения человека мы считаем вполне законной» («Вопросы о поведении», вып. II, стр. 4). Значит, «психология как дисциплина» не только может, но и должна существовать. Это следует запомнить.

А вот и еще: «Придавая огромное значение идеям, сознательности масс, революционному энтузиазму, марксизм все же рассматривает эти факты не как самостоятельные величины, а как зависимую функцию материального (главным образом экономического) бытия» («Вопросы науки...», вып. II).

Судя уже по этому и по ряду других мест, которые нет надобности приводить, у Чарановского не мало найдется контраргументов. Поэтому мы займемся предварительно этими контраргументами, ибо они являются типичными и по характеру, и по ценности. Начнем с последней фразы: Чарановскому должно быть известно, что ни один марксист не говорил не только о самостоятельности психических величин, но даже и о самостоятельности самого экономического фактора, который, как известно, в свою очередь, зависит, например, от географической среды и в известной степени — даже от идеологических форм. Вообще же говоря, в марксизме является элементарной истиной, что нет самостоятельных явлений, а есть только явления, включенные во всеобщую связь. Другое дело, когда говорят об относительной самостоятельности и о степени и характере зависимости этих явлений. Но отсюда еще далеко до эпифеноменов. Однако раз Чарановский пришел

к определенному выводу и признал психические явления эпифеноменами, то спрашивается, какой имеется смысл говорить о значении идей и о самодеятельности масс, революционном энтузиазме, если они с его точки зрения ровно ничего не прибавляют и не убавляют в процессах окружающей действительности. Ответ совершенно ясен: Чарановский маскирует свою домашнюю философию марксистской фразеологией. Вот еще яркий пример, показывающий это: «Сознание лишь констатирует изменения во внешней среде и в самом организме, протекающие по законам, прежде всего, физики и химии, а затем биологии и социологии» («Вопросы науки о поведении», вып. II, стр. 4). Не правда ли — все учтено? Ничто не упущено? Своеобразие высших нервно-психических процессов, за что боролись марксисты и с чем согласился в начале Чарановский, как видно, у него выглядит довольно своеобразно. А между тем, ведь совершенно известно, что ни один подлинный марксист не заявлял, что изменение в самом организме протекает, прежде всего, «по законам физики и химии, а затем биологии и социологии». Тов. Чарановский должен признаться, хотя бы из уважения к великим основоположникам марксизма, что это его специфические откровения.

Далее, мы видели, что тов. Чарановский не отрицает возможности изучать психические явления. И что в своей статье, давая схему отделов науки о поведении, он отводит для этих эпифеноменов особое место — «психологию в своем чистом виде» («Под Знам. Маркс.», стр. 214). Когда тов. Чарановский предлагает выделить в особый отдел «чистую психологию», то он должен иметь в виду, что такая дисциплина, с точки зрения марксизма, должна отвечать строго-определенным требованиям, именно: 1) факты, полученные этой дисциплиной с помощью ее методов, должны характеризоваться необходимым минимумом достоверности; 2) что этот минимум должен быть не меньше того, из которого можно делать научные выводы, и 3) самое главное, что эти выводы, как и всякие другие научные выводы, должны характеризоваться следующими особенностями: освещать какую-то определенную область человеческого поведения и, во-вторых, давать возможность активно овладевать ими. Однако «чистая» психология этому минимуму удовлетворить не может. На изолированном изучении психических явлений нельзя строить никакой научной дисциплины. И тем не менее Чарановский все же предлагает особый отдел науки о поведении — «психологию в ее чистом виде», которая на правах именно такого отдела занимается «вполне законной» психологической интерпретацией актов человеческого поведения. А с другой стороны, как ни странно, он пишет: «Но, конечно, эта интерпретация не может претендовать на строго-научное значение, ибо она оперирует с фактами, не имеющими «социальной наглядности». Научному анализу (при современном состоянии знаний) может подлежать лишь внешнее поведение человека» («Вопросы науки о поведении...», вып. II, стр. 4).

Нас несколько смущают слова последней фразы, в скобках взятые, в отношении к «социальной наглядности». Значат ли они, что психологические явления не обладают социальной наглядностью при современном состоянии знаний, или он хочет сказать, что они принципиально не обладают и никогда не могут обладать социальной наглядностью. Если верно последнее, то нечего указывать на современное состояние знаний, если — первое, то напрасно тов. Чарановский надеется, что они когда-нибудь будут обладать такой же социальной наглядностью, как, например, вывеска «Столовая», которую все другие вместе с ним могут лицезреть. Однако в цитированной нами статье в «Под Знам. Марксизма» он раз'ясняет: «Будучи прекрасно известны каждому в самом по себе, они совершенно не поддаются единовременному наблюдению нескольких человек и,

таким образом, не обладают «социальной наглядностью». Между тем эта «социальная наглядность составляет характерную черту всякой науки» (Стр. 205). «Не имея «социальной наглядности», факты сознания не могут подлежат настоящему научному исследованию» (Там же, стр. 212).

После всех этих соображений, легко остаться в большом недоумении: как понять Черановского?

С одной стороны, он предлагает иметь отдел науки о поведении, «психологию в ее чистом виде», которая «вполне законна» как дисциплина. С другой стороны, он утверждает, что, не обладая социальной наглядностью, факты сознания не могут подлежать и настоящему научному исследованию. Следовательно, эта дисциплина не обладает вышеуказанным необходимым минимумом даже в принципиальном смысле, чтобы быть научной дисциплиной.

В дополнение к этому обратим наше внимание еще на одну особенность той новой, не строго-научной науки, которую предлагает Черановский. «Психология же,— пишет он,— есть тот отдел науки о поведении, который изучает отражение актов поведения в сознании человека». Этот отдел, будучи поставлен на последнее место среди других, определяется в конечном счете, как «Психология или учение об отражении движений в сознании» (Там же). Эти места на ряду с прочими показывают, что годы борьбы психологов-марксистов с различными нематериалистическими и немарксистскими течениями в области психологии научили Черановского только лукавой маскировке своих позиций марксистской фразой, но ни в какой степени не пониманию вопроса по существу. Престарелый идеалист Челпанов имеет все основания прослезиться от таких уточнений молодого ученого Черановского.

Теперь перейдем к основному вопросу: в каком отношении должны находиться суб'ективные и об'ективные методы исследования человеческой личности.

При последовательном развитии точки зрения Черановского этот вопрос снимается сам собой, ибо если психическое — эпифеномен, не играющий никакой активной роли в поведении; если психические явления доступны только самому себе и не обладают «социальной наглядностью», в силу чего «не могут подлежать и настоящему научному исследованию», и если, наконец, «факты сознания отличаются к тому же чрезвычайным непостоянством, быстрой изменчивостью, непрочностью и неуловимостью»,— то вообще на них не стоит обращать серьезного научного внимания. И если, тем не менее, Черановский так или иначе обращает на них свое внимание, то это, видимо, только для того, чтобы избежать упрека в односторонности. Не будь настойчивых требований марксизма, он бы вслед за Энчменом с легкой душой об'явил все эти особенности психического не только эпифеноменом в поведении, но и эпифеноменом в науке. «Поэтому,— снисходительно пишет он,— нет оснований изгонять психологическую терминологию решительно отовсюду, как это делают некоторые ретивые рефлексологи» («Под Знаменем Марксизма», стр. 212). Больше того, даже люди, которые считают ценным исследовать и суб'ективную сторону поведения, ставя ее в то же время под контроль об'ективных методов, оказывается, льют воду на мельницу Черановского: «К чести К. Н. Корнилова и его сотрудников, выдвинувших и защищавших «реактологический» метод, необходимо сказать, что, усердно прокламируя его в теории, они почти не пользуются им на практике» («Под Знаменем Марксизма», стр. 206).

Между тем нелепо говорить с точки зрения марксизма, что вот этот метод лучше, а тот хуже; этот ближе к марксизму, а тот дальше от марксизма. Совершенно ясно, что марксизму ближе всего соответствуют такие методы — суб'ективные или об'ективные — безразлично, которые обеспечивают человеку познание какой-либо стороны действительности,—познание, которое потом получает полное подтверждение своей истинности в практике. Разговоры о преимуществах суб'ективного или об'ективного метода с точки зрения марксизма имеют смысл только с точки зрения данных конкретных задач, различных в разных случаях.

Каковы действительные источники суб'ективизма в науке о поведении человека? Вытекают ли они только из фактов отсутствия социальной наглядности явлений сознания? Этот вопрос более сложный, чем представляется Черановскому. В самом деле, уже давно различные психологи установили, что первым основным недостатком метода самонаблюдения является не то, что феномены сознания «не обладают социальной наглядностью» и только «прекрасно известны каждому в самом себе», как это, не зная вопроса, пишет Черановский, а именно то, что они с трудом поддаются изучению. Начиная наблюдать за собственными переживаниями, человек перестает переживать наблюдаемое и все больше делается только наблюдателем. Таким образом, у него никогда то или иное переживание не схватывается, не регистрируется в чистом виде. Поэтому, если бы он захотел наблюдаемые, и самим фактом самонаблюдения уже попорченные, «искривленные» процессы того или другого переживания перенести, например, на другого, находящегося в аналогичном положении, но не занимающегося самонаблюдением, то этот исследователь глубоко бы ошибся и, именно, в первую очередь потому, что он приписал бы другому те переживания и с теми особенностями, которые переживал сам в самый момент наблюдения.

Так же обстоит дело и с другим вариантом метода самонаблюдения— с последующим воспроизведением переживания. Поэтому перенесение продуктов самонаблюдения на других, не занимающихся самонаблюдением, весьма рискованная вещь. Это первый порок метода самонаблюдения.

Второй порок особенно ясен марксистам, которые знают, что люди различных наследственно-биологических предрасположенностей и особенно живущие в различных условиях общественного бытия—классовых, профессиональных, бытовых и т. д.,—совершенно различные люди. Эти различия могут быть настолько велики, что трудно даже становится сказать, что между такими людьми есть общего. Отсюда опять-таки ясно, что изолированные продукты самонаблюдения одних людей не могут служить аналогами действия других, если последние—люди иных конкретных, биологических, социальных и прочих условий. Законы поведения одного еще не есть законы поведения другого. А, кроме того, один и тот же человек в различные времена, при различных внешних и внутренних условиях, подчиняется в своих действиях различным закономерностям. Отсюда, даже при большом сходстве исследуемых суб'ектов по существу, мы должны для каждого из них найти такие условия, такое время, взять его в таком состоянии, чтобы искомое могло быть реализовано. Между тем старая психология ничего подобного не делала. Именно отсюда, главным образом, и вытекала ее полная беспомощность.

Однако последнее обстоятельство менее всего касается принципиальной стороны метода самонаблюдения как такового, а скорее характеризует общие-методологические основы старых психологических школ, построенных на метафизическом, в смысле Энгельса, основании. Этим пороком одинаково больны и суб'ективные, и об'ективные методы старой психологии.

Таким образом, в основе психологического суб'ективизма и научной беспомощности всегда лежало перенесение отдельных, частных, так или иначе полученных индивидуальных закономерностей на другие явления, иного по существу порядка, с иными особенностями и закономерностями. Но, повторяем, этот упрек относится не только к методу самонаблюдения, но

и к об'ективному методу, при условии, если они построены на метафизическом или формально-логическом основаниях познания.

Но для Черановского всего этого совершенно не существует. Он ни одним словом не заикнулся — о каком методе, на каком методологическом основании построенном методе он говорит. Тогда как для марксиста-психолога основной вопрос, именно этот вопрос. В самом деле, история развития научной мысли показывает десятки примеров, когда, построенные по формально-об'ективному методу, целые системы, от таких крупных, как, например, органическая школа в социологии, или «коллективная рефлексология» Бехтерева, до таких ничтожных, как теория Энчмена, рефлексологические мудрствования Васильева, Савича, Арямова и т. д., дают, однако, непревзойденные образцы суб'ективизма. Подобно тому, как психолог-суб'ективист, с помощью добытых путем самонаблюдения различных закономерностей, пытается понять поведение других и видит в различных актах их поведения проявление ему известных законов, точно так же поступают Бехтерев и другие, когда они приписывают различным, неизвестным для них по существу явлениям известные им из других областей законы. Разница лишь в том, что первые получали законы из фактов самонаблюдения, а вторые — из фактов наблюдения вне их находящихся определенных явлений. Результат один и тот же: полная беспомощность в деле овладения явлениями. Но если бы, например, психолог, путем самонаблюдения, получил такие законы (а такие законы получены), которые потом тысячу раз подтвердились на практике, и если бы, наоборот, Черановский, с помощью своей об'ективной хватательной методики, получил «об'ективные законы», которые идут в разрез с фактами действительности, то спрашивается, какие из этих законов и какая из этих методик больше всего соответствовали бы точному смыслу марксизма?

Однако Черановский подошел к вопросу совсем иначе. Он отводит методу самонаблюдения «третьестепенное место» (стр. 205) не только потому, что признал эпифеноменами психические явления, не только потому, что они «недоступны другим» и «не обладают социальной наглядностью», но и потому, что «они отличаются чрезвычайным непостоянством, быстрой изменчивостью, непрочностью и неуловимостью». Это—очень оригинальный подход: «Я не люблю бобов и очень рад этому, потому что, если бы я их любил, то мне бы было неприятно». Сложность об'екта и трудность его исследования не есть аргумент для превращения его в эпифеномен науки. Наоборот, это есть показатель того, что человек, оперирующий этими аргументами, приспособляет бесконечно-сложный и непонятный ему мир явлений к своим упрощенным, ограниченным и искаженным представлениям о них.

Впрочем, может быть Черановский хотел этим сказать, что все приведенные аргументы ему нужны были для того, чтобы сосредоточить все свое внимание на об'ективных методах, с помощью которых и можно будет понять всю бесконечно-сложную динамику нервно-психических процессов? Возможно. Достаточно ясно, даже с точки зрения Черановского, что психические явления, в своей сложности, неустойчивости и т. д., так или иначе отражают соответственные аналоги об'ективных процессов. Но раз так, то, следовательно, задача изучения этих явлений, хотя и в другой форме, все равно не снимается, несмотря на все неудобства, вытекающие из их непостоянства, изменчивости и т. д.

Больше того, если игнорировать суб'ективную сторону явлений, как об'ект и средство познания человеческого поведения, и заниматься исключительно об'ективным анализом его, — то сложность и трудность исследования даже каждого отдельного акта в поведении возрастают до безграничных размеров, тогда как суб'ективно этот акт представляется простым.

Пример, поясняющий это, дает сам Черановский: «Акт поднятия руки,— пишет он,— рассматриваемый с точки зрения сопровождающих его нервных процессов, представляется невероятно-сложным, но для нашего сознания он невероятно прост» («Под Знаменем Марксизма», стр. 205). Но ведь это положение одинаково относится не только к суб'ективному феномену в акте поднятия руки, но и решительно ко всякому другому суб'ективному явлению, какой угодно изменчивости, непрочности и неуловимости. Словом, забывая суб'ективную сторону явлений в поведении, мы вместе с этим утериваем границы нашего предмета и не в состоянии будем сказать, что относится к науке о поведении и что, например, к физиологии и к ее отделам — рефлексологии, эндокринологии и т. д, к анатомии и к ее различным отделам, и, наконец, физике и химии, включительно до законов—в мире электронных движений. Таким образом перед нами откроется бесконечный хаос взаимодействующих форм движения, и ничего более. Между тем, в действительности, сознательно или бессознательно, об'ект науки о поведении человека конституируется в отношении к актам поведения, переживаемым суб'ективно. Бессознательные акты, инстинктивная, рефлекторная и эндокринная деятельность становится об'ектами науки о поведении только в той степени, в какой они или влияют так или иначе на изменение актов поведения, переживаемых суб'ективно, или были когда-то сознательными и стали бессознательными, и наоборот.

Но тов. Черановский всего этого не может понять, ибо он не находит ни биологического, ни социального смысла тех явлений, в которых сравнительно просто выражается для организма значение бесконечно-сложных, концентрированных, высоко-организованных физико-химических сил и законов, как средств оценки и борьбы того, что за его жизнь, и того, что против его жизни. Простое ощущение силы или слабости, боли или наслаждения, что ему доступно только суб'ективно, обеспечивает правильность реакции в соответственных условиях и тем самым гарантирует его существование. С другой стороны, если бы все внутренние процессы реакции, включительно до электронных явлений, были известны самому Черановскому, то он бы, во-первых, убедился, что ему огромная часть этих знаний была бы не нужна для того, чтобы понять и об'яснить особенности этой реакции, и в связи с этим, во-первых, он бы понял, что его положение: «наука же об'ясняет сложные явления при помощи элементарных явлений и законов» («Под Знаменем Марксизма», стр. 212) односторонне и неверно как в фактическом, так и в методологическом смысле, ибо наука — там, где она действительно об'ясняет — об'ясняет простое через сложное и сложное через простое в одном акте познания. Упуская вторую сторону познания непосредственных отношений сложного к простому, высшего к низшему, не об'ясняя низшее через высшее, наука не в состоянии понять, какие же простые, среди бесчисленных прочих простых процессов, специфически характеризуют данную реакцию.

Все вышесказанное убеждает нас в том, что тов. Черановский или забыл или не понял двух основных моментов диалектики — во-первых, он не делает должных выводов из того, что основным критерием теории познания диалектического материализма является практика, и, во-вторых, ему неизвестно, каким образом сложное может быть в то же время простым и простое—сложным и какое значение имеет такое понимание действительности для науки. Именно с этой точки зрения совершенно понятными становятся следующие его положения: «Как мы показали выше,— пишет он,— рефлексологическое толкование является более научным, будучи доступно социальной проверке экспериментальными методами, тогда как психологическое имеет преимущество краткости и общепонятности» («Под Знам. Марокс.», стр. 213). Ясно, однако, что это «истолкование» (общепонятное,

психологическое. *Н. К.*) вовсе не есть научное об'яснение. Мы «истолковываем» при помощи знакомого нам материала собственного опыта. Наука же «об'ясняет» сложные явления при помощи элементарных явлений и законов, твердо установленных научным исследованием, но хотя бы и не встречавшихся в нашем житейском опыте» (Там же, стр. 212).

Каждое из этих положений является клубком непонимания и путаницы. Во-первых, странно, как могут, с точки зрения Черановского, быть общепонятными те факты, которые не имеют «социальной наглядности»? Между тем для марксиста ясно, что эта общепонятность фактов достигнута бесчисленными экспериментами практики, трудовыми и прочими отношениями между людьми, и все то, что не соответствовало этой практике и не оправдывалось ей, отметалось. Взаимопонимание или непонимание вытекает из тождества или различия условий конкретной практики данных людей — это другая сторона социальной наглядности, их действий и мира, на который они воздействуют. Это нужно во что бы то ни стало понять Черановскому. Таким образом Черановский не замечает, что сами люди, понимающие друг друга, есть не больше, как порождение этой практики, а их сознание, инобытие этой практики, в ее наиконкретнейшем выражении. Черановский просто по-школьному понимает эксперимент и не замечает, что практика полна экспериментов, но только стихийно-протекающих.

Что касается вопроса о научном и практическом толковании фактов, то и здесь опять-таки не существует непроходимой грани. Наоборот, если люди в повседневной практике научились воздействовать на что-то и получать в результате надлежащий эффект, то это означает, что ими стихийно добыта некоторая научная истина.

Но Черановский все это понимает наоборот, или, вернее, он совсем не понимает этого и вносит большую путаницу в вопрос. Он так пишет в продолжение последней цитаты: «Если мой сосед жалуется на зубную боль, то понимание мною этого состояния отличается от его научного об'яснения» («Под Знам. Маркс.», стр. 212). Такого рода примерами Черановский может превратить любой научно-понятный факт в обывательское понимание, поскольку оно ему, очевидно, более всего доступно. В самом деле, речь идет о понимании поведения больного в зависимости от известных ему суб'ективных состояний, вызванных процессами в больном зубе, а вовсе не о болезненных физиологических и патологических процессах, понятных, например, зубному врачу. Оперируя с этими примерами, Черановский должен забыть, что ему доступно то состояние, которое он так или иначе воспроизводит в себе, после жалоб больного соседа. При этом условии, в ответ Черановскому, другой, подобный ему наивный психолог мог бы с тем же основанием логики сказать что научное понимание и об'яснение поведения моего больного соседа, отличается от того понимания болезненных процессов, которые известны зубному врачу. И он был бы вполне прав, ибо ни врач и ни Черановский ничего не нашли бы нового в понимании болезненного процесса, если бы больной суб'ект обратился не к Черановскому, а, скажем, к какому-нибудь волшебному камню с теми же словами и в той же форме, не говоря уже о том, что они ровно ничего не могли сказать, от чего больной кричит, от удовольствия или от боли. Между тем психолог, имевший дело с этими или аналогичными переживаниями, мог бы дать этому факту надлежащее об'яснение. И будь он подобен Черановскому,— сказал бы,— что врач и Черановский, понимающие только физиологию болезненного состояния и ничего больше, не могут дать научного об'яснения поведению и состоянию больного. Однако, как видно, и та и другая постановка вопроса одинаково не научны.

Повторяем, если в практике людям удается установить какую-то непосредственную или посредственную связь между явлениями и в зависимости от наличия одного вызывать или констатировать другого—в этом имеется уже налицо моменты научного познания и об'яснения. Но, с другой стороны, Черановскому должно быть известно, что и точные научные толкования находятся принципиально в таком же положении. Здесь мы сошлемся на И. П. Павлова: «Все наши классификации, все наши законы всегда более или менее условны и имеют значение только для данного времени, в условиях данной методики, в пределах наличного материала. Ведь у всех на глазах недавний пример — неразложимость химических элементов, которая считалась долгое время научной аксимой» (20-летн оп. стр. 135). Признавая возможным об'яснить сложное только простым, тов. Черановский совершенно не понимает, что простое и сложное являются противоположностями диалектического порядка; сложное может быть простым и простое в то же время сложным в зависимости от рассматриваемых отношений и что, не об'ясняя одного через другое, мы не можем понять ни того, ни другого. Черановский не понимает того факта, что всякое простое, с помощью которого так или иначе об'ясняется что-нибудь другое, само в то же время нуждается в дальнейшем бесконечном познании и об'яснении. Это одинаково относится и к «пониманию», и к научному «об'яснению» состояния больного соседа. Таким образом анализ уточнений Черановского приводит нас к еще большему уточнению нашего убеждения в том, что Черановский не знает основных истин марксизма. Больше того, логика тов. Черановского настолько своеобразна, что с ее помощью можно заниматься уточнениями чего угодно и как угодно. Так, желая доказать, что метод самонаблюдения не является научным, а суб'ективные явления не могут быть такими фактами, на которые бы следовало обращать серьезное внимание, он им приписывает и такие особенности, которые могут действительно характеризовать все что угодно, только не об'ект науки и не научный метод. «Мы признаем возможность знания фактов сознания,— пишет он. — Но можно ли считать это знание научным? Нет, поскольку неотъемлемым признаком науки является, во-первых, социальная наглядность измеряемых фактов и, во-вторых, их законосообразность, дающая возможность предвидения. Ни то ни другое не доступно психологии в узком смысле этого слова. Некоторые достижения, имеющиеся в этом отношении, следует целиком отнести за счет об'ективных приемов, понемногу начавших просачиваться в традиционную психологию» («Под Знаменем Марксизма», стр. 212. Курсив наш. *Н. К.*).

То, что следует еще доказать, Черановский берет, как известное, в качестве посылок и на основе этого отвергает ему ненужное.

Однако, несмотря на свои же посылки о незаконосообразности предмета и невозможности предвидения его явлений, он в то же время указывает на «некоторые достижения в этом отношении». Для него, очевидно, достижение вытекает не из соответствия метода особенностям об'екта, а из об'ективных приемов исследования, как таковых.

Об'явив психическое незаконосообразным, Черановский тем самым раз навсегда об'явил их непознаваемыми, и никакая «особая дисциплина», никакая «чистая психология» не поможет и познать. Для Черановского здесь остаются в полной силе известные аргументы Н. И. Бухарина против Энчмена. К счастью, совершенно очевидно, что с незаконосообразностями так обстоит дело только в голове Черановского, в действительности же незаконосообразных явлений наука не знает и не признает. Дело в том, что Черановский по собственному желанию, прежде всего, создал «чистую психологию», «в узком смысле этого слова», а затем добавил, что все, что является научным в этой области, как, например, методика Фехнера-

Вундта или Эбингауза, все это относится к приемам об'ективной науки. Все это, конечно, очень оригинально, если бы не было смешно.

Несмотря на полное бессилие в основных, а подчас и во второстепенных вопросах методологии и науки, что дает себя чувствовать на каждом шагу, Чарановский, попутно, не прочь уколоть несравненно более серьезных исследователей данной области. Не будучи в состоянии даже понять основных положений марксистской психологии, он иронизирует, однако, над ее основоположником К. Н. Корниловым и его сотрудниками только за то, что они не игнорируют значение суб'ективных явлений в исследовании человеческого поведения и предлагают изучать реакции со всей их целостности. «К чести К. Н. Корнилова и его сотрудников, выдвинувших и защищавших реактологический метод, необходимо сказать, что, усердно прокламируя его в теории, они почти не пользуются ими на практике» («Под Зн. Марксизма», стр. 206). «В своих же экспериментальных работах по методу реакций К. Н. Корнилов совершенно пренебрегал суб'ективным рядом, опрашивая испытуемых лишь о том, нормально или ненормально протекает опыт» (Там же, стр. 210. Курсив наш. *Н. К.*). То же говорится и о сотрудниках Корнилова, о Выготском и Лурия. «Впрочем, и в теоретических рассуждениях К. Н. Корнилова о методе нет достаточной последовательности. В одном месте («Психология и марксизм», стр. 17) он настаивает на признании не только реальности, но и значимости психических процессов, значимости методов самонаблюдения (стр. 18), необходимости «реактологического» двухстороннего изучения поведения. В другом же месте («Наивный и диалектический материализм», сб. «Проблемы совр. психолог.»), он, наоборот, заявляет, что только об'ективный метод является строго-научным методом. Что же касается метода самонаблюдения, то он играет лишь вспомогательную роль» (Стр. 18 «Под Знам. Марксизма», стр. 206).

«Выдвинутый К. Н. Корниловым (термин «реактология». *Н. К.*), этот термин, к сожалению, им же был впоследствии заменен учением о «целостных» реакциях, включающих в себя как об'ективную, так и суб'ективную стороны» (Там же, стр. 211). «Мы не можем поэтому согласиться с теми авторами, которые, придавая методу самонаблюдения одинаковое значение с об'ективными методами, утверждают, что факты поведения должны изучаться целостным методом, как с об'ективной, так и с суб'ективной стороны. Название такого метода «реактологическим» вносит лишь путаницу в понимание «реакции», понятие о котором имеет вполне об'ективный смысл» (Там же, стр. 205). Здесь мы можем ограничиться несколькими замечаниями. Делая упрек Корнилову, что он в своих экспериментальных работах «совершенно пренебрегал», т.-е. не пользовался, реактологическим методом в его целостной форме, не может ли сказать Чарановский, какое в таком случае основание имел академик Бехтерев сделать упрек обратного порядка (см. «Общие основы рефлексологии», изд. 3-е, стр. 128), по поводу этих же работ Корнилова? Во-вторых, если Коринлов «совершенно пренебрегают суб'ективным рядом». Тов. Чарановский решительно ни-испытуемых о том, «нормально или ненормально протекает опыт». Ведь не для развлечения это делалось? В-третьих, отвечая на указание, что Корнилов и его сотрудники усердно прокламируют реактологический метод в теории и «почти» не пользуются им на практике, мы спрашиваем: что это значит «почти», если в то же время утверждается, что они «совершенно пренебрегая суб'ективным рядом». Тов. Чарановский решительно ничего не понял в том, по поводу чего он возражает. Именно поэтому ему кажется, что термин «реактология», выдвинутый К. Н. Корниловым, «к сожалению» «был впоследствии заменен учением о целостных реакциях», включающих в себя как об'ективную, так и суб'ективную стороны. Поскольку

ным известно, никаких замен «впоследствии» не происходило, кроме последовательного развития того, что уже было в учении о реакциях. Наконец, жалким выглядит и негодование Чарановского по поводу названия метода, учитывающего обе стороны реакции — суб'ективную и об'ективную — «реактологическим»; это, по его мнению, «вносит лишь путаницу в понимание «реакций», понятие о которых имеет вполне об'ективный смысл». Чарановский совершенно не понял, что в применении к человеку действительный смысл реакции скорее всего известен самому реагирующему об'екту. Если два человека жмут друг другу руки,—это не значит, что они уже друзья, ибо мы знаем, как часто рукопожатия людей скрывают их враждебные цели и отношения. Отдельные реакции индивидов, взятые в их только доступном нам об'ективном выражении, для нас нередко выступают, как отдельные слова вне контекста с другими, т.-е. не имеющими действительного смысла. И если мы станем обнаруживать социально-биологический смысл реакций только по об'ективным признакам, то мы неизбежно вынуждены будем или на место испытуемого ставить самих себя, или видеть проявление каких-то известных нам законов в его реакции, или просто наблюдать факты и как-то по своему обобщать их, рискуя всегда впасть в ошибку и односторонность. Чарановский прав в одном, что до сего времени школа марксистской психологии не имеет еще таких работ, в которых бы полностью отразились особенности новой методологии и новых методов. Это верно. Но требовать этого от людей, которые всего лишь 5—6 лет работают в этом направлении, может только человек, который не понимает трудности предстоящей работы. Перед школой марксистской психологии стоят задачи необычайного об'ема. Работники этой школы не могут так легко обращаться с методами: вот, мол, эти методы суб'ективные,—отбросим их на «третьестепенное место», а эти «об'ективные»,— поставим их на первое место. Задача школы марксистской психологии состоит в том, чтобы пересмотреть, перестроить, проверить в практике все методы,—как они называются—безразлично, так, чтобы в результате получить методы, способные обеспечить действительное познание об'екта в его специфических закономерностях. С точки зрения этой задачи одинаково подлежат переработке и об'ективные, и суб'ективные методы. Реактологический метод, понимаемый с точки зрения марксистской методологии, это вовсе не арифметическое сложение двух старых методов с известным приоритетом одного из них, или обоих на равных основаниях, как это просто представляется Чарановскому. Реактологический метод в принципиальном смысле — это диалектическое применение к диалектически понимаемому об'екту исследования, одного и того же метода с двух различных сторон, характерных для данного сложного об'екта. И если школа Корнилова говорит, что в реактологическом методе результат суб'ективных наблюдений контролируется данными, полученными с помощью об'ективных методов, то отсюда еще не следует с принципиальной необходимостью, что суб'ективные показатели не могут контролировать об'ективных данных. Дело в том, что методы об'ективного наблюдения исторически оказались более развитыми положительно, чем методы суб'ективного наблюдения. Отсюда, на данной ступени развития приоритет отдается более точно-разработанному методу над менее точными. С другой стороны, отсюда следует и проблема необходимости разрабатывать диалектически и методы суб'ективного наблюдения во всех их вариантах, так, чтобы они могли отразить действительность с известной долей достоверности. Разработка этого метода на основе диалектической методологии задача, может быть, более трудная, чем переработка и разработка об'ективных методов. Однако она не снимается успехами об'ективных методов, а, наоборот, диктуется еще с большей необходимостью, ибо в данном случае на известном этапе развития исследовательской работы мы

рискуем оказаться в болоте бесконтрольного «об'ективного суб'ективизма». Правильное отражение об'екта познания с той или другой стороны одинаково равноценно, поскольку результаты того и другого совпадают и подтверждаются практикой. При одинаковой разработанности реактологического метода в той или другой плоскости наблюдения, несовпадение результатов наблюдения с различных сторон одинаково может ставить под вопрос достоверность исследования как с об'ективной точки зрения, так и с суб'ективной.

Вопрос в конечном счете может решить только практика.

Таким образом, марксизм оценивает каждый метод не по тому, с какой стороны — суб'ективной или об'ективной — он применяется, а по тому, как точно данный метод отражает об'ект познания в его специфических закономерностях. А эта точность познания измеряется подтверждением, или, наоборот, результатом данных исследований в практике. Такова принципиальная постановка вопроса в отношении суб'ективного и об'ективного метода. Другое дело, когда мы встречаемся с этими методами на различных стадиях их развития в одно и то же время. Здесь более развившийся, чаще подтверждающийся в практике, метод может служить относительно-контролирующим средством другого. Но это вопрос не принципиального порядка.

Итак, реактологический метод в применении к человеку, это по существу особая, неразрывная, двухсторонняя система исследования одного и того же об'екта, способная гарантировать от одностороннего и ошибочного толкования человеческого поведения. Его необходимость диктуется, прежде всего, исключительной сложностью об'екта исследования, доступного, в отличие от всех прочих об'ектов, познающему суб'екту с двух сторон одной и той же действительной сущности. В силу этого, в каждой отдельной реакции, сопровождающейся и характеризующейся, в отличие от других, определенными суб'ективными явлениями в каждый данный момент, представлены целые ряды прошлых реакций, история их развития. Суб'ективные явления— это особые формы выражения прошлого опыта организма в отношении к настоящему, настоящего к будущему и будущего к настоящему. В них, таким образом, выражен социально-биологический смысл каждой данной реакции, — смысл, который может быть понят другими людьми только при условии знания законов развития личности при данных, до деталей известных конкретных условий ее образования.

В полном соответствии со взглядами Фейербаха, Маркса и Энгельса, установившими методологически-правильный взгляд, во-первых, на отношение психического к материальному, во-вторых, на человека, как суб'екта, всегда конкретного, созданного конкретными условиями среды и в своем сознании так или иначе отражающего эти условия и свое отношение к ним,— мы считаем, что реактологический метод двухстороннего исследования одного и того же акта, или системы актов поведения, ведет к наиболее точному познанию поведения. Мы считаем грубейшей ошибкой, вытекающей из полного непонимания и извращения основных положений марксизма, предложения Чераковского, создать особые отделы науки о поведении: с одной стороны—«психологию в ее чистом виде», или «чистую психологию», и в противоположность этому, с другой, отделы чисто-об'ективного исследования. Такой разрыв исследования одного и того же конкретного об'екта не имеет никакого смысла и оправдания с точки зрения марксизма. В этом положении, само собой разумеется, идея понимания человека не как определенного конкретного суб'екта, а как человека вообще. Старая истина! В исследовании поведения животных приближение к чисто-об'ективному исследованию — понятно, ибо оно диктуется особенностями неизвестного нам суб'ективного об'екта и тем самым избавляет нас от суб'ективизма; однако, человек нам доступен с двух сторон, и, игнорируя одну из них, мы сделали бы такую же

ошибку, как если бы животных стали истолковывать двухсторонне. Суб'ективный и об'ективный метод при отсутствии их диалектического применения к недиалектически понятому об'екту одинаково ведут к заблуждению и суб'ективизму.

III.

Не лучше обстоит дело у Чераковского и в области еще более конкретных рассуждений. Он остается верным своим положениям от большого до малого: та же логика, то же упрощенчество, то же непонимание марксистской, а следовательно, и научной методологии.

Характерно в этом отношении теоретическое обоснование Чераковского, данное им «хватательным рефлексам», на основе которых построена (им же) методика исследования человеческого поведения. Здесь Чераковский выстраивает в один ряд совершенно различные и несоизмеримые явления, начиная от кинетических законов неорганической материи и кончая высшими формами человеческого поведения. Во всех явлениях этой линии развития Чераковский находит общую, основную тенденцию жизни и эволюции, проявляющуюся в «саморасширении», «экспансии» и т. д. С его точки зрения, такая универсальная тенденция «расширения», «экспансии», «автоиррадиации», к «схватыванию» в хватательных рефлексах человека является «бесспорным образцом высшего человеческого поведения» («Методы рефлексологического исследования», стр. 13), а хватательная методика, разработанная им на основе этой тенденции, является «шедевром» научных достижений, ибо она «представляет собой» как бы «синтез двух течений»— метода реакций Корнилова и метода «изучения целостного поведения» во всем его структурном своеобразии» («Вопросы науки о поведении», вып. II, стр. 66). Сущность хватательных рефлексов рассматривается следующим образом: «Хватательный рефлекс является единицей так называемого наступательного поведения. Захватывание, наступление, поиски представляют собой различные виды общей тенденции живых организмов к расширению, экспансии, иррадиации, *составляющие самую основу жизни и эволюции*». ...«*Эта «тенденция к автоиррадиации» живых организмов представляет собой биологическую модификацию той иррадиации, которая свойственна кинетической форме материальной энергии*. Где бы ни возникло движение, оно немедленно распространяется сферическими волнами в пространстве, иррадиируя во все стороны» («Вопросы науки», вып. II, стр. 67. Курсив наш. *Н. К.*). Отсюда: «Хватательный рефлекс активен по самой своей природе» (Там же, стр. 68). «Хватательный рефлекс возникает при прикосновении к ладони не только у новорожденных детей, но и у взрослых, как это показал ряд опытов, проведенных нами» (Там же). Отсюда выводится следствие: «Трудовая деятельность в ее элементарном виде (у первобытных людей, у детей) есть деятельность схватывания, собирания. *И точно такое же* «схватывающей деятельностью» является деятельность интеллектуальная и творческая» (Там же, стр. 67. Курсив наш. *Н. К.*).

Конечно, марксизм не отрицает каких угодно широких обобщений. Но для него они не имеют никакой научной ценности, если не сопровождаются конкретным и всесторонним анализом своеобразия фактов, подлежащих обобщению. Между тем, у Чераковского мы не только не имеем этого анализа, но даже не имеем более или менее полного учета и понимания тех фактов, которые уже добыты наукой. Поэтому в приведенных местах Чераковский еще и еще раз показывает полную неосведомленность по части диалектики, с одной стороны, и, с другой, как бы в завершение этого,— дает образец школьного, чисто-ученического понимания тех

фактов, с которыми так или иначе встречается по линии своего исследования. Черановский усматривает в «кинетической форме материальной энергии ту же тенденцию к «автоиррадиации», которая проявляется и в схватывающем рефлексе. В действительности мы имеем самые разнообразные, доходящие до полной противоположности, формы приспособления, и каждая из них, для данного вида животных, в данных конкретных условиях, является действительной основой жизни, ибо, не будь ее, животное лишается не только условий эволюции, но и существования. Конкретной основой жизни и эволюции является не то, например, что животное должно питаться и находить это питание,—это банальная и ничего не говорящая истина,—а то, каким образом, с помощью каких органов и приемов, в какое время и в какой среде оно находит это питание. А это, конечно, значит, что здесь организму пред'является целый ряд требований, самого противоположного порядка, в зависимости от его состояния, и от данных конкретных условий места, времени, окружения и т. д. Выполнение или невыполнение именно этих требований приводят животных или к гибели, или к существованию и прогрессу, и дело вовсе не в том, что у них есть общие тенденции к схватыванию, иррадиации или экспансии. Можно, конечно, сказать, что общей основой жизни и эволюции является, например, питание или дыхание, ибо если приостанавливается деятельность этих функций, то животное погибнет прежде, чем будет эволюционировать. Но разве в этом действительные основы жизни и эволюции? Разве такими методологическими истинами определяется и познается трудовая, интеллектуальная и творческая деятельность человека? Ведь это смешно. Знать единственный факт, что у ребенка и при некоторых условиях у взрослого, при прикосновении к ладони проявляется рефлекс схватывания, и не знать ничего больше, а потом только на этом основании говорить, что «точно также «схватывающей деятельностью» является деятельность интеллектуальная и творческая», что «это обстоятельство ведет к возникновению трудовой творческой деятельности, искусства, нравственности, социальных связей» («Вопросы науки», вып. II, стр. 67) и иметь смелость в то же время заявлять, что такие вещи ближе всего соответствуют точному смыслу марксизма,—это значит, пользоваться всуе и именем науки, и именем марксизма. Здесь не помогут никакие оговорки о «модификациях», ибо модификации схватывания всегда будут схватыванием, — одной рукой или двумя, всеми пальцами или несколькими, но не больше. Для нас совершенно бесспорным является тот факт, что у человека можно так или иначе вызвать целый ряд различных рефлексов, но значит ли это, что вы будете иметь дело с человеком в собственном смысле? Ничего подобного. Марксизм нас учит, что человек включает в себя особенности животного и что, с другой стороны, обезьяна содержит в себе «намек» на человека. «Животное» и «человеческое»—это две различные, типичные формы поведения, которые, однако, в действительности одновременно диалектически существуют и в человеке и—в зачатке—у высших животных, с разным акцентом у тех и у других. Человек, как и животное, с зачатками человеческого — это конкретные единства противоположностей. Как в обезьяне можно изучать человека, так и в человеке можно изучать животное. Наука идет по этому пути. Известные, напр., работы Келера над высшими обезьянами показывают зачатки типично-человеческих форм поведения у обезьян. И, наоборот, рефлексологи, изучающие своими методами человека, на самом деле в большинстве своем изучают животное в человеке. К сожалению, они до сего времени воображают, что имеют дело с подлинным человеком, не понимая, что изучают «скованное», переродившееся и подчиненное в основном «человеческому» животное. И недаром, до сего времени эта армия заблудившихся «зоопсихологов» не смогла дать нам ничего сколько-нибудь ясного и научно-вразумительного о человеческом поведении. Единственно, что мы имеем — это спекуляции об'ективными терминами безо всякого научного содержания в отношении к человеку в собственном смысле.

Основная ошибка рефлексологов, пытающихся рефлексологическими законами и методами исчерпать поведение человека, состоит в том, что они не видят, насколько в его поведении господствующее, определяющее место принадлежит личному опыту, а не наследственному, инстинктивным механизмам, ослабленным или сведенным почти на-нет условиями исторического развития вида. К пониманию поведения животного идут от инстинктов: нельзя выработать условного рефлекса у собаки, если вы прежде всего не овладели с помощью соответственной организации окружающей среды деятельностью ее инстинктивных механизмов, — этого наследственного опыта животных. В отношении к человеку это положение формулируется наоборот, ибо человек в своем типично-человеческом реагирует на всякий внешний или внутренний факт, на всякое раздражение, не инстинктами, а в той или иной форме всей совокупностью определенным образом организованного, в определенной среде, личного опыта, т.-е. активно и преднамеренно, подчиняя всякое раздражение и ответ на него—тому, хорошо ему известному, познанному и проверенному в практике, что он несет в своем лице каждый данный момент из прошлого. Всякое новое раздражение может быть выявлено во вне, только как та или иная реорганизация или то или иное повторение ранее имевшихся организованных реакций, связанных определенными внутренне-структурными особенностями. Человек повернут к каждому данному моменту действительности, организованным инобытием своего прошлого, которое всегда больше, чем каждый отдельный момент настоящего. Отсюда его активность, преднамеренность и сложность поведения, не укладывающаяся в рамки рефлексологических законов.

В заключение, мы считаем своим долгом оговориться, что заголовок настоящей статьи, заимственный нами у Черановского, для того, чтобы оставаться в плоскости затронутых им вопросов, ни в какой степени не может считаться продуктом методологической грамотности. Противопоставлять рефлексологию можно только такой психологии, которую специально делают некоторые люди «чистой», путем очень нечистого анализа. Но это их дело, а не дело действительного ученого.

Географическая локализация генов пшениц на земном шаре[1]).

Н. И. Вавилов.

В 1927 г. мною было совершено путешествие в Абиссинию и Эритрею для изучения состава сортов культурных растений, в связи с нашими общими исследованиями проблемы происхождения возделываемых растений.

Как мы и предполагали, разновидностный состав пшениц этих стран и в особенности Абиссинии, оказался чрезвычайно оригинальным и разнообразным. Большой семенной и колосовой материал, собранный планомерно в главнейших земледельческих районах Абиссинии и Эритреи, высевался в 1927 и 1928 гг. на различных опорных пунктах и станциях Института Прикладной Ботаники и был детально и всесторонне изучен как в смысле морфологии, биологических особенностей (отношения к паразитам, в отношении вегетационного периода), так и цитологически под руководством Г. А. Левитского. Подробное исследование пшениц Абиссинии, в котором приняло участие большое число научных работников Института Прикладной Ботаники под нашим руководством, будет опубликовано в ближайшие месяцы.

Помимо Абиссинии и Эритреи, нами и другими научными сотрудниками Института Прикладной Ботаники за последние годы был исследованы на сортовой состав культурных растений ряд других древнейших стран Востока, включая большую часть стран, расположенных по берегам и на крупных островах Средиземного моря, Персию, Афганистан, Зап. Китай, С.-З. Индию и Кашмир, Монголию, а также наши Средне-Азиатские и Закавказские республики.

Огромный мировой материал, впервые оказавшийся систематически и планомерно собранным и исследованным, позволяет наметить впервые с полной определенностью локализацию формообразовательного процесса главного хлеба земли [1]).

Главным мировым фокусом, вобравшим в себя поразительное многообразие форм культурных пшениц, оказалась маленькая горная Абиссиния. Ботанико-систематическое изучение состава пшениц этой страны обнаружило в ней сосредоточие изумительного богатства форм, перед которым уступают все страны мира. Здесь возделывается не только значительное число видов, как: Triticum durum in sensu lat., Tr. turgidum L. in sensu lat., Tr. polonicum L., Tr. dicoccum Schrenk., Tr. vulgare Vill., что более существенно, первые два вида представлены необычайным полиморфизмом, которого не знает ни одна страна. Среди пшениц

[1]) Предварительный доклад на близкую тему был сделан нами, тотчас же после возвращения из Абиссинии, в Италии на Международной конференции по пшенице в Риме, в мае 1927 г., но тогда у нас не было всех конкретных данных по всем странам.

Абиссинии обнаружено огромное число эндемичных форм, как, например, фиолетово-зерные разновидности Tr. durum и Tr. turgidum, короткоостистые и безостые разновидности этих видов, разновидности различной плотности колоса, расы с длинными колосковыми зубцами (aristiforme). По числу установленных ботанических разновидностей совершенно бесспорно Абиссиния должна быть поставлена на первое место. В ней и в смежной с ней Эритрее установлено более 200 разновидностей видов Tr. durum и Tr. turgidum и более 60 разновидностей, относящихся к видам Tr. polonicum, Tr. dicoccum и Tr. vulgare. Каждая из этих разновидностей делится на совершенно легко различимые подразновидности по длине зубцов на колосковых чешуях (brevidentatum, longidentatum и aristiforme). Эти подразновидности могут быть подразделены еще на множество более мелких форм (рас). Даже такие колоссы, как СССР, с огромными площадями, занятыми под пшеницей, и большим разнообразием, обусловливаемым близостью к основным очагам формообразования пшениц, значительно уступают маленькой Абиссинии, в которой вся площадь под культурой пшеницы вряд ли более полумиллиона гектаров. Любопытно то, что многообразие абиссинских форм развернулось в условиях отсутствия резких экологических контрастов. Экотип яровых абиссинских пшениц сравнительно очень выравнен. Замечательным фактом, имеющим глубокий смысл, является наличие в твердых пшеницах Абиссинии (Tr. durum) признаков, обычно свойственных мягким пшеницам (Tr. vulgare), а именно (опушения листьев и листовых влагалищ, восприимчивости к листовым ржавчинам— Puccinia triticina Eriks. и P. glumarum Eriks, а также безостых, короткоостистых разновидностей и форм с удлиненными остевидными заострениями на колосковых чешуях. Другими словами, Абиссиния обнаруживает замечательное явление — отсутствие дивергенции видовых признаков пшеницы, что явно свидетельствует о ее примитиве. Цитологическое исследование выяснило, что все формы Tr. durum и Tr. turgidum в Абиссинии, несмотря на наличие морфологических и физиологических признаков мягких пшениц, относятся определенно к 28-хромозомной (2n) группе. Это безусловно твердые пшеницы, но с атрибутами признаков и мягких пшениц.

Таким образом, Абиссинию мы выделяем, как главный древний и первичный очаг формирования генов культурных пшениц.

Вторым мировым очагом формообразования пшениц, как обнаружили наши изыскания, является пространственно весьма ограниченная область, примыкающая к южному подножию Восточного Гиндукуша и Западных Гималаев. В районах Юго-Восточного Афганистана и примыкающих к нему Пенджабу и С.-З. Провинции Индии оказалось заключенным богатство генов второй 42-хромозомной группы культурных пшениц — Tr. vulgare и Tr. compactum Host. Нет другой страны, другой области, где бы разнообразие разновидностей и роль мягких и карликовых пшениц было бы так велико. Каждый год обнаруживает здесь все новые и новые формы. Экспедиция Академии Наук под начальством Н. П. Горбунова, как показали исследования К. А. Фляксбергера, нашла в прошлом году новую безлигульную группу карликовых пшениц. Нигде в мире нет такого разнообразия разновидностей Tr. compactum, как здесь, где этот вид (например, в Кабульском районе) является доминирующим в культуре. И по морфологическим колосовым признакам и по вегетативным признакам, по физиологическому разнообразию в смысле скороспелости, холодостойкости — здесь в наличии поразительный потенциал генов. Развертыванию формообразовательного процесса здесь, в отличие от Абиссинии, способствовало много-

образие внешних условий (в Афганистане, например, культура пшеницы идет от 350 м. н. ур. м. до 3.300 м.).

Таковы два основных мировых очага творения культурных пшениц. Они занимают ничтожную область. Основной потенциал генов важнейшей культуры человечества находится у нищих земли, в странах, экономически не имеющих существенного значения даже в зерновом балансе земного шара.

Уступая Абиссинии первенство, фокус азиатской концентрации многообразия пшениц тем не менее ясно отграничен и морфологически и генетически. Абиссинская и афгано-индийская группы пшениц несомненно относятся к двум обособленным системам видов — двум хорошим линнеевским видам (линнеонам).

От двух основных географических баз ведет начало все разнообразие культурных пшениц мира. Обширная средиземноморская группа разновидностей, относимых к Tr. durum и Tr. turgidum, составляет особые экотипы — подвиды, экологически ярко выраженные, в силу своеобразных условий, длинного вегетационного периода, отсюда большей продуктивности, большей внешней мощности. Но они имеют часть элементов основных видов Tr. durum и Tr. turgidum Абиссинии, где в частности сосредоточено особенно много доминантных генов. Некоторые из древнейших стран Востока, как Сирия, Палестина, Трансиордания, при ближайшем изучении оказались очень бедными по разновидностному составу пшениц. Все высококультурное Средиземноморское побережье, где сосредоточились величайшие культуры древности, сравнительно бедно разнообразием. Не здесь надо искать потенциала культурных сортов пшеницы. Исчерпывающее исследование сортов Пиренейского и Абиссинского полуостровов, Французской Африки, Египта Балкан, Малой Азии, средиземноморских островов, Сирии и Палестины убеждает в том, что не здесь база культурных видов пшениц.

Всю эволюцию культурных форм пшеницы мы ведем из двух вышеуказанных основных географических очагов.

Некоторое исключение обнаружило лишь Закавказье. Здесь обнаружен любопытный оригинальный вид пшеницы в большом сортовом разнообразии, названный нами Tr. persicum Vav. Здесь же обнаружен совсем недавно еще своеобразный вид Tr. Timofeevi Zhuk. Здесь как бы обозначается третий мировой очаг. Детальный анализ форм и всестороннее сравнительное изучение обнаруживает вторичность этого центра. Tr. persicum представляет вид как бы комплексный, состоящий из признаков мягких и твердых пшениц; каких признаков в нем больше — сказать трудно. По кариотипу он относится к 28-хромозомной группе, но в нем есть черты, свидетельствующие о гибридной природе, некоторые дисгармонии в поведении хромозом, на что еще указывала А. Г. Николаева.

Кавказский хребет влек к себе народы и, как известно, представляет исключительный этнический клубок. В смысле состава культурных растений в нем можно проследить влияние и Юго-Западной Азии, и стран средиземноморских. Сюда сходились и пшеницы 28-хромозомного и 42-хромозомного комплекса из двух основных баз и здесь путем гибридизации вероятно возник Tr. persicum и может быть другие сочетания. Века, своеобразие условий Грузии и Армении, где ныне сосредоточен Tr. persicum, отокристаллировали его в обособленный хороший вид (наиболее своеобразный признак—тонкий, голый колосовой стержень). Так сформировался, возможно, и Tr. Timofeevi. Но нет достаточных оснований считать Закавказье основным очагом. По всем видам ясна его выборочная роль, сюда доходили части больших сложных систем основных культурных видов пшеницы. Но во всяком случае, как вторичный очаг, необходимо отметить и Закавказье.

Как же увязываются основные очаги формирования генов культурных пшениц с основными базами ближайших диких видов и родов?

В настоящее время закончено в общих чертах, главным образом в результате исследований Института Прикладной Ботаники, ботанико-систематическое изучение родичей пшеницы. Вопреки обычным предположениям, основные базы ближайших диких видов родов Eutriticum, Aegilops и Secale не примыкают непосредственно к очагам концентрации потенциалов генов культурных пшениц, а находятся на значительном расстоянии. Дикие виды пшениц—Tr. dicoccoides Körn., Tr. aegilopoides, находятся главным образом в Южной Сирии и Северной Палестине, там, где состав культурных пшениц особенно беден. Сами эти виды, как показывают наши исследования, обособлены от культурных пшениц трудностью скрещивания. Это несомненно особые линнеевские виды. Род Aegilops, по данным детального изучения М. П. Жуковского и А. Г. Эйга, в его разнообразии 23—24 видов, сосредоточен в Восточном Средиземье. Его главная база — Малая Азия, Балканы, Сирия и Палестина. Дикие виды Secale — ржи, рода, близкого к пшенице, сосредоточены главным образом в Малой Азии и в Закавказье. В общем дикие родичи пшеницы занимают, несмотря на их разнообразие, сравнительно небольшую область восточного Средиземноморского побережья и внутренней Малой Азии. Сюда примыкают однозернянки—Tr. monococcum, как дикие, так и культурные, характеризующиеся 14-хромозомным комплексом — особый вид, который мы отделяем от культурных пшениц 28- и 42-хромозомных родов.

Между Абиссинией и Афгано-Индийским центром культурных пшениц и ареалом диких видов Aegilops, Eutriticum и Secale, несомненно, ныне существует значительный географический гиатус. В Афганистане, как правило, виды Aegilops не заходят на юг за Гиндукуш, пшеница же в ее разнообразии находится как раз за Гиндукушем. Нет ни в Афганистане, ни в наших Средне-Азиатских республиках и Tr. dicoccoides.

В Абиссинии нет ни видов Aegilops, ни диких пшениц, ни дикой, ни культурной ржи; более того, в диком состоянии отсутствует вся триба Hordeae.

Таковы факты, к которым привело детальное, планомерное систематическое изучение культурных пшениц и морфологически близких к ним диких видов Aegilops, Eutriticum и Secale. Гены культурных пшениц во всяком случае проявляют явную локализацию, несомненно, очень древнего происхождения. Понять разорванность двух мировых очагов пшеницы, так же как их обособленность от основной массы диких видов, можно только апеллируя в глубь геологического прошлого Старого Света. Во всяком случае мы ныне знаем, где находится мировой потенциал генов культурной пшеницы и в значительной мере им овладели. Открывается широкое поле для планомерных генетических, гибридологических исследований.

Для истории человеческой культуры, связанной неразрывно с земледелием, эти факты поразительной локализации основных очагов важнейшего культурного растения Старого Света, несомненно, приводят к необходимости заново пересмотреть наши обычные представления о географических направлениях хода культуры.

Проблема материи в новейшей естественно-научной и философской литературе.

В. Рудаш.

Теория относительности, с одной стороны, атомистическая теория Резерфорда (Rutherford) и Нильса Бора, с другой, Планкова теория квантов со всеми ее последствиями, производящими переворот во всех областях физики, но сейчас еще в полном об'еме совершенно непредвидимыми, так как они ни в какой мере не являются законченными,— все это поставило внезапно «точное» естествознание перед огромным количеством проблем, которые пока не представляются разрешимыми. Это обстоятельство дает повод некоторым естествоиспытателям сомневаться даже в своей собственной науке и искать разрешения проблем в таком направлении, которое, мягко выражаясь, должно привести к очень неточным результатам и превратить естествознание в мистику и религию, если только не наступит здоровая реакция. Дальнейшая разработка теории относительности Вейлем и Эддингтоном, преобразование атомистической теории Гейзенбергом служат поводом к бесплоднейшим спекуляциям, представляющим прямой путь к скептицизму и солипсизму. Немудрено, что философы «по профессии» усердно используют это обстоятельство, чтобы построить на нем свои идеалистические выводы; гораздо более странно, что сами естествоиспытатели всеми силами способствуют этому.

Но в сущности и это не так удивительно, как кажется с первого взгляда. Именно во времена революционных переворотов иначе и не может быть; и здесь мы имеем в виду не только и не главным образом переворот в самом естествознании, а, в первую очередь, революцию в общественных отношениях. Без детальных рассуждений ясно, что именно потому, что переворот происходит одновременно в обеих областях,— а это, как показывает история наук, отнюдь не случайно, ибо переворот в традиционных социальных идеях служит психологической почвой, внушающей мужество, необходимое для переворота в преемственных научных идеях,— взаимное влияние обеих этих областей усиливается. Все наши привычные понятия о пространстве и времени, материи и причинности, строении и величине вселенной, словом, все основные понятия, которыми естествознание оперировало в течение целых столетий и которые считались незыблемыми, кажутся опровергнутыми, и их место занимают лишь весьма смутные, расплывчатые понятия, не дающие пока ничего определенного. С другой стороны, господство буржуазии колеблется, она идет быстрым темпом навстречу катастрофам, исход которых ей так же неведом, как физикам судьбы вселенной. Это гонит буржуазию, т.-е. ее идеологов, в об'ятия мистицизма и религии. Такое общее умонастроение влияет на естествоиспытателей, их спекуляции

усиливают, в свою очередь, общий уклон, и круг замыкается. Наступает всеобщее уныние, выражающееся в мало утешительной формулировке солипсизма: нет ничего реального, весь мир — тяжелый сон, бред одержимого лихорадкой, и этот бредящий больной, к сожалению, не кто иной, как Я (с большой буквы). Самые путаные системы приобретают популярность, Лейбниц со своей монадой празднует возрождение, Шеллинг с его представлением о чем-то, «что, хотя само и не находится в пространстве, однако является началом всякой пространственной заполненности», воскресает из мертвых в электроне, который «находится вне пространства и времени» (Вейль), Беркли вновь торжественно провозглашается путеводной звездой в пустыне, мир претворяется в «мыслительное вещество» (Эддингтон) и т. д.

Не касаясь физических теорий, их правильности или неправильности (об этом сейчас даже физики по профессии могут сказать очень мало положительного, так как все эти теории большею частью не вышли еще из стадии туманных гипотез), мы укажем здесь несколько философских выводов, которыми сами физики и их идеалистические истолкователи венчают свое дело. Из их собственных противоречий для нас станет ясно, что единственно только воля стать на строго-материалистическую почву и знание диалектики могут помочь этим физикам выйти из того тупика, в котором они очутились. Что же касается философов-идеалистов, то, разумеется, нельзя питать никакой надежды, чтобы что-либо могло им помочь. Им остается только исчезнуть вместе с тем общественным строем, который делает их существование такою же социальною необходимостью, как и продолжающееся существование религий.

1. Материя в философском и естественно-научном понимании.

Прежде чем привести несколько примеров того, куда ведет новейший курс философских спекуляций, мы должны остановиться на некоторых известных положениях материализма. Мы должны выяснить различие между философским и естественно-научным понятием материи, для того, чтобы, во-первых, отвести тот упрек, будто материализм хочет вторгнуться в сферу естествознания, исходя из чисто-философских спекуляций: здесь необходимо констатировать, что выводы естествознания не могут иметь ни малейшего влияния на этот основной принцип материализма; а, во-вторых, если бы даже рассмотрение этого вопроса не дало ничего нового, оно представляется необходимым для выяснения нашего отношения к тем безграничным подтасовкам, которые проделываются с понятием материи.

При всех философских изысканиях современный материалист - диалектик должен исходить из классической формулировки Энгельса, определяющей демаркационную линию между двумя основными направлениями философии: «Центральный вопрос современной философии есть вопрос об отношении между мышлением и бытием, вопрос о существовании мира и о сущности мира. Классическим в формулировке Энгельса является именно то, что он не дает себя отвлечь различными побочными вопросами и ответвлениями, оттенками, которые может принять этот основной вопрос и которыми отличаются друг от друга различные материалистические и идеалистические системы, а сводит весь спорный вопрос к простой, но вполне исчерпывающей всю сущность дела формулировке и устраняет возможность каких-либо уверток. Особенно это важно по отношению к эклектикам, в лице которых мы имеем дело с идеалистической философией, содержащей примесь более или менее материалистических элементов и колеблющейся между материализмом и идеализмом, не отказываясь от

основной идеалистической установки. Здесь, прежде всего, необходимо ставить вопрос просто и ясно и требовать однозначного ответа, без всяких оговорок. Поэтому следует строго придерживаться этой непревзойденной формулировки и сказать: все те, кто во взаимоотношении мышления и бытия, духа и природы, суб'екта и об'екта,— различные формулировки одного и того же вопроса,— рассматривают бытие, природу, об'ект, как нечто первичное, и поскольку это делают, являются материалистами. Чтобы быть последовательным материалистом, необходимо, разумеется, строго придерживаться этой исходной точки, иначе становишься эклектиком, как это видно на великом историческом примере Канта, который хотя и не сомневается в существовании «вещей в себе», т.-е. мира, но во всем прочем является идеалистом. Поскольку, однако, эклектики, как, например, Кант, отвечают на этот вопрос в вышеуказанном смысле, они тоже материалисты, как бы далеко они ни отклонялись затем от этой материалистической основы.

Эта точка зрения материализма совпадает, разумеется, как с ежедневным опытом человечества, так и—что важнее—с точки зрения естествознания, которую всякий естествоиспытатель, как бы он ни поддавался влиянию разных идеалистических «причуд», должен разделять инстинктивно, иначе его наука потеряет весь свой смысл. Как мы увидим, это верно даже в отношении современных Эддингтонов и Вейлей. Один из них высказывает это совершенно открыто:

«Нельзя достаточно сильно подчеркнуть, что с практической точки зрения (он имеет в виду, разумеется, точку зрения естествознания. *В. Р.*) все эти вопросы (о реальности внешнего мира. *В. Р.*) представляют чисто-академический интерес. Физик и физик-математик вынуждены оперировать и рассуждать так, как если бы верили... в реальное существование реальной, абсолютной, об'ективной вселенной. В самом деле... если бы было невозможно представить себе (conceive) общий об'ективный мир, существующий независимо от наблюдателя, который его шаг за шагом открывает, то физическая наука была бы невозможна» (д'Абро: «Развитие научного мышления», стр. 404).

В самом деле: чего ради заниматься миром, который даже не существует? Всякий человек, хотя бы даже самый закостенелый идеалист, есть прирожденный материалист и материалист на практике. Без допущения существования мира мы не могли бы ступить ни одного шага не только в повседневной жизни, но и в науке. Послушаем одного крайнего, даже закоренелого идеалиста, правоверного гегельянца, который защищает самые замысловатые идеи Гегеля и все-таки вынужден чистосердечно это признать, так неопровержимо действительное положение вещей.

«Существует физический мир вне нас и внутренний, духовный мир.

Который из них обоих придется естественным образом считать более реальным? Люди будут считать более реальным тот, который более привычен, с которым они раньше всего приходят в соприкосновение и который является для них источником наиболее богатого опыта. И это, несомненно, внешний материальный мир. Когда родится ребенок, он обращает свои глаза к свету, который является внешним физическим предметом. Медленно он осваивается с различными об'ектами в комнате. Он узнает свою мать, которая является, однако, прежде всего, физическим об'ектом, физическим телом. Лишь значительно позже мать становится для дитяти чем-то духовным (mind), душой. В общем, все наши наиболее ранние впечатления принадлежат к материальному миру. Внутренний мир мы познаем лишь путем самонаблюдения, а привычка к самонаблюдению появляется только в юности или в зрелом возрасте, а для многих людей она едва ли вообще когда-либо возникает. Во всю эту раннюю эпоху жизни, полную впечатлений, когда формируются все наши наиболее прочные понятия, мы находимся почти исключительно под

воздействием внешнего мира. Духовный мир, с которым мы знакомы гораздо меньше, представляется всем нам чем-то относительно нереальным, миром теней. Направление нашего мышления (minds) становится материалистическим.

То, что я сказал об индивидууме, относится в равной мере и к расе. Первобытный человек не размышляет о фактах своего собственного сознания. Он вынужден посвятить большую часть своей жизни добыванию пищи и отражению опасностей, грозящих ему со стороны других физических тел. И даже в наше время большинству людей приходится затрачивать бо́льшую часть своего времени на то, чтобы наблюдать различные стороны внешних предметов. Поэтому как вследствие индивидуальной привычки, так и далеко простирающейся наследственности все люди склонны считать внешний мир более реальным, чем духовный.

... Если думают, поэтому, что... где-либо существует раса людей, являющихся прирожденными идеалистами, то это нелепость. Мы... прирожденные материалисты. Оттого происходит, что когда мы пытаемся мыслить о таких об'ектах, которые обычно считаются нематериальными, словы бог или душа, то сто́ит огромных усилий избегнуть представления о них, как о материальных вещах. Против нас унаследованный материализм, быть может многих сотен тысяч лет» (В. Т. Стэс, «Критическая история греческой философии», стр. 8 — 11).

Здесь нас мало интересует, конечно, вопрос, верны или неверны отдельные частности изложения этого автора (хотя мы думаем, что многое в нем неверно). Факт, который он так настойчиво подчеркивает, как никакой материалист не мог бы сделать лучше, безусловно верен: не только мы, вся наука с первого момента своего существования — прирожденный материалист и останется таковым, пока будут на нашей земле живые существа. И очень поучительно, конечно, слышать это от столь завзятого идеалиста, которому понимание этого так же мало мешает крепко держаться за свой идеализм, как и всем прочим идеалистам.

Сомнение в существовании мира, в этом очевидном и неопровержимом факте, который был, есть и будет как непоколебимым убеждением всякого здравомыслящего человека, так и исходной точкой и неизменной основой всякой науки, могло возникнуть только по причинам социального характера, а не на основе каких-нибудь научных данных. С тех пор, как философия, плетясь в хвосте религии, выдвинула проблему существования мира, т.-е. сделала это существование проблематичным, стремлением идеалистической философии стало, естественно, найти для этого научные или мнимо-научные аргументы. С новейшими открытиями на этом поприще мы сейчас познакомимся. Но заранее ясно, что в этом вопросе дело касается, в первую очередь, не науки, а религии. Во-первых, понятие «духа» и сотворения этого мира есть коренным образом религиозное представление; во-вторых, религия была всегда питательной почвой для этого сомнения, как со своим двойственным делением мира на чувственную «юдоль плача» и сверхчувственное «царство божие», так и со своей социальной функцией в современной классовой борьбе. И затем этому способствуют также заинтересованные в сохранении и поддержке религии ученые, нередко путем сознательной подтасовки фактов своей науки, лишь бы не вступить в конфликт с религиозными учениями. Такой пример приводит Энгельс в предисловии к английскому изданию своей книжки «Развитие социализма от утопии к науке» об английских геологах Бекленде и Мантелле, которые «перетолковывали факты из своей науки (геологии. *В. Р.*), чтобы они не слишком резко расходились с мифами моисеевой легенды о сотворении мира» [1]).

[1]) См. русское изд. 1925 г. под ред. Д. Рязанова, стр. 20.

История философии вполне это подтверждает. Уже в своей колыбели, у греков, она зародилась как материализм и так и оставалась более или менее чистою, более или менее последовательною до того времени, когда греческое общество и вместе с ним демократия стали клониться к упадку вследствие противоречий своей социально-экономической системы, рабства, и реакция все больше брала верх. Греческая философия и не сомневалась ни в малейшей мере в существовании мира, даже тогда, когда поворот в классовой борьбе обусловил ее союз с религией. Это имело место у Платона, которого можно считать не только подлинным родоначальником идеализма, но и монотеизма, в каковом качестве он пользовался в течение всего средневековья большим авторитетом у христианской церкви, учение которой содержало много платонических элементов.

С известными оговорками можно поэтому согласиться с одним исследователем истории греческой философии, по словам которого «реальность телесного мира не стала еще проблемой (для античного общества. *В. Р.*)... если не считать нескольких единичных и преходящих веяний. Оно и не находило повода заниматься вопросом, означает ли, вообще, материя что-либо отличное от нашего сознания» (Кл. Беумкер, «Проблема материи в греческой философии», стр. 5). Даже и Платон нисколько не сомневался в существовании внешнего мира, он его только раздвоил в «царство идей» и в «материальный мир», почему он и является об'ективным идеалистом. Столь же мало сомневался в этом другой великий идеалистический мыслитель древности, Аристотель. Суб'ективный идеализм Беркли, по которому весь мир есть только мое представление, т.-е. солипсизм, остался неизвестным античному обществу. Он является продуктом новейшей философии.

А именно, в новой философии, при ее пробуждении из-под опеки религии, под которой она находилась в течение всего средневековья, положение вещей было совершенно иное, чем в античном мире. Уже тот факт, что на протяжении многих веков философия находилась под спудом и была «служанкой» религии, должен был наложить печать на характер постановки ею вопросов. Тем не менее и в новое время философия возрождается, как материализм, с английским философом Бэконом, однако в смеси с теологическими, теистическими предрассудками, так как целомудрие, характеризовавшее греческий материализм, было окончательно утрачено в долговечном браке с религией. Также и последующие материалисты, Гоббс, Локк, Спиноза, либо бессознательно находились под влиянием религиозных представлений, либо должны были маскировать свой материализм, чтобы избегнуть преследований церкви. То обстоятельство, что сама современная буржуазия пронесла первые свои революции (в Голландии и в Англии) под знаменем религиозной идеологии, способствовало, в свою очередь, тому, что философия лишь постепенно могла окончательно освободиться от влияния теологии.

Что же касается идеализма, то он должен был принять в новое время тем более крайние формы, что классовая борьба носила здесь совершенно иной характер, чем в античном мире, и что религия играла в ней гораздо более важную роль.

Новая философия возникает одновременно с ранним капитализмом, т.-е. с новой буржуазией. С самого начала новая философия является буржуазной философии. Если «bellum omnium contra omnes» (война всех против всех) Гоббса отражает, по словам Энгельса, современную конкуренционную борьбу, то идеалист Декарт, как говорит Маркс, «взирает на мир глазами периода мануфактуры», рассматривая животных как машины, что было возможно лишь потому, что машина начала уже играть ту роль, которая характеризует капитализм. В современном мире идеализм представляет тоже буржуазную философию, каковою в античном мире он, конечно, не был.

Подобно тому, как первые материалисты имели теологические предрассудки, точно так же у первых идеалистов, например, у Декарта, была полу-материалистическая душа. Но идеализм и материализм все более удаляются друг от друга, по мере того, как классовая борьба буржуазии принимает иной характер; пока буржуазия боролась с феодализмом, даже идеализм содержал в себе материалистическую примесь; с тех пор, как она одержала победу и ведет все более ожесточенную борьбу с трудящимися классами, идеализм становится открытым союзником религии.

В античном обществе, опиравшемся на рабский труд, церковь играла второстепенную роль. Рабы держались в повиновении с помощью грубого насилия, путем самого кровавого террора. Идеологическое воздействие на них не было ни необходимо, ни возможно, так как, будучи «варварами», т.-е. по происхождению чужестранцами, они не понимали ни языка своих господ, ни друг друга. Они не имели также достаточного образования, чтобы быть способными к восприятию идеологических влияний. Совершенно иную роль идеологическое воздействие играет в современных обществах, где угнетенных «в нормальное время» стараются по возможности держать в неволе при посредстве их сознания. Здесь, следовательно, вопросы сознания и миросозерцания играют совершенно иную роль. Здесь экономико-социальные условия отражаются не только бессознательно, как обычно в античном мире, здесь религиозная и родственная и солидарная с ней идеалистическая философия становятся сознательно применяемым оружием в классовой борьбе. Поэтому современный идеализм столь же мало наивен, как и современная религия.

Последняя, в свою очередь, имеет также совершенно иную структуру, чем античные религии. Один из самых выдающихся исследователей истории религий, Робертсон-Смит, рисует это различие следующим образом:

«Античные религии не содержали большею частью исповедания веры; они состояли исключительно из установленных правил поведения (institutions and practices)» («Религия семитов», стр. 16).

В другом месте он говорит:

«Ритуал и практическое поведение (practical usage) были, в строгом смысле, квинт-эссенцией древних религий» (Там же стр. 20).

Мы знаем, что в современных религиях дело обстоит как раз наоборот. Исповедание веры есть сущность, ядро современных религий, именно потому, что они, с самого своего возникновения, представляли в классовой борьбе идеологическое оружие в руках различнейших классов. Но уже с давних пор они служат таковыми исключительно в руках господствующих классов. И существеннейшею частью этого исповедания веры является «удвоение» мира, признание акта сотворения мира и принижение достоинства чувственного, земного мира. Этот скепсис в отношении чувственного мира идеализм заимствует сначала у религии. На пороге нового времени несознательно, так сказать, непроизвольно, вследствие вековых привычек мышления, под влиянием всевластия религии в средние века, но затем, когда он вступает в союз с религией, с целью идеологического воздействия на массы, также и сознательно. В особенности это относится к современной эпохе, когда материализм находится как раз в руках опаснейшего врага буржуазии, революционного пролетариата. Идеализм становится сознательным мистицизмом. Это откровенно и высказывает один философ, относящийся очень сознательно к себе и своей эпохе:

«При всем том нужно констатировать, что общее настроение времени стало за последние десятилетия благосклоннее по отношению к показанной в этой книге перспективе (а именно к мистике. *В. Р.*). Мистика и романтика раскрылись глубже переживаниям и созерцанию этого времени, и в нем родился классический орфик

(мистик. *В. Р.*)» (К. Иоэль, «Происхождение натурфилософии из духа мистики», стр. VII).

Как история философии, так и духовная структура современного общества доказывают таким образом, что вся установка вопроса, сомнение в существовании внешнего мира имеет исключительно только социальные корни. И, конечно, установление этого факта давало бы основание совершенно устранить этот вопрос, если бы он не играл такую большую роль, в наше время даже вновь возросшую. С другой стороны, вопрос о существовании мира затуманивается и принимает настолько сложные и «высоко-научные» формы, что ответ на него не так прост, как в том случае, когда он ставится в неприкрытом виде. В последнем случае ответить на него сравнительно нетрудно, и с идеалистом, который ставит под сомнение существование мира, можно разделаться простым указанием на всю совокупность человеческого опыта. Но когда вопрос ставится в иной форме, когда он, как в наше время, связывается с утонченнейшими вопросами тенсорной математики и физики бесконечно-малых и бесконечно-больших, в которых вполне разбирается, конечно, только специалист; когда он связывается таким путем с вопросами строения материи и, вообще, выдвигается проблема материи, в понимание физической природы которой новейшее время внесло полный переворот, не приведший пока еще, однако, к ясным результатам,— то многие приходят в тупик и начинают колебаться. Величайшие авторитеты в области физики высказываются ведь против материалистов!

Здесь простая ссылка на чувства и ежедневный опыт, повидимому, совершенно отказываются служить. Ибо, если они и не могут, вообще говоря, ввести в заблуждение относительно существования мира, то очень могут обмануть и сплошь и рядом и обманывают в отношении природы мира. Как бесконечно отличен мир естествознания от мира наших чувств, а тем более — в естествознании нашего времени, когда наше понимание природы мира подвергается чуть не ежедневно полной революции!

С другой стороны, если сопоставить то, что говорит нам материалистический философ о «материи», насколько абстрактным, общим, даже убогим представляется это нам по сравнению с тем, что идеалист умеет сказать о своей «идее»! Где эта «материя»? Что из себя представляет эта «материя»? Ладно, мир существует, в этом нет никакого сомнения. В этом не сомневаются даже все те идеалисты, к которым можно серьезно отнестись. Но что она такое? Опишите ее, покажите мне ее строение, ее свойства, раз'ясните мне «сущность» мира и «материи», ее виды, формы существования и проч., и при этом не впадите в противоречие с естествознанием!

Все эти и подобные вопросы нужно, пока что, отклонять, так как они представляют собою не что иное, как попытку запутать материалистов и привести их в замешательство. От материалистов требуют того, чего ни наука, ни кто-либо другой не могут дать: окончательного ответа на вопрос, на который человечество сможет всегда ответить лишь приближенно, шаг за шагом, но мы в настоящее время можем, несомненно, дать лишь очень несовершенный ответ. Все развитие естественных наук есть постоянное приближение к этой цели, и каждый новый шаг к этой цели ставит тысячу новых вопросов, которые постоянно находят лишь предварительный ответ или долго вообще не находят ответа. Так, уже цитированный д'Абро говорит:

«Когда от атомов мы переходим к электронам и протонам, мы не в состоянии утверждать, что последние представляют собою неизменные единицы. Не исключена возможность дальнейшего разложения и был поднят вопрос о существовании субэлектронов...» (Цит. соч., стр. 394).

Итак, открытие электрона означает тотчас же постановку новой проблемы. И это вполне естественно, и здесь уже мы пользуемся случаем

указать на то, что, как предвидел диалектический материалист Ф. Энгельс, мечты физиков дойти до последней сущности материи не осуществятся и неосуществимы, и нельзя будет свести мир к однородным последним единицам.

«Естествознание, стремящееся отыскать единую материю как таковую, стремящееся свести качественные различия к чисто-количественным различиям состава тождественных мельчайших частиц, поступает так, как оно поступало бы, если бы вместо вишен, груш, яблок оно искало плод как такой, вместо кошек, собак, овец и т. д. искало млекопитающее как таковое, газ как таковой, металл как таковой, камень как таковой, химическое соединение как таковое, движение как таковое... Как доказал уже Гегель, это воззрение, эта «односторонняя математическая точка зрения», согласно которой материя определима только количественным образом, а качественно исконно одинакова, является именно точкой зрения французского материализма XVIII столетия. Она является даже возвратом к Пифагору, который уже рассматривал число, количественную определенность, как сущность вещей» (Энгельс, Примечания к «Анти-Дюрингу», Архив Маркса и Энгельса, т. II, стр. 147, Гиз, 1925 г.).

Фактически подошли к двум последним не «приводимым» друг к другу элементам, электронам и протонам, но, собственно говоря, существует еще и третья «сущность», эфир, или «поле», развертывающая величайшую активность и, по мнению некоторых, единственно лишь и познаваемая ее деятельность, прежде всего, и свидетельствует о наличии материальных электронов и протонов, о свойствах которых пока ничего неизвестно), и все-таки не долженствующая быть материей. И в связи с этим «последние» элементы ведут к противоречиям именно потому, что должны быть последними. Так будет продолжаться, пока не найдут следующие «последние» элементы или прекратят тщетные поиски последних прерывных (discrete) частей материи, которые, как это совершенно ясно для диалектического материалиста, не существуют.

Но обо всем этом ниже. Здесь шла речь о двух вещах: показать, что поставленные материалистам требования в настоящее время так же мало могут быть до конца выполнены самою наукой, как и раньше. А, во-вторых, необходимо подчеркнуть, что в споре между материализмом и идеализмом дело вовсе не в этом вопросе или этих вопросах.

Хотя это и может показаться противоречием, но дело обстоит так: в противоположность естественно-научному вопросу о строении, родах, движения и проч. материи, мы можем дать окончательный ответ на философский вопрос: «Что такое материя?», независимо от того, какие открытия сделало или еще сделает естествознание о строении, родах, свойствах, отношениях и пр. материи. Как бы ни развивалось наше знание о материи, этот ответ гласит и всегда будет гласить так: материя есть то реальное, не зависящее от человека и его сознания нечто, которое является причиной наших ощущений, действие которого на наши чувства вызывает в нас ощущение, которым занимается естествознание и которое мы с его помощью будем познавать все полнее. Этот ответ есть окончательный и вполне достаточен для того, чтобы ответить на философскую проблему материи. Это тот же самый ответ, который мы уже слышали от физика д'Абро, отнюдь не являющегося материалистом, считавшего, как мы помним, этот ответ непременной предпосылкой всей науки физики. Этот ответ имеет также единственной целью дать естествознанию крепкий материалистический базис и охранить его от всяких влияний со стороны религии и идеализма. И если материалистическая философия не должна, конечно, находиться в противоречии с несомненными данными естествознания, то следует

еще больше подчеркнуть, что естествознание ни в каком случае не должно находиться в противоречии с этой предпосылкой всякого человеческого познания. К сожалению, однако, под влиянием мощных социальных сил это иногда имеет место.

В сущности нетрудно понять, что материалистическая философия не обязана входить ближе в отдельные детали вопроса о строении, родах, свойствах и пр. материи. Разумеется, она это делает, так как тоже интересуется этим, но ей совершенно нечего опасаться, чтобы естествознание могло ее когда-либо опровергнуть. Если иногда кажется, что это так, как, например, сейчас, то это заблуждение, которое рано или поздно рассеется, в этом мы заранее можем быть уверены. Но, раньше чем пускаться в такие естественно-научные экскурсы, материалистическая философия должна уяснить вопрос, который проводит ясную и недвусмысленную грань между основными философскими направлениями. И этот вопрос есть, конечно, в другой форме все тот же вопрос о существовании мира. Материалистическое понятие «материя» выражает не что иное, как это «реальное, об'ективное, абсолютное, от естествоиспытателя независимое», по выражению д'Абро, существование мира.

Что́ этот мир, природа, материя еще кроме того из себя представляет, это иной вопрос, которым занимается как естествознание, так и продолжает еще заниматься материалистическая философия, но его следует строго отличать от первого, основного вопроса, иначе вносится путаница именно туда, где более всего необходимы ясность и однозначность. И ясно, почему этот вопрос является таким кардинальным: именно потому, что идеалисты приемлют от естествознания все, что оно им дает, до тех пор пока оно не становится на почву философского материализма (что им и хочется предотвратить). Они могут тогда все данные естествознания истолковать по-своему: все описанные им свойства «материи» безусловно верны, «но только» они являются свойствами материализованной идеи или материи, которая существует только в нашем представлении или представляет проекцию нашего разума и т. д., и т. д. Это всегда возможно и будет возможно, пока не исчезнут социальные корни идеализма. Это возможно именно потому, что наше знание о материи, как уже сказано, представляет собою бесконечный процесс, в начале которого мы стоим (естествознание существует лишь несколько столетий), и поэтому каждый шаг вперед означает вместе с тем постановку на очередь новых и новых проблем, которые не могут быть сейчас же разрешены, что дает благоприятную почву для идеализма. Кроме того, наше познание есть всегда познание конечных частей вселенной, которая бесконечна, частичное познание целого, и самое наше познание есть часть совокупного познания (которое никогда не может быть достигнуто). Все эти несовершенства нашего познания могут всегда вновь и вновь послужить почвою для идеализма.

Итак, необходимо будет всегда строго различать философское и естественно-научное понятие материи. Первое содержит в себе, первым делом, единственно только констатирование того факта, что природа есть нечто первичное, независимое от существования и сознания человека, что сущность мира не есть «дух», «идея», «понятие» и т. п., а нечто такое, продуктом чего все эти вещи сами только являются. Как мы видим, философское понятие материи довольно «широко», «обще», «абстрактно», «неопределенно»—упреки, которые идеалисты делают материалистам и которыми они хотят осмеять материалистическое понятие материи. Но нетрудно также уразуметь, что это не недостаток (как думают идеалисты), а преимущество указанного понятия. Оно должно отличаться всеми этими свойствами, чтобы вполне соответствовать своему назначению. Ибо оно служит единственно и исключительно для того, чтобы препятствовать вмешательству идеалистического и религиозного начала в естествознание.

По выполнении этой функции, материалистическая философия передает на время эту «общую», «абстрактную», «неопределенную» материю естествознанию, чтобы сделать ее конкретною и определенною. Оттуда она возвращается в форме электрона и протона, в форме атома, молекул, химического вещества, белка и т. д., т.-е. достаточно определенной, чтобы вступить с нею затем в дальнейшие, иные философские отношения.

Но эта материя даже в течение того времени, что она вверена естествознанию, представляет только ценность, которую философия должна требовать от него обратно. Она дана только взаймы, а не подарена. Она не может исчезнуть «бесследно», она не может и не должна быть ни утрачена, ни похищена. В настоящее время такие попытки заставить материю «исчезнуть» находятся постоянно в порядке дня. Всякий поворот естествознания служит к тому подходящим поводом, и здесь всякий раз материалистическая философия, с ее «широким», «общим», «абстрактным» понятием материи, кладет свое вето и громогласно заявляет: «Материя есть об'ективная реальность, т.-е. она существует независимо от человека, до и после человека, сам человек есть только развитие этой самой материи. Как бы естествознание с ней ни манипулировало, одного оно не может предпринять, одного не может открыть: небытия материи. Чтобы это предотвратить, на то существует материалистическое философское понятие материи; оно достаточно узко, достаточно определенно, достаточно конкретно, чтобы сделать это невозможным, чтобы предохранить естествознание от этих заблуждений».

Дело, таким образом, ясно, и идеалисты, которым хотелось бы добиться исчезновения материи, никогда не направляют своих атак против естествознания, а всегда против материалистической философии. Они философствуют и там, где, чтобы замести свои следы, утверждают, что занимаются чистым естествознанием. И в дальнейшем мы ограничимся, конечно, единственно и только этой стороной вопроса и не дадим себя ввести в заблуждение той путаницей, которая очень часто вносится нарочито.

2. Возрождение „физиологичечкого идеализма“.

«Физиологический идеализм» — наш старый знакомый. Он примыкает к открытию закона «специфических чувственных энергий». Сущность его состоит в том, что, как бы мы ни раздражали органы чувств, они будут отвечать специфическим образом, напр., зрительный нерв всегда световым ощущением, безразлично — подействовали ли мы на него электричеством, давлением или как-нибудь иначе. Со времени Иоганна Мюллера, открывшего этот закон, его действительность подверглась сильным ограничениям, что не препятствует, однако, тому, что он все вновь выдвигается в качестве аргумента в пользу непознаваемости мира. Уже Ленин и Плеханов занимались им. Центр тяжести аргументации этого «физиологического идеализма» заключается в том, что если наши чувства могут отвечать на внешние раздражения только в соответствии со своей специфической природой, то они и мир отражают специфическим образом, а не так, как он есть. А так как мы познаем мир только через посредство наших чувств, то познаем мы его не так, как он есть, т.-е. не об'ективно, а только суб'ективно.

Нет, конечно, никакого сомнения, что между нашими ощущениями и внешними явлениями природы, которые они нам передают, существует качественное различие. Свет, который мы ощущаем нашим глазом, отличается, конечно, качественно от электромагнитных колебаний эфира, которым он соответствует; ощущение теплоты отличается от движения молекул,

звук — от воздушных колебаний, которым они соответствуют. Никакой материалист не станет утверждать, что природа сама ощущает свет, звук, теплоту, их ощущает только живая часть природы.

Новейшая форма «физиологического идеализма» цепляется за эту сторону и рассуждает примерно так:

«Обычное отношение (между нашими чувственными впечатлениями и их внешними причинами) иллюстрируется привычными ощущениями и их научным эквивалентом, длинами электромагнитных волн. Здесь нет речи о сходстве между лежащей в основе физической причиной и возникающим духовным ощущением. Все, что мы можем требовать от символического двойника цвета (counterpart), сводится к тому, чтобы он был способен нажать отмычку (символического) нерва. Физиолог может проследить механизм нерва до мозга. Но в самом конце здесь имеется пробел, которого никто не берется заполнить. Символически мы можем проследить воздействия физического мира до порога сознания, они нажимают кнопку и — удаляются (А. С. Эддингтон, Природа физического мира, стр. 88—89. Разрядка принадлежит мне. *В. Р.*).

Как мы видим, вся сила аргументации упирается в два момента: 1) что наши ощущения и их внешние причины качественно различны; 2) что между теми и другими есть скачок, характеризуемый автором, как пробел, «которого никто не берется заполнить».

Из этих двух «фактов» выводится солипсизм: все это только мое представление, мое ощущение, в котором у меня есть непосредственная уверенность, все другое — а именно, двойник цвета, т.-е. внешняя причина ощущений, электромагнитные волны, как и самые нервы — суть только символы, т.-е. проекции моего сознания на «внешний мир».

Современный диалектический материалист спокойно признает оба факта и выведет из них не «опровержение слишком агрессивного материализма» (как Эддингтон аттестует свою аргументацию), а его подтверждение.

Займемся сначала вторым аргументом.

Внешние причины, электромагнитные волны определенной длины, падают на сетчатую оболочку глаза и раздражают зрительный нерв. С этого момента прекращается чисто-физический процесс и начинается совершенно иной, физиологический. Это, конечно, скачок, но не пробел (я знаю очень хорошо, что Эддингтон не здесь видит пробел, но я вижу скачок именно здесь). Пробел состоит, в крайнем случае, в том, что этот физиологический процесс не раз'яснен еще окончательно, без остатка. Но, в полную противоположность утверждению «физиологического идеалиста», это не пробел, «которого никто не берется раз'яснить»; напротив, вся физиология органов чувств работает неутомимо над этой задачей, которая, несомненно, все больше разрешается, подобно другим неразрешенным проблемам науки. Но этот скачок сам по себе не есть пробел, но есть лишь специальный случай всеобщей диалектики природы, по которой материя имеет различные способы существования (в нашем случае — эфир и живой нерв), подчиненные различным закономерностям, у которых переход совершается диалектически, т.-е. при посредстве скачка. Что означает в нашем случае этот «скачок»? Что эфир и нерв обладают различными свойствами, ибо они представляют собою различную материю, ее различные способы существования, формы, ступени организации, и потому в них возникли скачкообразно различные свойства, т.-е. скачок имеется не между зрительным нервом и ощущением, — где его ищет идеалист, — а между внешним раздражением (колебание эфира) и нервом.

В самом деле: между эфирными волнами и зрительным нервом физиологический идеалист, как и всякий идеалист, не видит скачка, не видит пробела, потому что и то и другое есть «материя», нечто «внешнее». Он усматривает скачок между ними обоими и ощущением, представлением именно потому, что последнее есть представление, нечто «нематериальное», а для него скачок существует только между «материальным» и «нематериальным». Но такой скачок для него, опять-таки, не скачок, а пробел, т.-е. пропасть, разрыв связи. Эта пропасть исчезла бы лишь в том случае, если бы возможно было либо свести нематериальное, мышление, на материальное, движение материи и т. д., либо, наоборот, претворить материальное в мышление. Но первого материалист не может и не хочет дать, ибо, как говорит Энгельс: «Мы, несомненно, «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но исчерпывается ли этим сущность мышления?» («Диалектика и естествознание», Архив Маркса и Энгельса, т. II, стр. 29, Гиз, 1925 г.). Идеалист приписывает ему и требует от него именно то, чего он не может дать, что он как раз считает «не исчерпывающим» сущности; а когда на идеалиста не угодишь, он кричит о «пропасти», потешается, что «воздействия физического мира», т.-е., в данном случае, внешнее раздражение и зрительный нерв у порога сознания «нажимают кнопку» и «удаляются». Он кричит о пропасти... и сводит материальное к идеальному, нисколько не смущаясь, как материалист. Он испытывает меньше сомнений, нежели материалист, и думает, что таким путем перешагнул через пропасть. Но на самом деле этого нет. Ибо претворение материального в представление не проще, а тысячу раз «запутаннее» и непонятнее, чем «сведение» мышления к материальному, которое, по крайней мере, — как говорит Энгельс, — представляется обоснованной научной задачей, хотя оно как раз и не в состоянии раз'яснить сущность мышления.

Но эта пропасть есть, как уже сказано, диалектический скачок, только расположен он не там, где его ищет идеалист: он находится, — повторяем еще раз, — между внешним раздражением и зрительным нервом. Ибо и порог сознания находится не между зрительным нервом и впечатлением, а у начала зрительного нерва. Таким образом напрасно, разумеется, «физический мир» стучится у несуществующего порога и должен уйти, не выполнив своего дела. Зрительный нерв есть порог сознания, ибо уже зрительный нерв, как живая материя, обладает свойством ощущать. Это свойство живая материя приобретает при помощи диалектического скачка, который, однако, не разрывает связи с другими родами материи (эфир, атомы, молекулы, химическая материя и т. д.), не разрывает между ними непроходимой пропасти, а сохраняет связь, несмотря на скачок. Эта связь заключается в том, что нерв есть точно так же материя, как и другие роды материи (а не символ!), с которыми он соприкасается также пространственно, из которых он возник во времени, с которыми он находится во взаимодействии, закономерности которых в нем сохранены и продолжают действовать и т. д. И, напротив, скачок состоит в особых свойствах, которые зрительный нерв вновь приобрел своею высокой степенью организованности, в качестве живой и, стало быть, высоко организованной материи; в особых формах, которые его движение получило скачкообразно; и, наконец, в особой закономерности, которой он внезапно подвергается. Все это относится, конечно, в первую очередь не столько к зрительному нерву, сколько к живой материи, в отличие от мертвой. Между зрительным нервом и живой материей уже нет скачка, разве только для физиологического идеалиста, который, несмотря на физиологический характер своего идеализма, очень мало осведомлен в физиологии и закладывает порог сознания в конец, а не в начало зрительного нерва.

звук — от воздушных колебаний, которым они соответствуют. Никакой материалист не станет утверждать, что природа сама ощущает свет, звук, теплоту, их ощущает только живая часть природы.

Новейшая форма «физиологического идеализма» цепляется за эту сторону и рассуждает примерно так:

«Обычное отношение (между нашими чувственными впечатлениями и их внешними причинами) иллюстрируется привычными ощущениями и их научным эквивалентом, длинами электромагнитных волн. Здесь нет речи о сходстве между лежащей в основе физической причиной и возникающим духовным ощущением. Все, что мы можем требовать от символического двойника цвета (counterpart), сводится к тому, чтобы он был способен нажать отмычку (символического) нерва. Физиолог может проследить механизм нерва до мозга. Но в самом конце здесь имеется пробел, которого никто не берется заполнить. Символически мы можем проследить воздействия физического мира до порога сознания, они нажимают кнопку и — удаляются (А. С. Эддингтон, Природа физического мира, стр. 88—89. Разрядка принадлежит мне. *В. Р.*).

Как мы видим, вся сила аргументации упирается в два момента: 1) что наши ощущения и их внешние причины качественно различны; 2) что между теми и другими есть скачок, характеризуемый автором, как пробел, «которого никто не берется заполнить».

Из этих двух «фактов» выводится солипсизм: все это только мое представление, мое ощущение, в котором у меня есть непосредственная уверенность, все другое — а именно, двойник цвета, т.-е. внешняя причина ощущений, электромагнитные волны, как и самые нервы — суть только символы, т.-е. проекции моего сознания на «внешний мир».

Современный диалектический материалист спокойно признает оба факта и выведет из них не «опровержение слишком агрессивного материализма» (как Эддингтон аттестует свою аргументацию), а его подтверждение.

Займемся сначала вторым аргументом.

Внешние причины, электромагнитные волны определенной длины, падают на сетчатую оболочку глаза и раздражают зрительный нерв. С этого момента прекращается чисто-физический процесс и начинается совершенно иной, физиологический. Это, конечно, скачок, но не пробел (я знаю очень хорошо, что Эддингтон не здесь видит пробел, но я вижу скачок именно здесь). Пробел состоит, в крайнем случае, в том, что этот физиологический процесс не раз'яснен еще окончательно, без остатка. Но, в полную противоположность утверждению «физиологического идеалиста», это не пробел, «которого никто не берется раз'яснить»; напротив, вся физиология органов чувств работает неутомимо над этой задачей, которая, несомненно, все больше разрешается, подобно другим неразрешенным проблемам науки. Но этот скачок сам по себе не есть пробел, но есть лишь специальный случай всеобщей диалектики природы, по которой материя имеет различные способы существования (в нашем случае — эфир и живой нерв), подчиненные различным закономерностям, у которых переход совершается диалектически, т.-е. при посредстве скачка. Что означает в нашем случае этот «скачок»? Что эфир и нерв обладают различными свойствами, ибо они представляют собою различную материю, ее различные способы существования, формы, ступени организации, и потому в них возникли скачкообразно различные свойства, т.-е. скачок имеется не между зрительным нервом и ощущением, — где его ищет идеалист, — а между внешним раздражением (колебание эфира) и нервом.

В самом деле: между эфирными волнами и зрительным нервом физиологический идеалист, как и всякий идеалист, не видит скачка, не видит пробела, потому что и то и другое есть «материя», нечто «внешнее». Он усматривает скачок между ними обоими и ощущением, представлением именно потому, что последнее есть представление, нечто «нематериальное», а для него скачок существует только между «материальным» и «нематериальным». Но такой скачок для него, опять-таки, не скачок, а пробел, т.-е. пропасть, разрыв связи. Эта пропасть исчезла бы лишь в том случае, если бы возможно было либо свести нематериальное, мышление, на материальное, движение материи и т. д., либо, наоборот, претворить материальное в мышление. Но первого материалист не может и не хочет дать, ибо, как говорит Энгельс: «Мы, несомненно, «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но исчерпывается ли этим сущность мышления?» («Диалектика и естествознание», Архив Маркса и Энгельса, т. II, стр. 29, Гиз, 1925 г.). Идеалист приписывает ему и требует от него именно то, чего он не может дать, что он как раз считает «не исчерпывающим» сущности; а когда на идеалиста не угодишь, он кричит о «пропасти», потешается, что «воздействия физического мира», т.-е., в данном случае, внешнее раздражение и зрительный нерв у порога сознания «нажимают кнопку» и «удаляются». Он кричит о пропасти... и сводит материальное к идеальному, нисколько не смущаясь, как материалист. Он испытывает меньше сомнений, нежели материалист, и думает, что таким путем перешагнул через пропасть. Но на самом деле этого нет. Ибо претворение материального в представление не проще, а тысячу раз «запутаннее» и непонятнее, чем «сведение» мышления к материальному, которое, по крайней мере, — как говорит Энгельс, — представляется обоснованной научной задачей, хотя оно как раз и не в состоянии раз'яснить сущность мышления.

Но эта пропасть есть, как уже сказано, диалектический скачок, только расположен он не там, где его ищет идеалист: он находится, — повторяем еще раз, — между внешним раздражением и зрительным нервом. Ибо и порог сознания находится не между зрительным нервом и впечатлением, а у начала зрительного нерва. Таким образом напрасно, разумеется, «физический мир» стучится у несуществующего порога и должен уйти, не выполнив своего дела. Зрительный нерв есть порог сознания, ибо уже зрительный нерв, как живая материя, обладает свойством ощущать. Это свойство живая материя приобретает при помощи диалектического скачка, который, однако, не разрывает связи с другими родами материи (эфир, атомы, молекулы, химическая материя и т. д.), не разрывает между ними непроходимой пропасти, а сохраняет связь, несмотря на скачок. Эта связь заключается в том, что нерв есть точно так же материя, как и другие роды материи (а не символ!), с которыми он соприкасается также пространственно, из которых он возник во времени, с которыми он находится во взаимодействии, закономерности которых в нем сохранены и продолжают действовать и т. д. И, напротив, скачок состоит в особых свойствах, которые зрительный нерв вновь приобрел своею высокой степенью организованности, в качестве живой и, стало быть, высоко организованной материи; в особых формах, которые его движение получило скачкообразно; и, наконец, в особой закономерности, которой он внезапно подвергается. Все это относится, конечно, в первую очередь не столько к зрительному нерву, сколько к живой материи, в отличие от мертвой. Между зрительным нервом и живой материей уже нет скачка, разве только для физиологического идеалиста, который, несмотря на физиологический характер своего идеализма, очень мало осведомлен в физиологии и закладывает порог сознания в конец, а не в начало зрительного нерва.

Идеалист хочет, конечно, иного об'яснения, чем это. Он мало удовлетворен тем, что познаются о каком-нибудь предмете его свойства, формы движения, его взаимодействие с другими предметами. Он требует «сущности».

«Сказать, — пишет, напр., д'Абро, — что тяготение есть свойство материи или свойство пространства — времени по соседству с материей, это такое же об'яснение, как если я скажу, что сладость есть свойство сахара. Если мы говорим, что материя есть аггрегат молекул, атомов, электронов, протонов, то что же тогда? Что такое электроны? Что такое протоны? Мы можем только признать полное наше невежество, мы должны стараться ограничить до минимума количество этих основных сущностей и удовольствоваться описанием тех свойств, которые их, повидимому, характеризуют, и тех отношений, которые их, повидимому, связывают».

Но свойств и отношений материи идеалисту мало: он требует либо сведения представления к материи (если мы это делаем, то он вволю потешается над нами), либо претворения материи в представление (только в этом случае проблема представляется ему разрешенной). Этим мы служить не можем. Мы, материалисты, довольствуемся знанием вышеуказанных мелочей:

«Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия, ибо позади него нет ничего познаваемого. Раз мы познали формы движения материи (для чего, правда, нам не хватает еще очень многого, в виду кратковременности существования естествознания), то мы познали и самое материю, и этим исчерпывается познание» (Энгельс, Диалектика и естествознании, Архив Маркса и Энгельса, т. II, Гиз, 1925 г., стр. 27).

И последняя фраза относится, разумеется, также к исследованию зрительного нерва. Свойства и закономерности зрительного нерва и живой материи вообще знакомы нам еще весьма несовершенно. Но шаг за шагом мы изучим их лучше и не имеем ни малейшего основания бросаться в об'ятия скептической философии и об'являть несуществующим все то, чего еще не умеем об'яснить.

Что касается другого вопроса, вопроса о том, что наши ощущения и их внешние причины качественно друг от друга отличаются, это, опять-таки, не служит доказательством того, что наши чувства обманчивы и передают нам исключительно нечто суб'ективное, чему не соответствует ничего об'ективного.

Наши органы чувств передают нечто весьма отличное от того, как они его нам передают, но не перестающее быть, несмотря на это отличие, чем-то реальным, лежащим вне их. Каждый орган чувств не только дает знать о существовании чего-то, но и о происходящих в этом реальном предмете изменениях (различные числа колебаний и длины волн эфира — различные цвета разной интенсивности, различные числа колебаний и длины волн воздуха — различные звуки разной силы и т. д.). Наконец, они дают знать и о том, что различные роды реального воздействуют на нас (эфир, воздух и т. д.).

Если бы не было разных родов реального, различно действующих и имеющих различные свойства, колебаний эфира, колебаний воздуха, молекулярного движения, то наши чувства не дифференцировались бы на зрение, слух, осязание и т. д. и не передавали бы нам различные свойства: свет, звук, теплоту и т. д. Разумеется, чувственное ощущение сложно, оно слагается из внешнего раздражения и добавки наших чувств по их физиологической природе. Но как внешнее раздражение, с которым они слагаются, так и природа чувств различаются между собой качественно, и эти свойства возникают непосредственно под специфическим воздействием того особого реального, что они передают. Не случайность, что глаз, например, подобен фотографической пластинке, и в нем точно так же возникают фото-электрические эффекты, как и в ней. Разумеется, наши чувства могут передавать

нам внешнее реальное только до известной границы, а именно до той границы, которая диктуется жизненными условиями. Ниже или выше известной границы они отказываются функционировать: ухо передает звуки только до известной высоты вверх и вниз, глаз не передает нам ни ультра-фиолетовых, ни инфра-красных лучей; существуют также явления, которых вообще наши чувства не передают нам в их первоначальной форме. Так, например, электричество, о котором один исследователь говорит:

«Удивительное противоречие кроется в следующих двух фактах: с одной стороны, мы видим, что в настоящее время электричество играет большую, положительно преобладающую роль во всякого рода сношениях людей друг с другом и во всех почти областях человеческого труда и комфорта; с другой же, даже при самом внимательном наблюдении природы, мы почти никогда не замечаем в ней электрических явлений. Во всей природе мы, повидимому, никогда не встречаем следов электричества, если не говорить о непосредственном, в виде молнии, разряде грозовых туч или о том редком явлении огней Св. Эльма, на которое мы можем случайно натолкнуться. Но из этого противоречия вовсе не следует, что в природе вообще не происходит электрических процессов, и что электричество есть в сущности продукт человеческой техники; напротив, оно указывает на то, что мы вообще не в состоянии распознать электрические явления, существующие в природе.

Для познавания всех других ее явлений: звука, света, теплоты, сама природа дала нам весьма простые вспомогательные средства — наши чувства: мы ощущаем, видим и слышим их; для восприятия же электрических явлений мы не имеем особых органов чувств. Вот почему мы не видим и не ощущаем электричества в природе. Будь у нас электрическое чувство, вся природа показалась бы нам наполненной электрическими явлениями так же, как теперь кажется она нам пропитанной теплотой и светом. К счастью, среди многих других свойств электричество обладает одним, весьма удобным для нас: способностью легко и почти без всякого содействия с нашей стороны вызывать другие формы явлений природы — свет, звук, теплоту, движение. Потому только и доступна нашим чувствам эта сила, играющая в природе столь значительную роль» (Л. Грец, Краткий курс электричества, русск. изд., 1925 г., стр. 5—6. Разрядка принадлежит мне. *В. Р.*).

Итак, хотя мы не обладаем органом, который мог бы непосредственно дать нам знать об электрических явлениях, как таковых тем не менее, мы их открыли. Точно так же дело обстоит не только с электричеством, а, напр., с ультра-фиолетовыми лучами и пр. Ход развития наук постоянно доказывает, что они прекрасно умеют разбираться между нашими чувственными ощущениями и лежащими в их основе реальными процессами и все глубже проникают в об'ективную природу материи. Суб'ективность наших чувственных ощущений нисколько не мешает науке познавать мир об'ективно. Хотя в основе всякой науки и лежат наши суб'ективные ощущения, как они нас ориентируют в обыденной жизни (к великому огорчению идеалистов), но тому, кто хотел бы их вновь распознать в современном естествознании, пришлось бы очень понатужиться, настолько они претворились в об'ективные свойства материи. Электроны и протоны современной науки значительно непохожи на материю, как ее нам отражают наши органы чувств. Для естествоиспытателей, которые находятся под влиянием идеализма и религии, это новый повод сомневаться в существовании мира и об'явить все только «символами». Их нельзя ничем удовлетворить: если бы наука оставалась прицеплена к нашим чувственным впечатлениям, это было бы для них

доказательством, что мы привязаны к нашим суб'ективным ощущениям; а когда наука освобождается от наших суб'ективных ощущений и об'ективирует мир, то это недостаточное доказательство, что мы в состоянии познавать что-нибудь об'ективное, тогда реальное становится только «символом», так как мир естествознания так непохож на наши ощущения и т. д. Они были бы удовлетворены только в том случае, если бы мы были слепы, глухи и немы, т.-е. были бы чистым «духом». Они не «доверяют» чувствам, которые существуют, не верят «духу» (святому или непосвященному), который не существует. Для нас же то обстоятельство, что специфическое, суб'ективное качество наших чувственных ощущений не препятствует науке исследовать об'ективные взаимоотношения мира, служит доказательством того, что наши чувства, хотя и в суб'ективных формах, но дают знать об об'ективных связях и изменениях в природе.

3. Старое вино в новых мехах: агностицизм и солипсизм как новейшие открытия.

«Физиологический идеализм» есть одна из форм, в которых проповедуется скептицизм и агностицизм. Однако новейший переворот в физике представляет для них, конечно, гораздо более широкий базис, чем устарелая теория физиологии. Но замечательно и здесь то, что не выдвигается ни один новый аргумент. И здесь преподносится старое вино в новых мехах.

Современная теория атомов разложила, как известно, атом, считавшийся долго неделимым, в качестве последней составной частицы материи, на сложную систему более мелких частиц, на электроны и протоны, из которых одни представляют отрицательные, а другие положительные электрические тельца. Они находятся в чрезвычайно сложном взаимодействии, которое далеко еще не изучено как следует.

Состояние, в котором сейчас находится теория атомов, описывается Г. Вейлем в следующих чертах:

«Картина, полученная на основе опытных данных и затем, при содействии «законов квантов», открытых при изучении теплового лучеиспускания, блестяще оправдавшаяся на истолковании водородного спектра, эта картина рисует нам положительное атомное ядро, вокруг которого вращаются отрицательные электроны, как планеты вокруг солнца. Различные химические элементы отличаются друг от друга числом электронов и при правильном расположении элементов оно растет от элемента к элементу на 1. На ряду с электроном, в качестве единственного первичного строительного материала, выступает, повидимому, ядро атома водорода. В радиоактивных явлениях мы видим, как путем отщепления α частицы (ядра гелия) один элемент сам собою переходит в другой, с порядковым числом на 2 ниже. У элементов как низкого порядка, так и самых высоких, при земных условиях уже не устойчивых радиоактивных, например, у азота, Резерфорду удалось при помощи бомбардирования α частицами произвести искусственное разрушение атома. Астон нашел, что массы атомных ядер выражаются целыми числами, кратными массы ядра водорода. Если это не нашло себе выражения в установленных химиками атомных весах, то зависит это от того, что к одному и тому же порядковому числу могут принадлежать различные атомные конституции, «изотопные» элементы (следовательно, не только количество, но и форма играет роль,—сие по адресу механистов! *В. Р.*), так что то, что химики доныне считали элементом, является часто смесью изотопов, химически неотделимых друг от друга. Построение материального мира из двух единств, имеющихся в огромном множестве совершенно однородных экземпляров, является, несомненно, одною из наиболее основных черт

в природе космоса, требующей самого глубокого изучения» (Г. Вейль, Философия математики и естествознания, стр. 141).

Этот взгляд на состояние теории атомов в настоящее время уже преодолен, особенно в отношении «двух единств», долженствующих быть последними однородными строительными материалами мироздания. Но и в изложенной здесь гипотезе строения атома имеются трудности, далекие от разрешения, которые, однако, именно поэтому дают повод к слишком поспешным выводам, об'яснимым только влияниями социальной среды.

Между прочим, одна из таких трудностей заключается в том, что электроны будто бы образуют в известной мере герметически замкнутые тела, которые не пропускают через себя никаких физических процессов, а также не передают таковых изнутри окружающей среде; они представляют собою подобие тюрьмы, из которой ничто не может ускользнуть. Причина этого явления неизвестна, и пока нет необходимости строить об этом предположения. Но это обстоятельство вновь послужило поводом декретировать «исчезновение» материи. Послушаем истолкователя этого факта, английского философа Бертрана Рэсселя:

«Если мы примем электрон типа Резерфорда, то мы должны сказать, что если внутри электрона что-нибудь происходит, то мы об этом ничего не можем знать. Никакое событие внутри электрона не может сопровождаться событием вне его... То, что происходит внутри его, если вообще что-нибудь происходит, безразлично для остальной вселенной и в действительности совершается не в том же пространстве-времени, как то, что происходит вне его. Но мир есть мир причинно-связанный и должен быть таковым, иначе он превратится в бессмысленную сказку, так как наши заключения находятся в зависимости от причинных законов. Поэтому мы не можем включать в физику что-нибудь такое, что причинно изолировано. Мы не имеем никакого основания утверждать, что не существует ничего такого, что было бы каузально изолировано (это, конечно, неверно, мы имеем все основания утверждать это, но не будем останавливаться на этой стороне вопроса. *В. Р.*), но мы никогда не можем иметь основание сказать: такое-то и такое-то каузально изолированное событие существует. Физический мир есть мир, причинно связанный с ощущениями, а то, что не находится в связи, лежит вне физики. Если, следовательно, внутри электрона что-нибудь происходит, то такое событие не принадлежит к миру физики. Отсюда как будто следует, что если электрон должен занимать определенное положение в пространстве-времени, то должен быть либо точкой, либо дырой. Но первое физически несостоятельно, второе же едва ли представляется чем-либо таким, что может иметь разумный смысл. Таким образом, электрон Резерфорда ставит проблемы, как бы мы их ни толковали.

Электрон Гейзенберга указывает путь для выхода из этих затруднений. Электрон не занимает определенного места и ничего в нем не происходит (!). Он есть, по существу, излучение (это ничего? *В. Р.*), поддающееся наблюдению в других местах, чем то, о котором мы раньше бы сказали, что в нем находится электрон. Тем самым электрон сводится к закону об известных событиях в определенной местности. Если мы примем эту точку зрения, то не сможем сказать, что электрон есть точка, или конечная местность, или дыра... «Материя» есть, следовательно, по этому воззрению, не что иное, как законы о событиях в «пустом» пространстве» (Б. Рэссель, Анализ материи, стр. 325. Разрядка принадлежит мне. *В. Р.*).

Здесь мы имеем перед собою типический пример того, как заставляют материю «исчезнуть». Мы сказали выше, что не хотим строить предположения о причинах поведения электрона, поведения, нужно признать, совершенно не подобающего порядочному электрону из настоящей буржуазной семьи,

с хорошими, не революционными манерами, которые должны были бы обязать к большему благоговению перед законами, хотя бы только физическими. Но сам Рэссель дает нам две возможности об'яснения: электрон есть либо точка, либо дыра. Во втором случае, внутри электрона, конечно, ничего не может произойти. Тогда там «пустое» пространство, а пустое пространство, даже поставленное в кавычки, не может действовать. Но нужно вполне согласиться с Рэсселем, что представление о пустом пространстве «едва ли представляется чем-либо таким, что может иметь разумный смысл». Однако здесь я должен заметить, что только мы, материалисты, имеем право утверждать это. Материалист не может себе представить пространства, которое было бы «дырой», а стало быть пустым, т.-е. лишенным материи, ибо чем было бы это пространство? Но такое понимание действительно, как уже сказано, только для материалиста, который не может себе представить действия без материи. Но у Рэсселя сомнение в разумности дыры в пространстве тем более неуместно, что предложенное им разрешение есть не что иное, как именно такая дыра! Ведь он предлагает считать электрон «законами о событиях в «пустом» пространстве». Разве пространство перестает быть пустым, если слово: «пустой» ставят в кавычки? И разве оно заполнится, если его наполнить «законом», т.-е. понятием, идеей? Первое противоречие.

Второе противоречие еще поучительнее. Электрон долженствует представлять «законы» о «событиях в пустом пространстве». Разве это более вразумительно, чем пустое пространство без событий? Наоборот: пустое пространство без событий можно было бы еще в случае крайней нужды как-нибудь себе представить, но никакой человек, владеющий своими пятью чувствами, не поймет, что должно или могло бы быть событием в пустом пространстве, или чем должно быть пустое пространство с событиями!

Но я забыл, что по Рэсселю эти события не происходят в том месте, где якобы находится электрон, а долженствует быть излучением в окружающей среде электрона. Но это излучение: что служит его источником? Чем возбуждается поле, т.-е. окружность электрона? Не элетроном ли? И с чем связано излучение? С материей или не с материей? Есть ли оно «чистая энергия»? Тогда мы имеем перед собой еще одну «активную» дыру. Если же оно связано с материей, то почему сам электрон не может быть материей? Почему же тогда именно он должен улетучиться в понятие? Уразумей, кто может.

Ясно, конечно, что другая возможность, которую Рэссель приводит для об'яснения поведения электрона, а именно, что он есть точка, в физическом смысле совершенно неудовлетворительна. Физическая точка не может иметь протяжения и была бы, следовательно, только иным названием для дыры. Но разве все это может служить основанием сейчас же подвергнуть сомнению материальный характер электрона и отказаться от разрешения «загадки»? Пока, в данный момент или на более продолжительное время, нет возможности найти достаточное основание для поведения электрона. Мы должны продолжать поиски, мы должны наблюдать, ставить опыты; быть может, то обстоятельство, что мы не замечаем в электроне никаких процессов, об'ясняется исключительно несовершенством наших средств или методов наблюдения, и удовлетворительный ответ будет нами в конце концов найден. Да, но в одном только случае: если мы не станем подвергать сомнению материальность электрона. Если мы от нее откажемся, то и естествознание превратится в химеру.

По Рэсселю сомнительно, происходит ли что-нибудь внутри электрона, а если в нем что-нибудь происходит, то это безразлично для остальной вселенной. Только окружающая среда электрона активна, события происходят в ином месте, чем электрон. Но компетентный человек, физик Вейль говорит

обратное (что опять-таки не мешает тому же Вейлю, как мы еще увидим, тут же отрицать материю):

«Современная физика материи, теория квантов все еще создает впечатление, что нет надежды постигнуть, исходя из чистой теории поля, раскрывающиеся здесь факты, широко подчиненные закону целых чисел (к значению этого обстоятельства мы вернемся ниже. *В. Р.*). И опыт говорит очень определенно за иную форму причинности, не укладывающуюся в рамки теории поля, а именно за то, что поле, предоставленное самому себе, пребывает однородным в состоянии покоя и возбуждается только чем-то иным, материей, «духом беспокойства». Наша сознательная научная деятельность должна всегда цепляться за материю. Материя есть агент, возбуждающий поле» (Г. Вейль, там же, стр. 133. Последняя разрядка принадлежит автору, остальная мне. *В. Р.*).

Это полная противоположность тому, что говорит Рэссель, но и тому, что утверждает сам Вейль в других местах своей книги, которые мы сейчас приведем. Но здесь, по крайней мере, он говорит совершенно ясно: поле, т.-е. окружающая среда электрона, иными словами — то место, где события могут быть учтены,—возбуждается материей, т.-е. электронами. Но как же это возможно, если внутри электрона ничего не происходит, если «для остальной вселенной» безразлично, что происходит в электроне? Как может исходить от электрона «возбуждение поля», если в нем ничего не происходит? Поэтому-то, по Вейлю, «чистая теория поля», т.-е. такая, которая предполагает активную среду без материального ядра, есть нелепость. Следовательно, то, что утверждает Рэссель, есть нелепость.

И Рэссель знает очень хорошо, куда ведет его путь: к солипсизму:

«Много возможно путей для превращения вещей, которые раньше считались «реальными», в одни только законы о других вещах. Ясно, что этот процесс должен иметь предел, иначе мир превратится в игру в прятки, где отсылают от Понтия к Пилату (each other's washing). Но единственная отчетливая граница есть та, которую проводит феноменализм (т.-е. юмизм. *В. Р.*), быть может, следовало бы скорее сказать, солипсизм. Раз мы признаем, что могут существовать события, которые не ощущаются, тогда нет видимой причины копаться и выбирать между событиями, которые физика обязывает нас признать» (там же, стр. 325. Разрядка моя. *В. Р.*).

Это ясно, как солнце, и во всяком случае яснее, чем логика Рэсселя. Если мы признаем, что могут быть события, которые больше, чем наши ощущения, то мудрости Рэсселя конец. В самом деле: вещь, которую мы до сих пор считали «реальной», есть лишь закон о другой вещи. Но последняя, в свою очередь, тоже не «реальна», а скорее, опять-таки, является законом о другой вещи, которая опять—только закон о другой вещи. И так далее; но до какой «вещи»? Какая «вещь» реальна и есть больше, чем закон о других «вещах»? Такая вещь не существует, только сознание есть такая реальность, на которой можно остановиться. Лучше сказать: только мое сознание, на котором *я* должен остановиться. Итак, существовать, значит быть воспринимаемым,—изречение Беркли. Мы благополучно прибыли в гавань солипсизма. Нельзя сказать, чтобы это было оригинальное открытие!

Послушаем теперь не философа, а естествоиспытателя по профессии. Мы видели, как Вейль развивает ясно и определенно, ссылаясь на опыт и на современную физику материи, теорию квантов, что агентом, т.-е. активной частью природы, служит материя, и что чистая теория поля, поэтому, невозможна. Но все это только «по школьной указке». Подлинная душа Вейля раскрывается в следующих строках:

«Участок поля, примерное излучение, заключающееся в пустом пространстве (Hohlraum, каверна) (Рэсселевская дыра, которая «представляется лишенной смысла». *В. Р.*), замкнутое лишенной массы оболочкой, обладает инертной массой (träge Masse), подобно обыкновенному телу. Напряжение, с которым тело стремится вопреки отклоняющим силам остаться на естественном пути, обусловленным полем инерции, имеет источником сконцентрированную в теле энергию. Масса электрона происходит, несомненно, в значительной доле от сопровождающего электромагнитного поля. Или может быть целиком? Но если все физически существенные свойства элементарных материальных составных частей, как мы видели, коренятся в окружающем поле, а не в заложенном в центре поля субстанциальном ядре, то приходится поставить себе вопрос, необходимо ли вообще допущение подобного ядра и не можем ли мы совсем без него обойтись?

На последний вопрос теория поля материи отвечает утвердительно; материальная частица, в роде электрона, представляется для нее просто маленьким участком электрического поля... Здесь нет неизменной субстанции, из которой состоит электрон во все времена» (Там же, стр. 129—130).

Итак, то же самое, что и у Рэсселя. Место материи заняло поле, «каверна, которая содержит в себе излучение, замкнутое лишенной массы оболочкой». И эта «каверна» обладает инерцией. Как может каверна заключать в себе излучение? Куда же девалось эйнштейновское открытие, что инертная масса тождественна тяжелой массе!

Следовательно, «тело» не есть материя, а лишь «сконцентрированная энергия»? «Масса электрона происходит,—возможно, что целиком, — от сопровождающего электромагнитного поля». Но чем именно «сопровождается» это электромагнитное поле? Мы пришли, таким образом, к телу без материального ядра. Материя опять исчезла. И все-таки она, по тому же Вейлю, «злой дух», «дух беспокойства», возбуждающий поле. Опять, уразумей, кто может. Разве только, что нужно это понять так, что в Вейле живут две души: физик Вейль должен всегда «в своей научной деятельности цепляться за материю». Но как идеалист он должен стремиться к уничтожению материи. Отсюда противоречия.

Мы имеем здесь дело, разумеется, не с физической стороной теории, а с философскими выводами из нее. Взгляды Вейля изложены в книге, носящей заглавие «Философия математики и естествознания». А философски невозможно претворить материю ни в поле, ни в чистую энергию без носителя энергии. Но и физически это невозможно, как это открыто признает единомышленник Вейля, профессор астрономии в Кембриджском университете, А. С. Эддингтон:

«Это не значит, что эфир уничтожен. Физический мир невозможно претворить в изолированные частички материи или электричества с бесформенным промежуточным пространством. Мы должны приписать промежуточному пространству те же свойства, что и частичкам... Мы постулируем эфир в качестве носителя свойств промежуточного пространства, подобно тому как мы постулируем материю или электричество, как носителей свойств частиц. Быть может, философ мог бы поставить вопрос (для Эддингтона только философ-идеалист является философом. *В. Р.*), нет ли возможности принять только свойства, не представляя себе чего-либо в качестве их носителя, и избавиться одним ударом как от материи, так и от эфира. Но здесь не об этом идет речь» (Эддингтон, «Природа физического мира», стр. 31. Разрядка моя. *В. Р.*).

Ах, как хорошо было бы избавиться одним ударом от эфира и материи. Но, к сожалению, чисто-физически этот номер не пройдет. Естество-

испытателей как таковых материя заставляет быть материалистами, и что бы они ни придумывали, как бы ни вертелись и изворачивались, как бы ее ни называли, эфиром или полем или «каверной с оболочкой», она остается «носителем свойств», т.-е. материей. Таково философское понятие материи, не больше. Но зато они мстят как «философы», и в таком качестве отменяют материю или, как цитированный сейчас Эддингтон, претворяют ее в «мыслительное вещество». Чтобы спасти идеализм, он различает «реальное» и «конкретное». Современная физика «реальна», но не «конкретна», т.-е. материя, которою мы занимаемся, реальна, потому что мы ею занимаемся, но в то же самое время она не «конкретна», т.-е. иначе, чем представление в нашем мозгу, она не существует.

Но почему? Эддингтон толкует это следующим образом:

«Описание явлений атомистической физики отличается чрезвычайной наглядностью. Мы видим, как атомы с поясом вращающихся электронов мчатся во все стороны, сталкиваются и отскакивают. Свободные электроны, оторвавшиеся от пояса, спешат умчаться с стократным ускорением, описывая около атома крутую кривую с раствором волосной ширины. Беглецы опять попадаются в плен и включаются в пояс, а ускользнувшая энергия сотрясает эфир вибрациями. Икс-лучи действуют на атом и перебрасывают электроны на высшие орбиты. Мы видим, как эти электроны попадают обратно, то постепенно, то сразу, словно захваченные в мешок, в полуустойчивом состоянии, медля перед «запрещенными проходами». Позади этих мелений квант h (известное число, представляющее наименьшее возможное количество энергии. *В. Р.*) регулирует всякое изменение с математической точностью. Эта картина доступна нашему пониманию,— здесь нет субстанции, которая ускользает как мечта.

Картина настолько ослепительна, что мы, может быть, забыли, что было время, когда мы допытывались, что такое электрон. На этот вопрос мы никогда не получали ответа. Никаких привычных представлений нельзя связать с электроном; он значится в списке неизвестных. Точно так же перескакивание электрона на высшие орбиты есть только условный способ выражения для описания особого изменения в состоянии атома, которое в действительности не может быть связано с движениями в пространстве, доступными наблюдению под микроскопом. Неизвестное служит источником неизвестного» (Там же, стр. 290. Разрядка моя. *В. Р.*).

Итак, все отчаяние порождено тем, что наши «привычные» представления опрокинуты, что мы не могли еще превратить «неизвестное» в известное, что все имеющиеся доныне в нашем распоряжении средства (микроскоп) отказываются служить. Так как мы не получили еще ответа на вопрос: «Что такое электрон?», нам заявляют, что мы никогда его не получим. Список неизвестного с маленькой передержкой превращается в список непознаваемого, — и бросаются в об'ятия солипсизма. Чем иным можно это об'яснить как не всеобщим отчаянием, всеобщим сомнением ученых, сомнением не в материальном мире, а в мире своего класса? Уже тысячи раз естествознание попадало в такие положения, как в настоящий момент, когда все «привычные» представления отказывались служить, все средства и методы оказывались негодными. Никто не падал духом, никто не отрекался от науки. Почему же сейчас этот всеобщий скепсис и бегство в религию и мистицизм? Не нужно быть глубоким аналитиком, чтобы разгадать это.

4. Новейшая „нейтральная" точка зрения.

Эти причины можно вкратце изложить следующим образом:

В эпоху социальных революций, когда классовая борьба между буржуазией и пролетариатом вступила в свой последний фазис, буржуазия впа-

дает в мистицизм во всех областях. С другой стороны, мы переживаем небывалый расцвет естествознания, которое приводит все больше к диалектико-материалистическим заключениям (ниже мы покажем еще это на нескольких примерах). Суб'ективный идеализм и агностицизм являются той формой, в которой обе эти противоречивые тенденции находят себе разрешение. В этих философских воззрениях удобно именно то, что можно спокойно принимать все достижения естествознания, не будучи вынужденным отречься от мистицизма и религии. Суб'ективный идеализм есть р е л и г и я в самом настоящем смысле этого слова; юмизм, опять-таки, с его «нейтральной» точкой зрения, оставляющей нерешенным, является ли причиной наших ощущений реальный мир или бог, или еще что-нибудь иное, или ничего, оставляет для мистиков открытым выход—избрать себе из всех этих возможностей бога. Как суб'ективный идеализм, так и юмовский агностицизм лучше, следовательно, чем неокантианство, соответствует потребности естествоиспытателей быть одновременно и мистиками, не впадая с самими собой в слишком грубое противоречие. Кантовский идеализм, по крайней мере в своей гносеологической части, слишком прозаичен, слишком отдает мещанством, независимое существование мира слишком сильно им подчеркивается, и опыт слишком с ним связывается и им ограничивается. Идеологам буржуазии стал неудобен даже тот скудный остаток материализма, который еще имелся в кантианстве. Они ищут, поэтому, направлений с родственным им уклоном, совершенно свободных от материализма и все-таки оставляющих место для естествознания.

Но даже эта «нейтральная» точка зрения, юмизм, которая, разумеется, менее всего нейтральна, не может быть сохранена путаными головами нашего времени, даже в своем эклектизме они эклектики.

Послушаем новейшего глашатая старой мудрости. Это все тот же Бертран Рэссель, которого мы уже слышали:

«В этой главе я хочу установить результаты, к которым привел наш разбор старого спора между материализмом и идеализмом, и раз'яснить, в чем наша теория отличается от них обоих».

Старая песня; попытки и обещания уладить «старый спор». Теория, разбирающая результаты новейшего развития, будет отличаться как от материализма, так и от идеализма. Это возбуждает некоторый интерес, но кажется, будто разбор скептических направлений нас немного заразил; мы заранее крайне скептически настроены по отношению к новейшей попытке разрешить «старый спор».

«Пока взгляды, разобранные мною в предыдущих главах, рассматриваются как материалистические или идеалистические, они кажутся противоречивыми, так как одни имеют материалистическую тенденцию, а другие идеалистическую. Например, если я говорю, что мои ощущения находятся в моей голове, подумают, что я материалист; если же я скажу, что моя голова состоит из ощущений и других подобных событий, то меня сочтут идеалистом».

Вот, действительно, замечательное рассуждение. Либо мои ощущения находятся в моей голове; тогда, по крайней мере, моя голова не может быть простым ощущением. А если она не простое ощущение, то и прочие вещи также не простые ощущения. Если же, наоборот, голова (мозг) состоит только из ощущений, то они не могут быть в г о л о в е (она, ведь, не существует). И бедные материалисты видят здесь одно сплошное недоразумение. Послушаем дальше:

«Согласно общепринятого взгляда, мы можем познать свои души (minds) при помощи психологии, но единственный путь изучения нашего мозга заключается в исследовании его физиологии, обычно — после нашей смерти, что представляется не совсем удовлетворительным. Я бы хотел утверждать, что то, что видит физиолог, когда смотрит на мозг, есть часть его собственного мозга, а не часть мозга, который он исследует» (Рэссель, цит. соч., стр. 382).

Этот физиолог нашел, действительно, более удовлетворительный способ исследования мозга, чем мы все. Наши мозги могут быть исследованы, к сожалению, только после нашей смерти, а он видит часть своего мозга еще при жизни. Счастливый смертный! Повидимому, для Рэсселя «мозг» и «представления в мозгу» означают одно и то же. Доныне самый вульгарный материалист не дерзал это утверждать. Глядя на чужой мозг, физиолог видит либо чужой мозг, это утверждают материалисты; либо он не видит ничего «реального», существующего во внешнем мире, а испытывает лишь известные ощущения, которые он проецирует «наружу». Это утверждают юмисты. Но никто доныне не утверждал, что физиолог видит свой собственный мозг! Так выглядит «примирение»: это смесь вульгарного материализма с плохо переваренным юмизмом, точка зрения, подлинно не «односторонняя». Дальнейшее «примирение» тоже не отличается от этой интродукции.

«Относящийся к философии материи пункт заключается в том, что события, из которых мы построили физический мир, очень отличаются от материи, в традиционном ее понимании. Ожидали, что материя будет непроницаема и неразрушима. Материя, которую мы строим, как непроницаемую, только потому непроницаема, что мы ее определяем, как таковую: материей в каком-нибудь месте являются все события, которые находятся в этом месте, и вследствие этого никакое другое событие или участок материи не может быть в том же месте. Это тавтология, а не физический факт. С таким же правом можно было бы аргументировать, что Лондон непроницаем, так как никто не может в нем жить, кроме его жителей. С другой стороны, неразрушимость есть эмпирическое свойство, являющееся, как предполагают, приблизительным, а не точным свойством материи. Я понимаю под неразрушимостью не сохранение массы, которое, как мы знаем, есть приблизительное, а сохранение электронов и протонов. Последние же не составляют вещества физического мира. Это логические образования, которые мы выводим из событий» (Там же, стр. 385—386).

Если раньше мозг был ни рыба, ни мясо, ни представление, ни действительность, за исключением физиолога, для которого чужой мозг был представлением, а его собственный—действительностью, который он был в состоянии видеть даже при жизни, то теперь электроны и протоны оказываются только «логическими образованиями» в голове физика. Это уже отчаянно похоже на небезызвестное одностороннее, отнюдь не соглашательское воззрение: на суб'ективный идеализм Беркли. Но что касается событий в одном месте, которые должны составлять непроницаемость материи, то неверно, будто в одном месте могут быть только материальные события. В том месте, где находится мой мозг, происходят одновременно двоякого рода «события»: материальный процесс в мозгу и мой мыслительный процесс. Совершенно безразлично, в каком взаимоотношении могут находится оба эти события, они двоякого рода события. Или мышление не есть событие? Однакоже никто не сможет сказать, что, следовательно, в моей голове, в том же самом месте, может быть два мозга. Итак, ни материю, ни ее непроницаемость нельзя свести на «события».

С другой стороны, еще ни один материалист не утверждал, что непроницаемость материи есть свойство, необходимо связанное с ее существованием. Быть может, откроют материю, которая не непроницаема, хотя легко может статься, что лишь точнее будет сформулировано понятие того, что следует разуметь под непроницаемостью. Но вопрос ведь в том, существует ли материя или нет. Независима ли она от моих ощущений, или нет? Есть ли она их об'ективная причина, или нет? Вот единственный вопрос, который решает, какое место кто-либо занимает в философии. На него мы получили недвусмысленный, односторонне-идеалистический ответ: электроны и протоны, а следо-

вательно материя суть «чисто-логические образования». Примирение, стало быть, выпало так, как и следовало ожидать: в идеалистическом смысле; «нейтральные элементы» опять менее всего нейтральны: это представления, идеи.

И в заключение в этом признается сам философ нейтральности:

«По вопросу о материале, из которого построен мир, защищаемые в этой книге идеи, может быть (нет, неверное! *В. Р.*), ближе к идеализму, чем к материализму. Правда, мы не защищали тот взгляд, что вся реальность духовна. Положительные аргументы в пользу подобного взгляда, ведут ли они происхождение от Беркли или от немцев, кажутся мне ложными. Скептический аргумент феноменалистов (юмизма. *В. Р.*), по которому мы, что бы ни проходило во внешнем мире, никогда не сможем этого знать, кажется мне гораздо более приемлемым».

Даже среди различных мастей он не может себе выбрать одну. Сперва он был суб'ективным идеалистом, солипсистом, затем стал смахивать на кантианца, ибо «не утверждает, что вся реальность духовна», теперь он скатывается назад к юмизму — поведение, поистине, слишком соглашательское. Но он типичен для всех прочих, все они совершенно потеряли голову.

5. Естествознание и материализм.

Остается сделать несколько выводов. Мы видели, какую путаницу внесло в умы новейшее развитие естествознания. Где таится причина этой путаницы, если отвлечься от социальных причин этого явления? В том и единственно в том, что естествоиспытатели не могут решиться оценить диалектически-материалистически однозначно новейшие достижения своих наук, и, находясь под влиянием идеализма, не постигают природы своих собственных открытий. Эти открытия опрокинули, естественно, старые понятия физики и, в особенности, прежние понятия о материи.

Но новейшие достижения отнюдь не прикончили материю; напротив, она завоевала области, в которых вела до сих пор своего рода полулегальное существование, и если бы естествоиспытатели могли решиться, сознательно занять диалектико-материалистическую точку зрения, то хотя и не все проблемы, ждущие сейчас разрешения, получили бы сразу ответ, но они несомненно избавились бы от противоречий, в которых запутываются, желая втиснуть материалистические результаты в путаный идеализм. Они разглядели бы направление, в котором необходимо искать ответа и в котором единственно он может быть найден. Ибо содержание того, что они выяснили своими открытиями, не есть опровержение, а подтверждение материализма, и материализма именно диалектического. Закостенелый способ мышления, заимствованный от старой недиалектической, формальной логики, с застывшими, негибкими понятиями, должен быть окончательно отброшен, его место должна занять диалектика. Ибо диалектика пробивает себе дорогу, хоть естествоиспытатели ее и не знают. Если в одном из самых основных уравнений современной атомистической теории

$$qp - pq = ih\,2\pi$$ [1])

левая сторона содержит две величины, которые по правилам прежней математики взаимно уничтожаются и тем самым приравняли бы все уравнение нулю, а в настоящем случае придают ему совершенно иной смысл, то не пробивается ли в этом мощно диалектика, претворяя простейшие арифметические операции в их противоположность?

Но это только мимоходом. Имеется целый ряд совершенно иных доказательств, знаменующих победоносное вступление диалектики в сферу физики.

[1]) Значение этого уравнения для наших целей безразлично. Достаточно того, что, как видит читатель, даже не сильный в математике, на левой стороне повторяется дважды с обратными знаками одна и та же величина (qp—pq). Но если от 2×3 отнять 3×2, то получится нуль.

Планк приводит три основных принципа прежней физики, потерпевших такое крушение:

1. Неизменность химических атомов.
2. Взаимная независимость пространства и времени.
3. Непрерывность всех динамических явлений (М. Планк, Физические очерки, русск. изд., 1925 г., стр. 57—58).

Что касается первого, то сам Планк замечает, что открытие взаимной обратимости атомов наносит формальной логике смертельный удар. Он говорит:

«Если рассуждать строго формально, то понятие изменяемого атома заключает в себе некоторое противоречие, так как первоначальное определение атомов гласит, что они представляют собой неизменные составные части материи» (Там же, стр. 58).

Но дело именно в том и заключается, что «строго формальные» суждения стали недостаточными. И не только в этом отношении. Теория атомов сделала формальную логику невозможной и в ином отношении. Мы видели, как самые выдающиеся физики запутываются в противоречиях из-за затруднений, которые им причиняет поведение «атомов».

Если мы обозрим стоящие перед физиками трудности, то мы сможем убедиться, что они имеют источником столкновение диалектических результатов со старыми, недиалектическими понятиями, в которые их хотят втиснуть:

1. Электрон расплывается в их руках, они не могут локализировать его в определенном месте и столь же мало—в определенном времени. Они (электроны) находятся одновременно на двух орбитах (путях) модели Бора и представляются, следовательно, имеющими две энергии. И ученые спешат об'явить электрон вне пространства и времени. Но это происходит только от того, что они его понимают, как прерывную частицу (diskretes Körperchen). Вместо того, чтобы отказаться от понятия прерывной частицы, как «последнего элемента материи», они ищут других прерывных частиц, субэлектронов. Затруднения в значительной части исчезнут, если понимание электрона, как прерывной частицы материи, сделать диалектичнее путем обобщения понятия частицы с понятием волны.

2. Движения электрона кажутся произвольными. Электрон представляется изолированным от окружающей его среды. Естествоиспытатели приходят в отчаяние, приписывают электрону свободную волю, другие—желающие меньше компрометировать естествознание—толкуют, что закон причинности в области бесконечно-малых теряет свою действительность. Но не потеряли только их прежний закон причинности свою действительность? Не было ли бы лучше отказаться не от причинной закономерности, а от их прежнего понятия причинности и истолковать его диалектически? Этот путь и был принят: электрон понимается, как групповое явление, управляемое, к тому же, действующим позади его более крупным целым (Totalität), конвульсии, сгущения которого электрон и представляет. Это диалектическое понимание причинных зависимостей разрешает опять часть трудностей.

3. Позади электрона что-то как будто скрывается. Но это что-то не есть тело, частица, субэлектрон и т. д., а непрерывная материя, закономерности которой несравненно сложнее, чем закономерности, управляющие движением прерывных тел.

Наука вступила уже на путь диалектического разрешения. Естествоиспытатели де-Брольи и Шредингер предложили теории, вполне проникнутые духом диалектики.

По де-Брольи электрон есть как частица, так и волна, электрон представляется узловым пунктом волны, т.-е. как бы обладает как свой-

ствами движущейся частицы, так и волны. Это соединение двух противоположностей, каковы тело и волна, свойств тела и волны, которые в физике до сих пор резко противополагались, друг друга исключали,—не есть ли это вступление диалектики в физику бесконечно-малого? Естествоиспытатели, в большинстве не имеющие никакого понятия о диалектике, вопят о мистицизме. Таинственное стало лишь еще таинственнее,—качают они головой. Марксист, который издавна привык оперировать понятиями, выражающими диалектическое противоречие, тот знает, что «частицы» и «волны»—только диалектические понятия, не исключающие друг друга, и, следовательно, не застывшие противоположности, а понятия, имеющие лишь относительное значение, могущие переходить одно в другое: из волны путем сгущения может получиться частица, из частицы—опять волна, при чем частица не может перестать быть процессом. И марксиста нисколько не поражает, что он может найти подтверждение этих знакомых ему законов диалектики вплоть до самых сокровенных глубин материи. Частица есть только узловой пункт волны, этот самый узловой пункт есть процесс, следовательно, частица есть одновременно волна и частица, свойства частицы не исключают того, чтобы она имела также свойства волны, напротив: обе они переходят одна в другую. Для диалектического материалиста здесь все в порядке, нет ничего мистического.

Дальнейший шаг в направлении диалектики делается в теории Шредингера, где частица уже не есть узловой пункт волны, а сама представляет группу волн. Таким образом, частица становится наглядно процессом, который, с одной стороны, связан с находящимися позади его сложными процессами, а с другой — сам представляет единство противоречий, противоречивых движений.

Представим себе суб-эфир, поверхность которого изборождена складками. Колебания складок в миллионы раз быстрее колебаний эфира, видимого света. Они слишком быстры, чтобы попасть в возможные пределы нашего наблюдения. Отдельной индивидуальной складки мы не можем наблюдать. Но если много складок встретятся, скопятся и образуют таким путем целую поверхность возмущения, вихревую поверхность (Sturmfläche), то мы получим возможность наблюдать их. Такое скопление складок, такая поверхность возмущения суб-эфира есть материальная частица; в частности, это может быть электрон.

Итак, электрон есть группа складок, волн, т.-е. является диалектически-сложным существом; этим об'ясняется, почему электрон может находиться одновременно на двух орбитах и иметь, таким образом, две энергии. Ибо складки, из которых он состоит, могут иметь разные числа колебаний и дать настолько сложный общий результат, что он представляется нам необ'яснимым, пока мы понимаем электрон недиалектически, как неизменную, твердую частицу. Но естествоиспытатели начинают сомневаться, не следует ли вообще понимать материю, как волнообразное движение, и отказаться от старых понятий «тела». В этом случае механика, учение о законах движения тел, была бы только грубым, приблизительным описанием таящихся за ними процессов. Прежний идеал естествознания, свести все к механическому движению, оказался бы окончательно изжит, и его место должен был бы занять диалектический метод истолкования противоречивых, переходящих друг в друга движений, волн или групп, при чем самые волны были бы волнами материи, не состоящей из частиц: суб-эфира.

Итак, тот факт, что электрон может иметь две энергии сразу, т.-е. находиться на двух «орбитах» (что, как мы помним, представляет собою только картину процессов, протекающих в атоме в связи с электроном), истолкован тем обстоятельством, что в суб-эфире имеются колебания различной частоты, которые, скопляясь в электроне, дают противоречивое единство. Движения суб-эфира образуют поле, которое Вейль и Рэссель мыслили себе, как чистую энергию: энергия, которую мы наблюдаем, представлялась бы только сложным результатом движений складок суб-эфира.

Итак, какие же результаты дает эта теория?

1. Теория поля получает здесь материалистически-диалектическое разрешение, энергия связывается с сложными движениями множества волновых складок наполняющего пространство суб-эфира, которые, скопляясь в вихревую поверхность, вступают в поле нашего наблюдения в качестве электрона и энергии. Действительная (кинетическая) энергия электрона связана с действительной (кинетической) энергией суб-эфира, и совместно они образуют противоречивое единство. Ниже мы увидим, что несколько подобное понимание было всегда свойственно тем естествоиспытателям, которые мыслили не мистически, а материалистически (Фарадэй и Дж. Томсон).

2. Противоположность между частицами и волнами диалектически совмещается теорией де-Брольи и Шредингера. Волна и частица суть отныне понятия обратимые, друг друга обуславливающие, друг в друга переходящие. Частица есть лишь специфический случай, сгущение нескольких волн.

3. Прерывная частица как последний элемент материи исчезла. Частица претворяется в процесс, который протекает в зависимости от происходящих позади его, в суб-эфире, еще более сложных материальных процессов.

4. Причинность не сменилась произволом, она претворилась только в групповую причинность, во взаимодействие волновых групп. Так как отдельных складок и их движений мы наблюдать не можем, то пока следует применять статистический метод вероятностей.

5. Механическое толкование рассыпается по всей линии. Границы электрона «расплываются», так как это процесс, который находится в тесном взаимодействии с другими сложными процессами. На место механического толкования становятся диалектико-динамические законы переходов одного рода движения в другие роды движения.

6. Суб-эфир тоже не состоит из прерывных частиц, а представляет непрерывное целое, сгущения которого являются электронами.

7. Наконец, электрон не находится вне пространства и времени, но пространство—время, в котором движется электрон, есть пространство—время суб-эфира, целого, сгущение которого образует электрон.

Тем самым диалектика победно вступает в область естествознания. Разумеется, это еще не последняя истина о строении материи. Но только путь диалектики ведет в направлении к никогда не достижимой абсолютной истине.

Победе диалектики в области физики способствовала не только атомистическая теория, подготовка к тому же перевороту, к подлинной революции, а и с другой стороны, со стороны теории относительности и планковской теории квантов. Остановимся на последней.

Значение этого открытия заключается, в первую очередь, в том, что аксиоматически незыблемый со времен Аристотеля и еще более со времен Лейбница принцип непрерывности всех динамических явлений, т.-е. тезис: природа не делает скачков, был ниспровергнут. Планк говорит по этому поводу:

«Третье из указанных положений касается непрерывности всех динамических явлений. Это положение принималось раньше за бесспорную предпосылку всех физических теорий. Его формулировали вслед за Аристотелем в виде известного догмата: natura non facit saltus (природа не делает скачков). Но современное исследование пробило порядочные бреши и в этой почтенной крепости физической науки. На этот раз общепризнанное

положение оказалось в противоречии с принципами термодинамики в виду новых опытных данных; по всем признакам дни его уже сочтены. Природа, повидимому, делает скачки и даже довольно странные!» (Цит. кн., стр. 60).

Действительно, сущность теории квантов заключается в том, что все изменения в природе протекают не постепенно, а толчками, скачкообразно, при чем минимальное количество (quantum) энергии (или материи) выражается целым числом, планковскою постоянною (h). Планк, открывший это явление, излагает его следующим образом:

«Законы лучеиспускания, удельной теплоты, испускания электронов, радиоактивности и еще некоторые другие явления,—все согласно говорят за то, что не только сама материя, но также исходящие из нее действия (поскольку можно вообще произвести такое различие) обладают прерывистыми свойствами, которые также характеризуются новой естественной константой: элементарным количеством (квантом) действия». (Там же, стр. 103).

Значение этого факта для физики тот же исследователь описывает так:

«Неудача всех попыток перекинуть мост через пропасть не оставляла места сомнению: либо элементарное количество действия есть величина фиктивная... либо же в основании вывода закона лежит конкретная физическая идея, и тогда он вносит совершенно новую, неизвестную до того мысль. Этой мысли суждено совершенно преобразовать все наше физическое мышление, которое с тех пор, как исчисление бесконечно-малых было установлено Ньютоном и Лейбницем, целиком основано на предположении о непрерывности всякого причинного соответствия. Опыт решил вопрос в пользу второго предположения» (Там же, стр. 127—128).

Благодаря теории квантов принятая доныне теория света была совершенно поколеблена, и физика стоит вновь перед необходимостью отказаться от строгого противопоставления волны и прерывной частицы.

Со времен Ньютона и Гюйгенса существовали две теории относительно физической природы света. Ньютон принимал, что свет состоит из пучка чрезвычайно мелких частичек, и что мы получаем световое ощущение от удара этих частичек на сетчатую оболочку нашего глаза. Напротив, по теории Гюйгенса, свет состоит из чрезвычайно тонких волн, колебаний эфира. С точки зрения формальной логики обе эти теории не совместимы, одна исключает другую. Поэтому всегда только одна из них могла господствовать в физике, и, как известно, до самого последнего времени волновая теория Гюйгенса вытесняла теорию Ньютона. В настоящее время положение вещей начинает меняться. Теория квантов вскрыла явления, которых волновая теория не в состоянии об'яснить. Получилось такое положение, при котором одна значительная группа явлений может быть истолкована только при помощи волновой теории, а другая не менее значительная группа явлений, опять-таки, только при помощи корпускулярной теории. Тело и волна, эти два доныне исключавшие друг друга понятия, утрачивают и с этой стороны свою традиционную противоположность, толкают и здесь к диалектическому об'единению.

«Старое воззрение физики,—говорит поэтому Уайтхэд,—завершилось в том взгляде, что протяжение в пространстве и единство бытия несовместимы. С этой точки зрения протяженная материя есть в сущности многообразие прерывных существ, которые, будучи протяженными, раз'единены и не связаны взаимно».

В виду последних открытий это воззрение должно быть отброшено, и «мы вынуждены усвоить ту точку зрения, что протяженное количество материи представляет сплошное единство, природа которого частью может быть выражена в языке сил на ее поверхности» (Уайтхэд, Основные начала естествознания, стр. 1—3).

Под общим напором, идущим со всех сторон, со стороны атомистической теории, теории квантов, теории относительности, физика вынуждена отказаться от усвоенного ранее благодаря господству формальной логики непримиримого противопоставления атома, как прерывной частицы, и волны и диалектически их примирить. Результат всех вынуждающих к тому обстоятельств Б. Бавинк формулирует в следующих словах:

«Ясно, что непрерывность и атомистика... вовсе не представляют исключающих друг друга портивоположностей. В теории относительности тоже появляется электрон, или—лучше сказать—атом, как «узел поля», который отнюдь не должен обязательно иметь резко отделяющую его от поля пространственную границу. Не следует только постоянно смешивать непрерывность с однородностью и вследствие того без дальнейших околичностей отождествлять атомистику с допущением строго ограниченных частиц, разделенных «пустым» пространством. Было бы величайшим торжеством современной физики (но и материалистической диалектики! *В. Р.*), если бы удалось вывести из закона (непрерывного) поля необходимость узлов в нем, т.-е. атомистического строения материи» (Б. Бавинк, Результаты и проблемы естествознания, стр. 430).

Но теория квантов имеет еще одну сторону. Если когда-либо какая-нибудь теория доказала, что материя существует и пробивается сквозь все идеалистические толкования, то именно эта теория. Если когда-либо теория доказала, что «как нет движения без материи, так и материи без движения» (Гегель), то эта теория. Если бы идеалистически ориентированные физики не трудились в поте лица своего отделить энергию от материи и даже последнюю превратить в чистую энергию, они бы сами это уразумели и избавились бы от многих противоречий. Недаром одно из величайших открытий Эйнштейна заключается в том, что всякая форма энергии обладает массой. С увеличением скорости увеличивается масса. Свет испытывает отклонение при прохождении мимо больших масс (напр., вблизи солнца это отклонение выражается углом в 83″). Но только масса отдельного тела может изменяться, количество же материи во всей вселенной (или в замкнутой системе) не может ни уменьшаться, ни увеличиваться. Поэтому закон сохранения энергии и массы превратился в единый закон, который можно формулировать так: «Приписывая массе энергию и энергии массу, считая эти две физические величины эквивалентными, а если угодно—даже тождественными, мы вместо двух основных законов, или постулатов, получаем один, высказывающий, что в замкнутой системе весь запас массы, или,—что то же самое,—энергии, остается постоянным» (О. Д. Хвольсон, Основные положения термодинамики, см. «Новые идеи в физике», сб. № 6, 1913 г., стр. 18).

Что означают эти открытия теории относительности, с помощью которой хотели бы вытеснить из мира материю? Не подтверждают ли они, что энергия есть свойство материи? Что она привязана к материи? Почему всякая энергия обладает массой и почему всякая энергия подчинена закону тяготения? Почему при возрастании скорости растет и масса? Только потому, что измеряемая, ощущаемая материя связана с иной материей, с эфиром, с которым она находится во взаимодействии. «Масса тел—это явление, происходящее в эфире» (Л. Грец, Эфир и теория относительности, русск. изд. 1925 г., стр. 68).

«Можно считать,—говорит тот же автор,—что каждая масса содержит энергию, масса сама представляет собою лишь форму проявления энергии, при чем каждое приращение энергии увеличивает массу тела, а каждое убывание энергии уменьшает массу. Во-вторых, можно считать, что энергия сама обладает массой, что энергия является чем-то материальным» (Там же, стр. 72).

Здесь мы видим, следовательно, причину того, почему, согласно приведенного мнения Планка, сомнительно, можем ли мы проводить различие между материей и ее действиями; этим обстоятельством об'ясняется также изменение, внесенное в закон сохранения энергии. И если эйнштейновская теория относительности обозначает этот эфир, как пространственно-временную непрерывность, то несомненно также из осторожности, так как эфир поддается пока опытному познанию не прямо, а только посредственно, благодаря своим гравитационным и электромагнитным действиям (Об'единение их обоих было проблемой, которая до недавнего времени нуждалась в разрешении и недавно и была разрешена Эйнштейном). Впрочем, как мы еще увидим, именно теорией относительности пространство было материализовано. Пространство Эйнштейна есть прежний эфир, хотя бы только в некотором измененном смысле. Так, Макс Борн говорит:

«Если бы это удалось, то тем самым абстрактное абсолютное пространство Ньютона превратилось бы в конкретный эфир, сопротивления инерции и центробежные силы представляли бы собою физические действия эфира... Наука не поколебалась сделать этот шаг, совершенно переворачивающий иерархию физических понятий. И хотя учение об абсолютно покоящемся эфире впоследствии должно было пасть, тем не менее эта революция, низложившая механику с ее трона и сделавшая электродинамику властительницей физики, не оказалась бесплодной; результат этой революции сохранил свое значение в несколько видоизмененной форме» (М. Борн, Теория относительности Эйнштейна и ее физические основы, русск. изд. 1922 г., стр. 138).

Разве это не есть приведенное выше изречение Гегеля: нет материи без движения, нет движения без материи?

Послушаем астронома. Дж. Джинс говорит:

«Кроме материальных электронов и протонов атомы содержат еще и третью величину—электромагнитную энергию. Современная электромагнитная теория приводит к выводу, что всякое излучение несет с собою массу (при чем одному грамму массы соответствует 9.10^{20} эргов или $2.15.10^{13}$ калорий излучения). Отсюда следует, что всякое излучающее вещество теряет массу; всякий радиоактивный распад ведет к уменьшению общего веса. Окончательная судьба одного атома урана изображается уравнением:

$$1 \text{ гр. урана} = \left| \begin{array}{ll} 0{,}8653 & \text{гр. свинца} \\ 0{,}1345 & \text{» гелия} \\ 0{,}0002 & \text{» излучения.} \end{array} \right.$$

Обобщая, можно сказать, что явление радиоактивности состоит в превращении материи в излучение или, иначе говоря, в освобождении излучения при разрушении массы. Из 4.000 гр. материи остается только 3.999 грамм,—оставшийся грамм уходит в виде излучения» (Дж. Джинс, Физика вселенной, см. «Под Знаменем Марксизма» 1929 г., № 1, стр. 104).

Не служит ли это доказательством того, что излучение связано с материей? Но здесь мы имеем пример того, почему физики впадают в противоречия. Вместо того, чтобы сказать: при «разрушении» атомов уходит часть материи, имеющая такую же массу, и движение которой проявляется в таком-то количестве эргов или калорий излучения, они говорят: материя превращается в излучение. Есть ли излучение движение? Но, ведь, нет движения без материи. Конечно, физики еще не наблюдали эту материю целиком (хотя и знают, что часть ее состоит из ядра гелия); но давно ли они наблюдают существование электронов и протонов? Может ли быть энергия чем-либо иным, как не свойством материи? Может ли она проявляться вне связи с материей? Все это, ведь, вопросы, на которые теория квантов отвечает отрицательно.

Сущность этого закона заключается,—как сказано выше,—в том, что все изменения в природе протекают не постепенно, а толчками, скачкообразно, при чем наименьшее возможное количество энергии выражается целым числом, планковской постоянной (h).

Не означает ли это, может ли это означать что-нибудь иное, чем то, что при убывании и возрастании энергии движется не чистая энергия, а часть материи, которая, разумеется, должна быть конечной величиной? Разбирая именно эту сторону квантовой теории, Уайтхэд приходит к следующему заключению:

«В современно физике имеются известные признаки, что для выполнения функций тел, состоящих из частиц (corpuscular osganismus), на основе физического поля требуются вибрирующие существа. Такими частицами могли бы быть те, которые выбрасываются из ядра атомов и затем превращаются в световые волны.

Для каждого примата (так автор называет последние, не редуцируемые дальше составные части мира. *В. Р.*) процесс заканчивается средней энергией, характерной для примата и пропорциональной его массе. В действительности энергия — это масса... Внутри примата имеются вибрирующие распределения (distributions) электрической плотности. Согласно материалистической теории такая плотность указывает на присутствие материи» (Уайтхэд, Наука и современный мир, стр. 167).

Физики по профессии вынуждены утверждать то же самое, что и этот философ-идеалист; а именно: что кванты связаны с движением конечных количеств материи. Вероятно поэтому, что «атомность действия связана с атомностью материи» (д'Абро, цит. соч., стр. 384). Поэтому, опираясь на теорию квантов, Вейль считает безнадежным, чтобы можно было постигнуть факты, исходя из чистой теории поля, а, следовательно,—без материи, ибо эти факты «широко подчинены закону целых чисел». Что это опять-таки означает? Целое число господствует там, где господствуют отношения конечных величин, где движутся, следовательно, конечные частицы материи. Поэтому солипсист и мистик Эддингтон «постулирует» эфир и материю: следовательно, и он понимает эфир физически. Физики восстают против этого по мотивам «философского» порядка, но физические мотивы вынуждают их к этому. Противятся признать, что между материей и «полем» различие заключается только в том, что «поле» наполнено иным родом материи («эфиром»), который хотя и обладает совершенно иными свойствами, чем знакомая доныне материя, и пока в своих действиях поддается наблюдению лишь тогда, когда «сжимается», «сгущается» в другие роды материи, словом—переходит в другие роды материи, но когда-нибудь несомненно будет открыт. Масса электрона, которая на три четверти имеет источником электромагнитное поле; прирост его массы при увеличении скорости; прирост массы тел, вообще, при увеличении скорости,—чем могут обусловливаться эти явления, как не движением различных родов материи, которые находятся во взаимодействии и переходят друг в друга?

В скрытой форме, колеблясь, даже Вейль приходит к этому заключению. Он говорит: «Но кроме атомов, повидимому, и процессы излучения имеют еще в эфире собственное скрытое основание, которое... проявляется в форме светового кванта». (Цит. соч., стр. 143). Физики, державшиеся последовательно собственных предпосылок своей науки и инстинктивно мыслившие, поэтому, материалистически, принимали это всегда, как аксиому, как догмат. Ниже мы приведем воззрение Фарадэя, основоположника теории «поля», который не мог себе представлять иначе, чем материалистически. А сейчас послушаем английского физика Дж. Томсона, одного из крупнейших исследователей нашего времени в области электричества:

«Рассматриваемое с философской точки зрения, понятие потенциальной энергии гораздо менее удовлетворительно и имеет совершенно иную основу, чем понятие кинетической энергии. Когда мы определяем энергию, как кинетическую энергию, то испытываем такое ощущение, будто знаем о ней довольно много; напротив, когда мы имеем в виду потенциальную энергию, то чувствуем, что знаем о ней очень мало, и если нам и могут возразить, что это «немногое» есть все, что нам нужно знать, то такой ответ не может, все-таки, дать удовлетворение человеческому уму.

Прибегнем к воображаемой аналогии, заимствованной из общественной жизни, и сравним кинетическую энергию с наличными деньгами, а потенциальную энергию с текущим счетом в банке. Представим себе, далее, что если бы некто терял соверен (английская монета. *В. Р.)* из собственного кармана, то этот соверен всякий раз каким-то невыясненным путем возмещался бы на его текущем счету в некотором банке, местонахождение которого ему неизвестно, но из которого соверен может быть во всякое время получен обратно, без убытка и без прибыли. Если бы даже для всех деловых целей было достаточно знать это, то вряд ли, однако, можно допустить, что кто-либо, будь то даже самый трезвый деловой человек, руководящийся исключительно практическими соображениями, мог воздержаться от размышлений о том, где были его деньги, когда ушли из его кармана, и от попытки проникнуть в тайну, в которую окутано исчезновение и возвращение его соверена. Совершенно в таком же положении чувствует себя физик пред лицом различных форм потенциальной энергии... Не есть ли превращение кинетической энергии в различные роды потенциальной энергии лишь перенос кинематической энергии из одной части системы, действующей на наши чувства, в другую, которая на наши чувства не действует, так что то, что мы называем потенциальной энергией, есть в действительности кинетическая энергия тех частей эфира, которые находятся в кинетической связи с материальной системой?.. Уже за много лет я показал, что силовые эффекты и существование потенциальной энергии можно об'яснить путем допущения, что первичная система находится в связи с вторичными системами, и что кинетическая энергия этих систем образует потенциальную энергию первичной...» (Дж. Томсон, Электричество и материя, стр. 113).

В этой теории для нас важна не физическая сторона и не вопрос об отношении кинетической энергии к потенциальной, а метод, материалистический дух, которым она проникнута. Две системы находятся во взаимодействии: одна из них поддается чувственному восприятию, другая по своим свойствам такова, что пока мы не в состоянии открыть ее ни нашими чувствами, ни с помощью наших научных аппаратов (микроскоп Эддингтона). Этой второй системой является «поле», а носителем свойств «поля»—«эфир», который должен быть материей и должен разрешить загадку, отчего происходит прирост массы при увеличении скорости, куда девается масса при разложении радиоактивного элемента (1 гр. из 4.000), откуда берется масса электрона,—целиком по Вейлю и Эддингтону, на три четверти по Эйнштейну.

В заключение скажем несколько слов о пространстве.

Допущение пустого пространства (дыра Рэсселя или каверна Вейля) ведет к большим затруднениям. Одним из таких затруднений является допущение действия на расстоянии, к которому—как мы еще увидим—Фарадэй питал такое отвращение. Из других затруднений упомянем только, что при допущении пустоты нельзя об'яснить, каким путем свет доходит к нам через пустое мировое пространство. При этом допущении свет должен быть ничем

иным как материей, путешествующей к нам непосредственно из светоиспускающего тела, но никак не электромагнитными волнами. Ибо как могут в пустом пространстве возникнуть волны? Из всех этих и других противоречий можно выпутаться только с помощью допущения, что вселенная наполнена материей (эфиром). Уже цитированный д'Абро следующим образом излагает основания, которые неизбежно должны вести к этой гипотезе:

«Принимая во внимание, что математические требования этой пустоты, которую мы называем пустым пространством, не допускают наличия у нее метрического поля (т.-е. строения и мерной системы самой в себе), простейшим выходом из трудностей представляется допущение, что реальное пространство в действительности не пусто, а наполнено таинственной физической средой, которую мы можем назвать «эфиром», и что эта среда, а не пространство, обладает Евклидовой структурой.

Риман не приписывал структуру пространства присутствию невидимой среды, эфира, обладающей своею собственной структурой. По его мнению, происхождение метрического поля необходимо искать в ином месте. Он чувствовал, что метрическое поле пространства необходимо сравнить с магнитным или электрическим полем, наполняющим пространство. Риман искал физической причины метрического поля. Он нашел ее в материи вселенной. Метрическое поле превратилось, таким образом, в своего рода материальное поле...

Теперь возникает вопрос: какова природа этого метрического поля? Есть ли это только название, придаваемое нами обусловленному материей строению пространства? Такой взгляд представляется невозможным, так как пространство само по себе, будучи только пустотой, не может иметь строения. Является ли материальное поле непосредственной эманацией материи, разреженной формой материи? Или оно нечто реальное, отличное от материи (назовем его эфиром), в ее отсутствии бесформенное (аморфное) и поддающееся формированию только влиянием материи? В этом случае мы вновь приходим к тому взгляду, что то, что мы обычно называем структурой или геометрией реального пространства, представляется структурой сформированного материей, наполненного эфиром пространства» (д' Абро, цит. соч., стр. 57 и след.).

Нечто подобное должен допустить и Вейль:

«Риман принимал, что метрическое поле не дано неизменным раз навсегда, а находится в причинной зависимости от материи и вместе с ней изменяется; для него оно не принадлежит к неподвижной, однородной форме явлений, а к изменчивому материальному действованию... Мерное поле проявляется через посредство своих физических воздействий, оказываемых на неподвижные тела, световые лучи и все естественные процессы, по которым только мы можем определять его состояние. Но то, что действует, должно и испытывать действие (muss auch leiden), должно быть само чем-то реальным...».

В качестве физика, даже скептик Вейль вынужден говорить языком материалиста, и добавляет:

«Здесь не существует пустого пространства; допущение, что поле не проникает какую-нибудь часть пространства, абсурдно» (Г. Вейль, цит. соч., стр. 62).

Но, как мы видели, «поле» было уже им самим развенчано, если не должно мыслиться материалистически. И основоположник теории поля, Фарадэй, тоже совершенно не мог представить его себе иначе, как чем-то материальным:

«Для Фарадэя было прямо-таки аксиомой, или, если угодно, догматом, что материя не может действовать там, где ее нет». Он не умел смягчить «отвращения, которое питал к представлению о силах,

действующих вдали от своего базиса и вне физической связи с своим источником. Он старался, поэтому, пояснить себе наглядно действия в электрическом поле при помощи картины, в которой представление о действии на расстоянии заменялось, чем-то иным, при посредстве чего между взаимодействующими телами устанавливалась непрерывная связь. Это было достигнуто с помощью понятия силовых линий».

Но последние представляют собою не что иное, как действующую материю:

«Представим себе... нашу первичную систему, как двойное электрическое тело с отрицательным тельцем на одном конце и равным положительным зарядом на другом. Оба конца мы мыслим себе связанными посредством электрических силовых линий, которым мы приписываем материальное существование» (Дж. Томсон, цит. соч., стр. 25 и 59).

Итак, величайший физик Фарадэй не мог себе представить, чтобы «материя действовала там, где ее нет», и его теория поля насквозь проникнута материалистическим мышлением. Таковы были великие классики физики, которые никогда не отвергали, а возводили «в догмат» предпосылки своей собственной науки, без которых она не может дышать, не может ступить ни одного шагу вперед: реальное существование мира, материи. Они и не запутывались в смешные противоречия, как Эддингтоны и Вейли.

Последний, покончив двадцать раз с материей и дважды двадцать раз вновь ее признав, вынужден завершить свой разбор понятий эфира окончательным отказом от чистой теории поля и признанием эфира и материи:

«Если физический характер эфира и был восстановлен, то все-таки величины, характеризующие его состояние, стали совершенно иными по сравнению с началом развития, когда он выступил в качестве субстанциальной среды» (Вейль, цит. соч., стр. 143).

Что эфир отличается совершенно иными величинами, характеризующими состояние, чем обыкновенная материя, что вообще наше понятие материи подвержено непрестанным переворотам, это для диалектического материалиста само собой понятно. Но это нисколько не касается философской проблемы материи; философское понятие материи не требует от эфира, чтобы он имел те или другие определенные свойства, а лишь того, чтобы он, чтобы материя была обязательно чем-то реальным, независимым от нашего сознания, об'ективным. И, как мы видим, наши мистики один за другим вынуждаются опытом, самыми фактами к тому, чтобы признать ее таковой. Хотя бы со всякого рода оговорками, с охами и вздохами, всячески изворачиваясь. — Итак, в полную противоположность утверждению идеалистов, будто материя исчезла, улетучилась в «символы» и пр., она живет и действует.

В буре деяний, в волнах бытия
Я подымаюсь,
Я опускаюсь...
Смерть и рожденье —
Вечное море;
Жизнь и движение
В вечном просторе...
Так на станке проходящих веков
Тку я...

(Гёте, «Фауст»).

Такова материя!

Правда, современная физика представляет противоречивую картину. С одной стороны, физики и философы-идеалисты стараются соединенными силами «упразднить» материю и превратить вместе с нею об'ективный мир

в дикий, непонятный бред; с другой,—самыми фактами они вынуждаются вновь его «ввести», «постулировать». И хоть сейчас все находится в состоянии брожения, но несомненно, что конфликт кончится победой материи, или лучше: материализма, материалистической диалектики. Если бы естествоиспытатели сознавали, под каким они находятся влиянием, каким нашептываниям они обязаны тем, что попадают из одного противоречия в другое, то стали бы решительно на материалистическую точку зрения и убереглись бы от многих заблуждений.

Но сознание определяется социальным бытием. Они находятся под влиянием могущественных социальных сил, которые делают их мистиками и грозят превратить их доныне точную науку в очень неточную реакционную метафизику.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Г. ПЕТРОВ и И. Г. СТЕПАНОВ. Предметный указатель к первому тому «Капитала» Маркса. Издательство Коммунистической Академии. Москва 1929 г. Стр. 105.

Углубленная работа над экономическим учением Маркса, протекающая в наших вузах и научно-исследовательских лабораториях, уже давно настоятельно требует «путеводителя» по Марксу, который не только ориентировал бы читателя во всех научных богатствах, скрытых в «Капитале» Маркса, но помог бы эти богатства осмысленно извлекать. Недавно протекшая в своих наиболее острых формах и ныне продолжающаяся дискуссия вокруг понимания основных категорий марксовой политической экономии вновь приковала внимание учащихся и научных работников к тексту «Капитала» Маркса. В ходе дискуссии обнаружилось, какое значение имело в деле извращения марксизма со стороны сторонников механистического течения в политической экономии (Бессонов, Кон), пренебрежительное отношение этих последних к оттенкам марксовой экономической терминологии. Короче говоря, никогда еще не ощущалась так остро нужда в хорошем «указателе» к Марксу, как в настоящий момент. Отсутствие подобного указателя до сего времени на русском языке является тем более странным, что на немецком языке, как это известно, имеется образцовый в своем роде указатель Д. Б. Рязанова к I тому «Капитала». Можно было надеяться, что появление предметного указателя Н. Петрова и И. Степанова к I тому «Капитала» разрешит назревшую задачу, тем более что авторы в своем предисловии к книге подчеркивают, что их работа является плодом четырехлетнего труда (начата работа в 1925 г.) и обладает рядом преимущест по сравнению с указателем Д. Б. Рязанова. Авторы пишут: «По сравнению с Sachregister Д. Б. Рязанова, настоящий указатель значительно полнее. В то время как указатель Д. Б. Рязанова освещает 353 термина, составленный нами—около 700. Несомненным преимуществом данного указателя, по сравнению с немецким, является также освещение ряда экономических категорий, сделавшихся предметом острых дискуссий в последние годы».

С сожалением приходится, однако, констатировать, что «дела» не соответствуют «словам». Внимательное изучение появившегося русского указателя обнаруживает, что он страдает рядом весьма существенных дефектов. Во-первых, в противоположность указателю Рязанова, русский указатель является только предметным, т.-е. охватывает исключительно экономические понятия и географические термины. Легко понять, каким недостатком является это обстоятельство в указателе Петрова и Степанова. «Капитал» Маркса озаглавлен: «Критика политической экономии», и, действительно, Маркс на протяжении всего своего грандиозного труда воздвигает свою систему, подвергая пересмотру всю предшествовавшую ему и современную политическую экономию. При такого рода архитектонике «Капитала» совершенно невозможно оторвать мысли и замечания Маркса, бросаемые им в тексте по поводу того или иного экономиста, по поводу того или иного цитируемого сочинения от положительных выводов, развиваемых

в основном тексте. Такое же огромное значение имеют ссылки, цитаты и замечания, рассыпанные Марксом в примечаниях, которые иногда дают очень много для понимания того или иного элемента экономической теории Маркса. Но для того, чтобы систематизировать научные богатства, рассыпанные Марксом в его замечаниях по поводу предшественников и их сочинений, совершенно недостаточен один лишь предметный указатель, так как последний не охватывает как раз имен и критикуемых Марксом трудов. Указатель Петрова и Степанова в этом отношении делает огромный шаг назад по сравнению с указателем Д. Б. Рязанова, в котором на ряду с предметным указателем имеется именной указатель и список цитированных Марксом сочинений, которые ориентируют читателя как в работе, проделанной политической экономией до Маркса, так и в отношении Маркса к его предшественникам и современникам.

Во-вторых, указатель Петрова и Степанова неудовлетворителен и по существу.

В самом деле, к указателю, который так тщательно подготавливался и издан таким солидным учреждением, как Коммунистическая Академия, читатель вправе пред'явить по крайней мере следующие требования: 1) указатель должен быть построен по какому-нибудь единому и осмысленному принципу, 2) он должен быть полным, т.-е. охватывать как чисто-экономические понятия, так и понятия философские и социологические, т.-е. он должен прежде всего быть методологическим, иначе говоря—научным указателем, 3) указатель не должен быть лишь случайным перечнем слов, понятий и терминов, встречающихся в I томе «Капитала» Маркса, а должен дать научно обработанную классификацию и систематизацию экономических понятий Маркса во всем богатстве их оттенков, 4) наконец, указатель должен исчерпать до дна все, что у Маркса говорится по поводу того или другого понятия, категории, термина, экономиста, сочинения и т. д.

Что же представляет собою с точки зрения этих пред'являемых современным читателем требований указатель Петрова и Степанова? Уже беглое знакомство с ним приводит к неутешительным результатам. Прежде всего указатель Н. Петрова и И. Степанова лишен какой бы то ни было канвы, стержня, принципа. Неизвестно, что он собственно хочет дать. В самом деле, целью указателя может быть или то, что он ориентирует в общей форме читателя, что и где сказано в «Капитале» Маркса по поводу того или иного понятия, при чем в таком указателе отсутствуют детальные и исчерпывающие формулировки, даются лишь общие указания. По такому типу построен указатель Д. Б. Рязанова, при чем этот тип выдержан от начала и до конца. Мыслим и другой тип указателя, отвечающий не только учебным, но и научно-исследовательским целям. В подобном указателе по поводу каждого понятия и его оттенков приводятся все имеющиеся в «Капитале» определения, если и не буквально, то близко к тексту и в научно-обработанном виде. Пользуясь такого типа указателем, читатель не только узнает где и что сказано у Маркса по поводу данной экономической категории или экономиста, но и как сказано, т.-е. с каким оттенком мысли.

Указатель Петрова и Степанова не соответствует ни одному из этих двух мыслимых типов указателя. Он занимает промежуточную позицию между ними. Он или дает по поводу данного понятия сводку оглавлений в самой общей форме, или же дает более полный перечень определений, но не исчерпывает всех определений, имеющихся в «Капитале», или же, наконец, дает смесь того и другого, т.-е. и более общих оглавлений и более частных формулировок. По этому тройному типу построены в большинстве случаев все экономические понятия и географические термины в рецензируемом указателе. Подобный тип

указателя, лишенный единства в своем построении, произвольно сочетающий в себе самый разнообразный подход к конструированию понятий и их определений, не выдерживает критики и совершено бесполезен для читателя. Чтобы не быть голословными, приведем несколько образцов из указателя Н. Петрова и И. Степанова. Открываем указатель и читаем первое же попавшееся понятие под буквой «А». Понятие гласит: «Абсолютная прибавочная стоимость». Что же читатель узнает из указателя по поводу понимания Марксом понятия «абсолютная прибавочная стоимость»? Читаем по порядку и дословно, что написано авторами: «Производство абсолютной прибавочной стоимости» [отд. III, гл. V—IX—148—247 (119—231)]. Определение. «Производство абсолютной и относительной прибавочной стоимости» [отд. V, гл. XIV—XVI—488—515 (394—416)]. «Абсолютная и относительная прибавочная стоимость» [гл. XIV—488—489 (394—402)]. «Производство абсолютной прибавочной стоимости как общая основа капиталистической системы [490 (395—396)]. «В сопоставлении с относительной прибавочной стоимостью» (стр. 5). Вот и все. Спрашивается, зачем нужен читателю указатель Петрова и Степанова, если он (читатель) с таким же успехом и приблизительно то же может узнать, просмотревши внимательно оглавление к I тому «Капитала» Маркса... Ясно, что все те понятия, которые авторами построены по приведенному образцу, решительно ничего не могут дать ни для справки, ни для ориентировки по «Капиталу». Второй тип понятий, как мы уже говорили, дает более полный перечень определений, но не исчерпывает всего содержания понятия, как оно дано в «Капитале», и в этом заключается основной порок всех тех слов, терминов и категорий, которые подобным образом построены в указателе. Характерным образчиком этого типа понятий является, например, слово «товар». Отсылая читателя к стр. 91 указателя, где приведено это понятие с относящимся к нему определениями, отметим лишь, какое огромное количество важнейших определений и формулировок Маркса не приведено авторами по поводу данного слова, при чем это не случайный пропуск, а, так сказать, результат системы; аналогичные пропуски имеются решительно во всех тех словах и понятиях, которые построены по этому второму типу. Вот приблизительный перечень пропущенных определений, относящихся к слову «товар» (ссылки даются нами на I том «Капитала», Гиз, 1929 г.): «элементарная форма богатства при капиталистическом способе производства»; «предмет, удовлетворяющий человеческую потребность»; «независим от материальной или духовной природы потребности»; «служит удовлетворению человеческих потребностей непосредственно или косвенно (как средство потребления или средство производства)» (стр. 1). «Изучается со стороны потребительной стоимости товароведением» (стр. 27). «Как потребительная стоимость различается качественно»; «как меновая стоимость различается только количественно» (стр. 3). «Как средний экземпляр товаров данного рода»; «как продукт, предназначенный не для собственного потребления»; «как продукт, предназначенный для обмена»; (стр. 5 и 6). «Противопоставление товаров друг другу предполагает различие их потребительных стоимостей»; «как продукт независимых частных работ» (стр. 7). «Взятые в известной пропорции представляют равновеликие стоимости» (стр. 10). «Противопоставление понятия Warenkörper понятию Wertgegenständlichkeit» (стр. 11). «Обладает двойной формой: естественной формой и формой стоимости» (стр. 11). «Общей формой стоимости товаров является денежная форма» (стр. 12). «Warenkörper в смысле потребительной стоимости» (стр. 19). «Внутреннее противоречие товара как единства потребительной стоимости и стоимости выражается при помощи внешнего противоречия между двумя товарами» (стр. 23). «Продукт труда превращается в товар лишь в определенную историческую эпоху» (стр 23). «Как потребительная стоимость есть чувственно-воспринимаемая вещь»; «как стоимость есть чувственно-сверхчувственная вещь» (стр. 30). «Причины его мистического характера» (стр. 31). «Предметы потребления становятся товарами как продукты независимых частных

работ» (стр. 32). «Вещи относятся друг к другу как товары, когда товарохранители относятся друг к другу как собственники» (стр. 41). «Товарное тело одного товара есть форма проявления стоимости другого товара» (стр. 42). «Раздваивается в обороте на товар и деньги» (стр. 44). «Превращается в деньги в той же мере, как продукт труда превращается в товар» (стр. 44). «При непосредственном обмене продукты становятся товарами только в обмене, а не до него» (стр. 44). «Становясь товарами вне общины, вещи превращаются в товары и внутри общины» (стр 44). «Находит воплощение своей стоимости как нечто готовое в деньгах» (стр. 48). «В товарной форме продуктов труда проявляется вещный характер производственных отношений» (стр. 49). «Реально является потребительной стоимостью и идеально меновой стоимостью» (стр. 58). «Вещи, не являющиеся сами по себе товарами, могут приобрести товарную форму» (стр. 56). «Товары обмениваются на всеобщее воплощение своей собственной стоимости» (стр. 60). «Товару внутренне присуща противоположность между потребительной стоимостью и стоимостью, между частным трудом и абстрактно-всеобщим трудом, олицетворением вещей и овеществлением лиц» (стр. 65). «Деньги как превращенная форма товаров, в которой погашаются особенные потребительные стоимости последних» (стр. 96). «Товар как замаскированный способ существования стоимости» (стр. 99). «Как историческая и общественная категория» (стр. 111). «Превращение рабочей силы в товар превращает товарную форму во всеобщую форму продуктов труда» (стр. 112). «Процесс производства товара как единство процесса труда и процесса создания стоимости» (стр. 127). «Усиленная эксплоатация потребительной стоимости товара не отражается на меновой стоимости» (стр. 242). «Условия превращения товара в общественный продукт» (стр. 253). При системе наемного труда все формы стоимости товара представляются в виде форм денег» (стр. 480). «Условия превращения товара в капитал» (стр. 573).

Приведенный пример, нам кажется, с достаточной убедительностью показывает, насколько рецензируемый указатель скользит по поверхности «Капитала», не передавая его содержания, насколько он не полон и не охватывает всего богатства мыслей Маркса.

Как существенный недостаток указателя тт. Петрова и Степанова необходимо отметить злоупотребление частым повторением одних и тех же определений, фигурирующих под разными терминами. Конечно, достоинством всякого указателя является то, что он оперирует множеством родственных понятий, носящих в то же время различный титул. Это дает читателю возможность легко навести справку по какому-нибудь интересующему его специфическому оттенку данного общего понятия. Но в таком случае необходимо, чтобы по поводу данного частного понятия говорилось лишь только то, что к нему относится, а по поводу всего прочего делались бы ссылки на общий корень или общее понятие, к которому данное частное понятие примыкает. Между тем в указателе наших авторов этот принцип не соблюдается. Перекрестных ссылок очень мало, зато одни и те же определения, уместные по поводу одних понятий, фигурируют и там, где они совершенно не нужны, затемняя понимание того специфического, чем характеризуется данное частное понятие. См., напр., слова: «Капитал» во всех его разновидностях, «промышленность», «крупная промышленность», «рабочий», «рабочий класс» и аналогичные понятия.

Таким образом, если в рецензируемом указателе во многих случаях одни и те же определения бесконечное количество раз без нужды дублируются, то, наоборот, там, где повторение необходимо, там его нет. Напр., под таким исключительно важным термином, как «товарный фетишизм», значится несколько ничего не говорящих фраз или оглавлений (см. стр. 92—93), затем под буквой «О» мы встречаем: «овеществление лиц», «олицетворение вещей» (стр. 53), но под рубрикой «товарный фетишизм» не содержится и намека на эти понятия, хотя надо прямо сказать, что и в своей совокупности все эти три слова

решительно не помогают читателю уяснить себе, где и что именно Маркс сказал по поводу товарного фетишизма.

В своем предисловии, как мы уже указывали, авторы ставят себе между прочим в заслугу то обстоятельство, что в своем указателе они дают «также освещение ряда экономических категорий, сделавшихся предметом острых дискуссий в последние годы». Действительно, такая попытка кое-где сквозит в указателе, однако, ее никак нельзя признать удовлетворительной. Берем слово «Абстрактный труд», понятие, и поныне стоящее в центре дискуссии между «физиологистами» и «социологистами». Что же мы читаем в указателе? А вот что: «Приоритет категории «стоимость» и «обмен» перед категорией «однородный человеческий труд»» (стр. 5). Спрашивается, что сие значит! Мы усердно искали раз'яснений по этому поводу у самого Маркса на указанной авторами странице, но, увы, и сам Маркс не в состоянии был нам помочь, ибо у него речь идет о самых различных вещах, ничего общего не имеющих с определением указателя. Итак, мы резюмируем основной недостаток указателя: он составлен авторами наугад, без какой бы ни было руководящей идеи, в итоге мы получили произвольный набор экономических понятий, лишенных единства и плана.

Что касается полноты указателя Н. Петрова, то отметим следующее. Утверждение авторов, что их указатель является более полным, чем немецкий указатель Д. Б. Рязанова, не выдерживает критики. К сожалению, мы вынуждены отметить, что авторы просто по наслышке знакомы с указателем Д. Б. Рязанова. В противном случае они несомненно использовали бы его не без положительных результатов для себя. Уже беглое сравнение обоих указателей показывает, что в русском указателе Петрова и Степанова отсутствует масса слов и понятий, имеющихся у Рязанова и представляющих действительно большое значение, в то время как русский указатель разбух за счет, с одной стороны, дублировки понятий, а с другой стороны, за счет включения огромного количества никому не нужных слов. Приведем пример. В указателе Петрова и Степанова отсутствуют следующие понятия, имеющиеся в немецком указателе: «Агитация за 8-часовой рабочий день», «Восьмичасовой рабочий день», «Антиякобинская война», «Астрономия», «Манера XVIII века», «Потребность», «Горное производство», «Библия», «Химия», «Currency-Schule», «Дегенерация», «Деизм», «Прислуга», «Война», «Качество вещей», «Открытие», «Изобретение», «Школа свободной торговли», «Закон», «Торговый договор», «Охота», «Евреи», «Юстиция», «Каннибалы», «Картель», «Каста», «Католицизм», «Левеллеры», «Закон Лициния», «Материализм», «Материалистическое понимание истории», «Механика» и т. д. и т. п.

Уже из приведенного перечня слов, которые авторы не включили в свой указатель, видно, насколько мало известным им остался немецкий указатель Д. Б. Рязанова, поэтому совсем слабым утешением для читателя является то обстоятельство, что в русском указателе 700 терминов, а у Рязанова — 353. Наши авторы, очевидно, думали, что, назвав одно и то же понятие разными словами, они обогащают свой указатель и, погнавшись за количеством терминов, упустили из виду целый ряд важнейших понятий.

Мы уже указывали, что в русском указателе почти нет философских и социологических понятий, встречающихся в I томе «Капитала». Укажем эти понятия: «Абстракция», «Анализ», «Английская философия», «Армия», «Аскетизм», «Адвокатура», «Антиномия», «Бытие», «Владение», «Взаимодействие», «Возможность», «Всеобщность», «Географические условия», «Движение», «Единство», «Единичное», «Закон», «Завоевание», «Кристаллизация», «Каста», «Греческое общество», «Необходимость», «Натуральное хозяйство», «Натуральный обмен», «Отрицание», «Об'ект», «Определенность формы», «Потребность», «Производство», «Полезность», «Проявление», «Парламентаризм», «Противоположность», «Противоречие», «Право», «Персонификация», «Понятие», «Раса», «Содержание», «Свобода», «Скупость», «Случайность», «Совокупность», «Суб'ект», «Социализм», «Теология», «Форма» и т. д.

Таким образом, мы видим, какое огромное количество необходимейших методологических понятий пропущено в русском указателе. Если же мы в нем встречаем иногда философский или социологический термин, то он буквально лишен того богатого содержания, которым он насыщен в тексте «Капитала». Так, напр., на слово «качество» (стр. 30) авторы пишут одну фразу: «закон превращения количества в качество и молекулярная теория», то же самое написано и под словом, «количество» (стр. 31). Ни один из читателей, знакомых с «Капиталом», не поверит, чтобы этой одной фразой Маркс на протяжении всего «Капитала» исчерпал содержание понятия «количество» и «качество».

Одной из главнейших причин, благодаря которой наши авторы пропустили ряд важнейших понятий и их оттенков, является то обстоятельство, что работали они не над немецким текстом, который невольно наталкивает на ряд новых терминов, а над русским текстом, который очень часто стирает богатство оттенков марксовой терминологии. Так, если посмотрим на слово «стоимость» в указателе наших авторов, то не удивимся, что там отсутствуют следующие слова: «Natürlicher Wert» (естественная стоимость), «Wertgegenständlichkeit» (стоимостная предметность), «Wertverhältnis» (отношение стоимости), Wertsubsianz» (субстанция стоимости), «Gallerte» (сгусток труда), «Kommensurabilitöt» (соизмеримость) и т. д. и т. д. Как раз все эти оттенки мысли в терминологии Маркса, как известно, играли значительную роль в дискуссии по теории стоимости Маркса. Этот пробел тем более непонятен, что авторы ведь сознательно стремились осветить также и терминологию, ставшую предметом дискуссии...

Наконец, сделаем последнее замечание. Беглое сравнение некоторых понятий и слов в указателе Д. Б. Рязанова и в указателе наших авторов говорит о том, что тт. Петров и Степанов пропустили значительное количество определений Маркса, относящихся к тому или иному слову, так, напр., сравните слова в обоих указателях: «Египет», «Античный мир», «Рабочий договор», «Химическая индустрия», «Тред-юнионы», «Равенство», «Роскошь» и т. д.

Наш конечный вывод следующий: в своем теперешнем виде предметный указатель Н. Петрова и И. Степанова не отвечает своему назначению. Он нуждается в коренной переработке.

Е. Каганович.

С. А. ГУРВИЧ и В. Н. ПОЗНЯКОВ. Заработная плата. Теоретические основы и современные проблемы. Гиз. 1929 г. Стр. 140.

Проблема заработной платы занимает в экономической системе Маркса одно из центральных мест. В своем известном письме к Энгельсу от 8 января 1868 г., — посвященном Дюрингу, который был первым из специалистов нарушивший «заговор молчания» официальной науки, направленной против «Капитала», — Маркс указывает, что заработная плата, на ряду с учением об общей форме сверх стоимости и двойственной природе труда, является одной из трех важнейших и совершенно новых элементов «Капитала».

Дюринг, по Марксу, не заметил, «что впервые (в «Капитале». *А. Р.*) было показано, что заработная плата есть иррациональная форма проявления скрывающегося за ней отношения». Однако, несмотря на всю важность этой проблемы, в нашей учебной научно-популярной литературе не имеется ни одной работы, где анализ заработной платы был бы поставлен на правильные методологические рельсы. Заработная плата есть не что иное, как рыночная цена рабочей силы, заработная плата представляет собой цену товара—рабочей силы,—вот стереотипная формулировка этой категории, ставшая, можно сказать, традиционной в нашей учебной литературе. Между тем стоит только внимательно прочесть XVII гл. 1-го тома «Капитала», чтобы убедиться в несостоятельности этой упрощенной формулировки, которая вульгаризирует методологическую сущность

категории заработной платы. В указанной главе «Капитала» Маркс критикует классическую политическую экономию, которая позаимствовала у обыденной жизни категорию «цена труда». Классики пытались, как указывает Маркс, сквозь случайные цены труда добраться до его стоимости. Однако классическая политическая экономия запуталась в неразрешимых противоречиях. «Не дав себе отчета,—говорит Маркс,—в этих результатах своего собственного анализа, некритически применяя категории «стоимость труда», «естественная цена труда» и т. д., как последнее адэкватное выражение отношения стоимости, классическая политическая экономия запуталась... в неразрешимых противоречиях, дав в то же время прочный операционный базис для пошлостей вульгарной экономии, признающей лишь одну внешнюю видимость явлений» (К. Маркс, «Капитал», т. I). И вот Маркс ставит вопрос, каким образом стоимость и цена рабочей силы выражается в своей превращенной форме заработной платы. В результате своего анализа Маркс приходит к выводу, что форма заработной платы стирает всякие следы разделения рабочего дня на необходимый и прибавочный. Заработная плата—поверхность явлений, стоимости и цена рабочей силы—сущность явлений. Если «стоимость и цена труда» или «заработная плата» являются формами мышления хозяйствующих суб'ектов, то «стоимость и цену рабочей силы» можно лишь посредством анализа «извлечь» из первых. «Впрочем, о таких формах проявления,—говорит Маркс,—как стоимость и цена труда, или «заработная плата», в отличие от того существенного отношения, которое в них проявляется,—в отличие от стоимости и цены рабочей силы,—можно сказать то же самое, что о всяких вообще формах проявления и об их скрытой за ними основе. Первые непосредственно воспроизводятся сами собой, как ходячие формы мышления, вторая может быть раскрыта лишь научным исследованием» (К. Маркс, «Капитал», т. I). Таким образом учение о заработной плате является блестящим примером диалектики сущности и явления. Как говорит А. М. Деборин,—сущность явления и явление сущности составляет диалектическое единство. Сущность не существует независимо от явления, она должна явиться. «На самом же деле,—говорит Гегель,—быть лишь явлением—это собственная природа самого непосредственного предметного мира и, познавая его как явление, мы, следовательно, познаем вместе с тем сущность, которая не остается скрытой за явлением или по ту сторону его, а именно тем-то и проявляет себя сущностью, что она его низводит на степень явления» (Гегель, «Энциклопедия»). Заработная плата или цена труда—явление сущности,—стоимости и цены рабочей силы, стоимость и цена рабочей силы—сущность явления,—заработной платы или цены труда. «Если всемирной истории,—говорит Маркс,—потребовалось много времени, чтобы вскрыть тайну заработной платы, то, напротив, нет ничего легче, как понять необходимость этой внешней формы проявления» (К. Маркс, «Капитал», т. I).

Авторы рецензируемой книги подошли к проблеме заработной платы под углом зрения диалектики содержания и формы, сущности и явления,—и в этом большая ценность этого пособия. Рецензируемая книга—популярное изложение заработной платы. «Настоящая работа,—пишут авторы в своем предисловии,—представляет собой попытку дать учебное пособие по заработной плате для наших вузов, при чем авторы равнялись скорее на специальные вузы (технические) и рабфаки с общественным уклоном, а также на профессиональные и рабочие университеты. Для социально-экономических вузов она, конечно, не достаточна; там данная проблема должна быть поставлена по Марксу с привлечением более обширного конкретного материала. Однако и для них она может послужить в качестве одного из вспомогательных пособий» (стр. 3). Эта целевая установка и должна «витать» перед нами, как предпосылка, при рассмотрении как архитектоники, так и отдельных деталей рецензируемой книги, к которому мы и переходим. Книга распланирована таким образом, что она, с одной стороны, дает теорию заработной платы, с другой стороны—авторы привлекают конкретный материал, который освещает современные проблемы заработной платы.

Теоретической части посвящены главы I, II, III, IV, X, конкретной части—главы V, VI, VII, VIII, IX [1]). Глава I—«Капиталистическая эксплоатация. Рабочая сила. Ценность рабочей силы». Круг вопросов, затронутых в этой главе, указывает само заглавие. С некоторыми формулировками мы, однако, не можем согласиться. Глава II—«Цена рабочей силы». В этой главе автор, между прочим, приводит, в качестве примера, маскирующего действительное движение стоимости рабочей силы, то обстоятельство, что в число необходимых средств существования входят и продукты сельского хозяйства. «В земледелии же,—заключает автор,—благодаря наличности класса землевладельцев и получаемой ими земельной ренты мы встречаемся с особым явлением, именно там возникает ложная социальная ценность, благодаря которой часть произведенной в обществе прибавочной ценности перекачивается в карман землевладельцев. Эта ложная социальная ценность повышает меновую ценность сельскохозяйственных продуктов. Но это тоже должно оказывать влияние на величину меновой ценности рабочей силы» (стр. 33). В приведенной цитате правильное положение автора о связи стоимости рабочей силы с частной собственностью на землю, однако, облечено в чересчур «ученый» костюм, который не вяжется с целевой установкой рассматриваемой книги. Автор говорит о «ложной социальной ценности», между тем как в тексте отнюдь не раз'ясняется, что она собой представляет,—автор по существу говорит о ренте, между тем как известно, проблема заработной платы прорабатывается в учебных заведениях, для коих данное пособие предназначается, задолго до ренты.

Сомнения вызывает также трактовка, которая в этой главе дается автором так называемой теории обнищания. Автор полагает, что мерилом для суждения о жизненном уровне рабочего класса является не абсолютный уровень. «Дело, следовательно, не в абсолютном уровне, истинное мерило для суждения об улучшении или ухудшении рабочего класса даст нам сравнение потребностей... рабочего класса с тем уровнем, которым он мог бы пользоваться при данном состоянии развития производительных сил. Известным критерием для этого может служить уровень жизни господствующих классов» (стр. 36). И далее: «С этой точки зрения падение ценности рабочей силы, являющееся результатом роста производительных сил, означает и падение доли рабочего класса в произведенной им массе продуктов, и абсолютное его обнищание, абсолютное понижение его жизненного уровня по сравнению с тем уровнем, который могло бы ему в данный момент обеспечить развитие производительных сил» (стр. 37). Таким образом, автор говорит об абсолютном обнищании, но по сути дела он приближается к точке зрения Каутского, который утверждал, что положение рабочего класса, правда, улучшается, но за то оно, по сравнению с положением буржуазии, ухудшается. Как известно, Бухарин, напр., стоит на иной точке зрения. В своем докладе на IV конгрессе Коминтерна Бухарин говорил: «Маркс... в своей теории анализирует абстрактное капиталистическое общество и утверждает, что имманентный закон капиталистического развития приводит к ухудшению положения рабочего класса. Что же делает марксизм Каутского? Каутский понимал под рабочим классом исключительно континентальных рабочих Положение этих слоев пролетариата все улучшалось и улучшалось, но Каутский не учитывал того обстоятельства, что это улучшение положения континентального рабочего класса покупалось ценою истребления и ограбления колониальных народов. Маркс имел в виду все капиталистическое общество в целом. Если мы захотим быть более конкретными, чем Маркс, то нам придется вовлечь в круг наших наблюдений не только Европу и Америку, но все мировое хозяйство. Тогда у нас получится совсем иная теоретическая картина, чем у Каутского и его соратников. Итак, с теоретической точки зрения, тезис Каутского был неверен. Это была капитуляция перед наступающим ревизи-

[1]) Теоретические главы написаны В. Н. Позняковым, конкретные—С. А. Гуревичем.

онизмом». В виду важности вопроса, точка зрения, сторонником которой является автор, нуждается в более мотивированном обосновании. Гл. III—«Заработная плата». Эта центральная глава книги с методологической точки зрения безупречна. Автор дает следующее определение заработной платы: «Цена труда как превращенная форма рабочей силы и есть заработная плата. Другими словами, заработная плата есть лишь название цены труда» (стр. 30. Курсив автора). Глава IV—«Формы заработной платы». Глава X—«Теоретическая постановка проблем заработной платы в СССР». Автор дает следующее определение заработной платы в СССР: «Так как содержанием «заработной платы» в СССР является распределяемая между индивидуальными работниками доля продукции, то «заработная плата» в СССР есть единство формы «цены труда» и этого содержания. Другими словами, «заработная плата у нас есть распределяемая индивидуально доля продукции, выступающая в виде цены труда индивидуальных работников» (стр. 138. Курсив автора). Правильная методологическая установка, взгляд на заработную плату, на единство внешней формы и скрывающегося за ней содержания, как на единство сущности и явления,—позволяет автору и по вопросу о заработной плате в СССР правильно поставить проблему. Однако в упрек автору следует поставить крайнюю конспективность изложения, а также и то обстоятельство, что автором лишь вскользь затронут вопрос о заработной плате в частной промышленности, в концессионных предприятиях и в кулацких хозяйствах в деревне. Анализ «заработной платы» в социалистическом секторе хозяйства, который ведется на широком фоне диалектики содержания и формы, интересен и содержателен. Неправильной является следующая формулировка автора, которую мы встречаем в предисловии: «Не мотивируя,—пишет автор,—выскажем здесь только свой взгляд на ту основу, выражением которой является заработная плата в обществе переходного от капитализма к социализму типа (включая сюда и первые стадии социализма). Нам кажется, что здесь будет права социальная теория распределения, с тем только весьма существенным отличием, что здесь не будет места борьбе классов» (стр. 12). В примечании к этому месту автор отмечает—«во избежание недоразумений оговоримся, что здесь речь идет о социалистическом секторе» (стр. 12). Мы полагаем, что социальная теория распределения не применима ни к первым стадиям социализма, ни к социалистическому сектору хозяйства СССР, ибо одним из конститутивных элементов этой теории распределения и является борьба классов.

Конкретные главы рецензируемой книги: гл. V—«Обоснование систем заработной платы у Гантта», гл. VI—«Тейлоризм», гл. VII—«Проблема зарплаты у Форда», гл. VIII—«Капиталистическая рационализация», гл. IX—«Тенденция заработной платы при капитализме». Основным недостатком этих глав является отсутствие данных статистико-эмпирического и описательного характера.

Достоинством рецензируемой работы является также ее превосходный научно-популярный язык. В одном из своих писем к Кугельману Маркс писал: «Научные попытки революционизирования науки никогда не могут быть действительно популярными. Но раз научное основание заложено, популяризацию сделать уже легко. Если наступит более бурный период, то можно будет найти иные краски и чернила, чтобы дать популярное изложение таких тем». Маркс, конечно, прав—в популярно-научной работе нужны особые «краски и чернила».

У авторов рецензируемой книги нашлись «краски и чернила», чтобы дать читателю действительно популярную и научную работу.

А. Реуэль.

Л. Я. ЗИВЕЛЬЧИНСКАЯ. Опыт марксистского анализа истории эстетики. Издательство Коммунистической Академии Стр. 362. Тираж 4.000.

Надобность в марксистской работе по истории эстетики сейчас велика. Мы не ошибемся, если скажем, что вопрос о создании работы в этом направлении

стоит очень остро. И если Л. Я. Зивельчинская выпустила в свет свой «Опыт марксистского анализа истории эстетики», то, без сомнения, она учла момент и в этом смысле шла навстречу времени.

Но как? С какой общей теоретической установкой, с каким материалом? Что сказала она нам своей работой?

Прежде всего следует отметить отсутствие в работе общей теоретической установки. «Без теории предмета нет истории предмета». Нельзя заниматься анализом исторического материала, не имея представления о структуре этого материала. Поскольку таковым материалом являются эстетические учения, совершенно очевидно, какое значение приобретает проблемалогия данной дисциплины (эстетики), раскрытие логического существа основных кардинальных звеньев эстетической мысли, определение закономерности возникновения, развития и исчезновения исторических форм эстетического сознания, являющегося лишь частным проявлением общественного сознания в целом. Эстетика в специфическом смысле этого слова есть наука о готовых художественных формах и законах их потребления и представляет собой часть теоретического искусствознания, включающего в себя и учение о художественном производстве, и учение о социальной функции искусства. Какие проблемы эстетики и почему для данной исторической формы сознания общественного человека являются типическими, какова их связь с опытом общественного человека, наконец, какова их идейная, исторически обусловленная, конечно, преемственность с эстетическими традициями прошлого — вот постоянный и живой круг вопросов, продиктованный нам самой природой нашего об'екта. Конкретизируем это положение. Вот, например, проблема об отношении красоты и природы. Есть ли прекрасное, выступающее в качестве об'екта эстетического чувства, свойство, присущее только продуктам человеческой деятельности, или же оно может быть соотнесено также к природе, как качество, присущее ей об'ективно? Эволюция этой проблемы от Сократа, ответившего положительно на поставленный вопрос, и вплоть до Канта и Мендельсона, резко разграничивших эстетическую значимость природы и искусства (самостоятельную позицию занимают идеалист Баттэ и эмпирик Хоггарт), наконец, от Канта и до Плеханова, впрочем тесно связанного с Чернышевским в этом вопросе (Чернышевский об'ективировал понятие прекрасного: прекрасное есть жизнь),—как и всякий эстетический путь проблемы—представляет собой любопытнейшее явление для социолога. Еще Плеханов указывал на общественно-исторический смысл имеющейся здесь разности «точек зрения» и на общественную обусловленность последних (За 20 лет, стр. 352).

Не меньшую важность представляет для нас также исторический путь и другой проблемы — взаимоотношения эстетической категории красоты и познавательной категории истины. Сколько усилий потратил, например, Платон, чтобы подчинить красоту истине, или Кант, чтобы доказать обратное. И не волнует ли нас сейчас, как в свое время Гегеля, мысль о познавательной ценности искусства. Что такое художественный образ в этом плане—только чувственная данность или в нем доминирующим моментом все-таки остается мысль, идея?

Столь же актуальна,—и для нашего времени в особенности,—эстетическая проблема связи между красотой и целесообразностью, горячо обсуждавшаяся не только сторонниками и противниками лефовцев (Арватов здесь играет наиболее яркую в теоретическом отношении роль), но и исследователями самых различных «лагерей». В прошлом среди философов мы можем назвать Сократа, Тома, Хоггарта и др., которые не уклонялись от обсуждения этой интереснейшей проблемы. В новое время принцип соответствия формы предмета и его практического назначения выдвигался в качестве основы для истолкования красоты Шопенгауером, а среди искусствоведов Земпером и в последнее время Лю-Мертен с ее тезисами конкретно-социологического утилитаризма. Наконец, с еще меньшим правом, можно замолчать такую кардинальную проблему всякого эстетического миросозерцания — как вопрос о незаинтересованности эстетического суждения и внутренно связанный с

ним вопрос об отношении красоты и добра. Сколько энтузиазма и внутреннего под'ема аналитической мысли ушло на обсуждение этого вопроса у Канта, Гетчесона, утверждавших полную незаинтересованность эстетического суждения или у их критиков (назовем Гердера), утверждавших обратное. Несомненная принципиальная значимость этой проблемы была еще раз подтверждена Плехановым, считавшим, что и в системе научной марксистской эстетики «остается место для кантовского взгляда на этот вопрос» (За 20 лет).

Совершенно ясно, что историческое становление всех вышеуказанных проблем отнюдь не исчерпывает всех задач анализа истории эстетики, но столь же очевидно, что эти проблемы, как со стороны их логической природы, так и со стороны их общественной обусловленности, не могут быть обойдены исследователем, тем более исследователем марксистом, изучающим свой предмет в его конкретности, в его связях и опосредствованиях с опытом общественного человека.

И что мы должны сказать о работе, названной «опытом марксистского анализа истории эстетики» если на всем протяжении ее не нашлось места для теоретического анализа исторической проблемологии эстетики, если вся книга в целом чужда этих проблем и хаотическим изложением всевозможнейших высказываний всевозможных авторов в разное время и по разным поводам лишь дезорганизует читателя, лишь мешает ему организовать и систематизировать колоссальный теоретический опыт прошлого. Мы должны сказать, что такая работа—не марксистская исследовательская работа, а прагматическая, лишь варьирующая обычные прагматические курсы истории эстетик. Хотя и в этом отношении книга Зивельчинской уступает работам Аничкова и Самсонова, несомненно, более систематически изложенных и более удобных в качестве справочника.

Ползучий эмпиризм квази-научного повествования заставил «стушеваться» также и другую не менее актуальную задачу сегодняшнего дня—задачу научного анализа тех формальных критериев, какие в качестве нормативных принципов выдвигались эстетикой определенных классов и находили себе наиболее яркое выражение в эстетических аксиомах и тезисах определенных мыслителей. Закономерностью появления такого эстетического принципа как принцип трех единств или принцип гармонии и симметрии, их роль—их социально-функциональный смысл, условия их развития и исчезновения (первый принцип был разрушен бесщадным Лессингом — идеологом мятежного мещанства Германии, второй распался не без жесткого участия Рихарда Гамана — глашатая импрессионистического буржуазного кодекса) — вот поле идеологических битв, торжества и поражений эстетики определенных исторических классов. Но напрасно искать анализа об'ективных условий этой идеологической борьбы у нашего автора, идиллически относящегося к вопросам теории и рассматривающего свой предмет исключительно в обывательской «лягушечьей» перспективе, как сказал бы художник. История эстетики — это труд фактов, цитат, замечаний и художественных памятников. Из этой мутной воды и возникла книжечка Зивельчинской — это псевдонаучная Афродита обывательского рассуждательства, не без апломба уверяющая нас, что «трудно предположить общий вкус у квалифицированного металлиста и домашней работницы» (156), и в силу инерции этого же своего апломба в другом месте без всяких колебаний утверждающей обратное только что высказанному, а именно, что будто бы «в феодальном обществе помещик и крепостной не особенно резко отличались по своему опыту, по уровню культуры даже в основных чертах мировоззрения» (246). Надо ли спрашивать о том, какая методология лежит в основе всего этого любомудрия (читай: «философии»), если классовые антагонисты, эксплоататор и эксплоатируемый, родственны друг другу «в основных (!!) чертах мировоззрения», а рабочий металлист и его жена не могут иметь одной общей установки в оценке художественного факта? Общего миросозерцания,—говорит Зивельчинская,—«мы не наблюдаем среди членов одного и того же класса» (158). Так ли? А не есть ли это забвение самой элементарной школьной прописи марксистского учения об

обществе, гласящей, что классовое миросозерцание остается общим для членов данного класса, какую бы специфическую частную форму ни принимало оно в зависимости от профессии и условий работы отдельных сочленов? Не знать этой азбуки — непростительно. Отрицать ее — значит делать ревизию. Но что значит отрицать, когда, как мы уже выше сказали, теоретического анализа проблем эстетики, а равно и самой постановки этой проблемы вообще нет в книге Зивельчинской. Поразительный случай: «опыт анализа» без анализа, без рассмотрения логической природы трактуемого предмета, без попытки определить диалектику исторических форм эстетического сознания общественного человека, без раскрытия общественно-идеологического смысла понятий и категорий эстетики. Что это такое? «Эмпирия», любезный читатель, опыт обывательского эмпирического рассуждательства, изложенный с авторитетным видом человека, не обремененного никакой методологической установкой, не желающего опереться на какую бы то ни было теорию. В этом отношении работа написана образцово. Что же? Каждому — свое.

Но если нет анализа, то может быть есть история, т.-е. характеристика и изложение той социально-исторической обстановки, в условиях которой совершалось развитие эстетического сознания? Может быть, сделана подготовительная черновая работа, которая как-то оправдывает сделанное Зивельчинской заявление, впрочем, не отличающееся последовательностью, что ее работа есть «история, а не социология эстетики»? Нет, и этот практический компромисс оказался лишь обещанием.

История, как наука, оперирует с фактами в их конкретности. Но та «история» (мы затрудняемся назвать ее наукой), которая имеется у Зивельчинской, есть безжизненный сумбур названий, за которыми не скрыто конкретно-исторического содержания. Всякий, кто читал любой курс истории Греции, написанный любым профессором—буржуазным или марксистом, безразлично,—знает, что историческое содержание общественных отношений V века до н. э. в основном характеризуется господством торгово-аристократической верхушки и целым рядом реакционных выступлений старой землевладельческой знати, приводящих к острому кризису аристократической государственности, в то время как новый «низший» торгово-ремесленный класс начинает поднимать голову и впервые решается заявить свои претензии (Гипербол, Клеон и др.). Но история у Зивельчинской—это совсем особая история. Так на стр. 16 можно узнать, что, оказывается, еще в VI веке появился класс городских промышленников и «в союзе с безземельными крестьянами... свергает в VI веке (!!) владычество аристократии», а Афины V века вдруг оказываются эпохой расцвета «победившего торгово-промышленного класса с Периклом во главе» (36), т.-е., позволим заметить от себя, с тем самым Периклом, которого ненавидели как лидера аристократической знати все круги молодой пирейской демократии, и которому не помогла ни утонченная демагогия, ни колоссальная провокация войны, отвлекшая на время внимание масс и промышленного сословия от внутренней политики к внешней. И не только Перикл выступает в несвойственной ему роли «вождя торгово-промышленного класса» в «истории» Зивельчинской. Аристотель, например, оказывается также представителем торгово-промышленного класса, при чем Зивельчинская ссылается на «Политику» (46), что уже совсем нелепо, так как именно в «Политике» Аристотель выступает как сторонник умеренного аристократического строя. Мы уверены, что сделаем удовольствие Зивельчинской, процитировав то место «Политики», которое она, вероятно, имела в виду: «В самом деле, говорит Аристотель,— наилучшим классом народонаселения является класс земледельческий... Имея благодаря своим занятиям в своем распоряжении все необходимое, земледельческий класс занимается своим делом и не стремится к делам посторонним» («Политика», VI, 2, 1), т.-е. типично аристократическое рассуждение восходящее к известному тезису Гераклита: «Лучшие предпочитают всему одно: вечную славу среди смертных, а толпа жует свою жвачку, точно скот». Столь же мало Аристотель повинен в торгово-промышленной идеологии. Хрематисм — т.-е. и наживу и сам рост капитала—он называет «противоестественным по преимуще-

ству» (в той же «Политике», I, 3, 23). Но не только Перикл и Аристотель, а также за компанию взятый с ними Платон, который одновременно играет две роли— и «представителя земледельческой знати» (44), и «идеолога гармонического (?!) общества кочевого (?!!) периода» (36)—но и целый ряд не менее солидных «исторических личностей» переживают на страницах рецензируемой работы «вторую жизнь». Таким «счастливцем» оказался и Буало, ведущий у Зивельчинской двойную игру и на «восхождение буржуазии» (107), тенденции которой он якобы выражал своей эстетикой, и на стабильность «феодального дворянства» (116); и рационалист-об'ективист Гетчесон, при жизни искавший об'ективных принципов в строении геометрических фигур и, как последовательный идеолог торговой английской буржуазии, принявший учение Кальвина о божественном промысле (Энгельс, Истор. мат., Гиз, 1924), после смерти зачислен Зивельчинской в разряд суб'ективистов-представителей земледельческой аристократии (стр. 71); Борк, всю жизнь бывший идеологом агрессивной промышленной буржуазии и, как истинный виг, боровшийся с радикалами с Пристли во главе [1]), об'явлен представителем промышленной буржуазии конца XVIII века и, должно быть, в качестве такового же представителя определена и вся партия вигов.

Но довольно! За вдохновенной фантазией нашей писательницы все равно не угнаться. Пока ставишь на свое место Борка или Гетчесона, дыбом встают Спенсер или Шлегель, «чудесным образом» попавший в лидеры эстетики «господствующей буржуазии» (хотя она и не господствовала в то время), по магическому внушению Зивельчинской должно быть забыв, что он «в свое время» был политическим единомышленником Меттерниха, сторонником габсбургской абсолютистской системы и врагом всего радикально-буржуазного!

Да и, при том, что значат отдельные личности, когда целые классы послушно «нисходят» и «восходят» по мановению пальчика отважного «сверхисторика»! Так, с чувством внутренней неловкости мы не нашли на протяжении целого столетия мелкой буржуазии в Германии, давшей нам целую плеяду мелкобуржуазных авторов. «В Германии до 40-х годов XIX в. мелкая буржуазия образует истинную основу существующих отношений»,—говорит Маркс. Но где там найти мелкую буржуазию, если во всем историческом пантеоне идет такая перетасовка! Куда-то такое пропали крупные земельные собственники: говоря об эстетических учениях с XVI до XIX столетия, Зивельчинская забыла о них, ибо весь этот период «поставлен» ею под соблазнительным заглавием «Эстетика восходящей буржуазии»; если изредка они и появляются, то сидят обязательно на двух стульях (положение, в котором очутился Буало, мы уже выше охарактеризовали). Нет, положительно вся эта история сделана больше с помощью клея и ножниц, чем какого бы то ни было, пусть недостаточно совершенного, изучения действительных общественных отношений. «Элемент фантазии» мы уже отметили. И прав тот, кто однажды сказал: «Поцелуй музы может быть губителен для рассудка ученого—от науки может ничего не остаться».

Выяснять, какая муза поцеловала автора «Опыта марксистского анализа истории эстетики»—не наша задача. Для нас совершенно ясно, что марксистским исследованием данная работа никак не может назваться. Не из этого теста выйдет тот хлеб, который нам нужен. Три кита, на которых стоит весь этот псевдонаучный «опыт»: 1) забвение метода диалектического материализма (если автор им никогда не обладал, это не изменяет дела); 2) забвение теории своего предмета, без которой не может быть ясного опознания истории движения и развития эстетического

[1]) Для классового лица Борка характерно, что, когда английские буржуазные радикалы пели гимны Французской революции, Борк лил слезы по поводу «прав первородства», отнятых у французского дворянства революцией, и посылал гневные протесты «кровавой черни»—виновнице буржуазной революции.

сознания; 3) забвение конкретной исторической действительности—основы исторического анализа.

Результат—новый образец квази-марксистской литературы.

Подводя итоги, специально отмечаем, что автор—выпуская книгу при наличии большого спроса на марксистскую искусствоведческую литературу и недостатке доброкачественного ее предложения—удачно учел практическую сторону дела, игнорируя совершенно интересы марксистской научно-исследовательской установки. Вывод: книга может быть квалифицирована как справочник по истории эстетических учений (и притом, что отмечалось уже, вследствие несистематичности и разбросанности изложения, уступающий курсам Аничкова и Самсонова, в особенности первому). Марксистской или даже социологической работой она, безусловно, не является.

А. О.

Проф. Г. Е. ШУМКОВ. Основы эволюционной персоно-рефлексологии. Со схемой по изучению личности человека. Курс, читанный студентам-медикам при вступлении в психиатрическую клинику. Пермь. Студ. издат. комиссия Пермского медфака. 1927 г. Стр. VIII + 152 + таблица-схема.

Заглавие книги, если перевести его на простой язык, было бы таково: Основы рефлексологии человека. Составлена книга, как сказано в подзаголовке, из лекций, читанных автором. Назначение ее быть «не столько справочником, сколько направляющей книгой». Автор претендует таким образом не просто на то, чтобы дать изложение основных положений рефлексологии: в ней, как рекомендует книгу Студ. изд. комиссия, «намечается ряд новых обобщений, детализация и широкое применение (а не только декларация) эволюционного подхода к изучению рефлексологии личности».

Первая глава книги заключает исторический обзор учений о личности. Автор различает три основных течения: метафизическое, дуалистическое и монистически-материалистическое. Странным образом он характеризует «первобытное направление учения о личности» (когда человечество, по собственному его признанию, одухотворило по своему образу силы природы и различало лишь видимую человеческую жизнь и еще непонятную, невидимую жизнь) как течение метафизическое. Во второй период, характеризуемый им как начало естественно-научного периода в изучении природы человека, он валит без разбору Анаксимена, Гераклита, Демокрита, Эмпедокла и Сократа. Платона он затем характеризует как основателя дуалистического учения о личности человека, при чем он путано играет выражениями «душа-двойчатка», «душа-тройчатка». Психологию Аристотеля он удивительным образом характеризует как «настолько глубоко проникшую в изучение личности, что мы даже по настоящее время по прошествии 2000 лет немногим отошли от его главных положений» (стр. 8). С кого это автор пишет?—В главе о начале христианства автор задается вопросом о том, божественного ли происхождения учение Христа, был ли Христос личность неземная, небесная? Можно ли об'яснить учение Христа «с естественно-биологической точки зрения»? Ответ таков: «В таких сложных вопросах мирового значения всегда следует быть осторожным, строгим к подбору доказательств. Но мы, как естествоведы, можем высказать свой естественный взгляд» (стр. 9). Что хотел автор сказать этим, известно, вероятно, одному ему. Что же касается «естественного взгляда», то мы узнаем, что «причиной распространения новой веры нужно признать стадно-социальный голод». Дальше: «Жестокие меры подчинения, вызывая биологический тонус подчинения (на видовую защиту), вызывали внутренние рефлексы стадно-социальной «спайки», которая, не будучи удовлетворена, находила удовлетворение абстрактно в характере новой христианской веры». Сама же религия оказывается «наукой о высшем—социально-видовом—настроении» (стр. 12). Такова «естественная» путаница естествоведа от «эволю-

ционной персоно-рефлексологии». Следует характеристика психологии средневековья, эпохи возрождения, новой психологии, где модерничанье заменяет оригинальность изложения. Психология XIX века фигурирует у него под рубрикой «национально-психологические течения». Говоря о Вундте, он бросает: «В основе всех этих экспериментов лежала и лежит дуалистическая мысль, что душевные явления можно измерить» (стр. 19). Автор убежден, видимо, в противоположном, что «душевные явления», проще говоря, непознаваемы, не поддаются научному учету. Ибо, думает он, «эмоции и волевые проявления» недоступны психофизическому эксперименту. Почему-то за Вундтом следует рассказ о Канте. Из английских психологов он приводит лишь... Дарвина и Спенсера. В «русском направлении» он различает два периода: подражательный (в эту братскую могилу он валит Сикорского, Челпанова, Россолимо и Корнилова) и самобытный—рефлексологический. Все эти рассуждения заключаются вопросом: неужели «вековая история поисков души есть просто вековое заблуждение»? Ответ гласит: «Нет, этого мы не говорим. В человеке всегда были, есть и будут две стороны жизни: 1) поведение и 2) чувствование в себе. Чувствование в себе проверяется внешним поведением». Каков смысл всех этих рассуждений? Если поведение и «чувствование в себе (как говорит на своем варварском языке автор) суть лишь две стороны жизни индивида, то «поиски души» следует считать «вековым заблуждением». Совмещение обоих утверждений невозможно без того, чтобы впасть в противоречие с самим собой. Автор очерчивает область рефлексологии так: «изучение соотношений человека с окружающей средой». Но ведь рефлексология начинает именно не с человека, а с рефлекса его. Человек не есть сумма своих рефлексов, и закономерность «соотношений человека с окружающей средой никак не сможет быть установлена при посредстве изучений отдельно взятых и взаимодействующих рефлексов.

Одинаковы путаны и рассуждения автора по разным другим затрагиваемым в книге вопросам. Весь смысл содержания главы о «водоразделе психологии и рефлексологии» сводится к утверждению «научной недопустимости» (стр. 67) употребления психологической терминологии в рефлексологии. Не в терминологии дело, а в том, что рефлексология оказалась неспособной стать на место психологии-науки. Вот откуда проистекает рецидив пользования психологической терминологией.

Таковы те «новые обобщения», о которых говорит Студенческая комиссия в предисловии к книге. Так как, по заявлению самого автора, книга имела назначение быть «не столько справочником, столько направляющей книгой», то надо признать, что автор своей задачи не выполнил. Ибо нельзя же странное манерничанье и путаность мысли считать полезными в деле воспитания и дисциплинирования мысли учащихся.

М. Байч.

Ответственный редактор А. М. Деборин.

Редакционная коллегия: А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Я. Э. Стэн, А. К. Тимирязев.

Главлит № А—37056 Москва Тираж 4.200 экз.

Типография газеты „Правда“ Тверская, 48.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 1929 г.

НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

РЕВОЛЮЦИЯ и КУЛЬТУРА

ВЫХОДИТ ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

Н. И. Бухарина, А. М. Деборина, А. В. Луначарского, И. К. Луппола, Е. Б. Пашуканиса, Я. Е. Стэна, Л. Н. Чернявского.

ПАРТИЕЦ должен читать «Революцию и Культуру», потому что этот журнал разрабатывает и популяризует теорию Маркса и Ленина и борется за ясное классовое понимание задач культурной революции.

РАБОЧИЙ АКТИВИСТ получит в «Революции и Культуре» освещение важнейших вопросов культурного строительства, массовой культработы, быта, семьи.

КОМСОМОЛЬЦА «Революция и Культура» вводит в идеологические бои за нового человека, против антипролетарских воззрений, против упадочничества и мещанства.

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК И ВУЗОВЕЦ найдет в «Революции и Культуре» освещение актуальных вопросов научной жизни, жизни высшей школы и оценку основной литературы по различным отраслям науки и искусства у нас и за границей.

КУЛЬТУРНИКАМ, ОРГАНИЗАТОРАМ БЫТА «Революция и Культура» помогает в их практической работе, предоставляя им на своих страницах возможность выступить для обмена опыта.

«РЕВОЛЮЦИЯ И КУЛЬТУРА» подымает и организует обсуждение очередных вопросов советского культурного дня, практических и принципиальных.

В «РЕВОЛЮЦИИ И КУЛЬТУРЕ» находят отражения и подвергаются марксистскому анализу вопросы быта, печати, кино, искусства, литературы.

«РЕВОЛЮЦИЯ И КУЛЬТУРА» содействует сближению научных и культурных работников с трудящимися, организует широкий обмен мнений по вопросам культурного строительства и освещение местной практики в этой области.

«РЕВОЛЮЦИЯ И КУЛЬТУРА» дает систематическую информацию о культурной жизни Запада.

ЖУРНАЛ ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ.

В ЖУРНАЛЕ УСИЛЕНЫ ОТДЕЛЫ: «КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ» и «ЗА РУБЕЖОМ»

И ВВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ НОВЫЕ ОТДЕЛЫ:

1. «Слово и дело». 2. «Злые заметки». 3. Консультация по всем вопросам культуры, политики, экономики и быта.

К участию в журнале «Революция и Культура» привлечен кадр теоретических и культурных сил партии и широкие круги беспартийных ученых, литераторов, культурников, стоящих на материалистических позициях.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 1 мес.—2 номера 80 коп., 3 мес.—6 номеров 2 руб. 40 к., 6 мес.—12 номеров 4 руб. 80 коп., 12 мес.—24 номера 9 руб. 60 коп.

В розничной продаже цена отдельного номера 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в Главной Конторе Изд-ства «Правда» и «Беднота» (Москва, 9, Тверская, 48) во всех провинциальных отделениях «Правды», почт. конторах и письмоносцами.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 2-е полугодие 1929 г.

НА

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

БОЛЬШЕВИК

Орган ЦК ВКП(б)

ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

АСТРОВА В., БАУМАНА К., БУХАРИНА Н., КРИНИЦКОГО А., МОЛОТОВА В., ПОПОВА Н., РОЗЕНТАЛЯ К., ЯРОСЛАВСКОГО Е.

«БОЛЬШЕВИК» освещает важнейшие теоретические и практические вопросы текущей политики и экономики под углом зрения ленинизма.

«БОЛЬШЕВИК» — боевой орган коллективной мысли Ленинской партии.

«БОЛЬШЕВИК» борется со всякими уклонами, ликвидаторством и неверием в социалистическое строительство.

«БОЛЬШЕВИК» — теоретическое оружие в руках каждого большевика, желающего быть достойным солдатом политического, хозяйственного и идеологического фронта.

«БОЛЬШЕВИК» держит своих читателей в курсе основных вопросов политики и экономики текущего дня, политики и практики ВКП(б), теории и практики марксизма-ленинизма.

«БОЛЬШЕВИК» дает материал по международному движению и мировой экономике.

«БОЛЬШЕВИК» дает обзоры белой прессы.

«БОЛЬШЕВИК» предназначается для самых широких слоев партийного актива.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1 мес.—**60** к., 3 мес.—**1** р. **75** к., 6 мес.—**3** р. **40** к., 12 мес.—**6** р. **50** коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в Главной Конторе издательства „ПРАВДА" и „БЕДНОТА", (Москва, 9, Тверская, 48) и во всех провинциальных отделениях „ПРАВДЫ", почтово-телеграфных конторах и письмоносцами.

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА"

ежемесячный философский и общественно-экономический журнал

Журнал выходит под редакцией: А. М. Деборина, А. А. Максимова, М. Н. Покровского, Я. Э. Стана, А. К. Тимирязева.
Отв. редактор А. М. Деборин.

В журнале принимают участие:

И. Агол, И. Альтер, А. Айхенвальд, Арк. А—н, В. Аскуе, В. Астров, З. Атлас, Гр. Баммель, А. Варгинин, Я. Бергман, А. Болотников, В. Борисов, И. Борилин, В. Боровский, Н. Бухарин, Н. Бутаев, Б. Бегаиин, Н. Вайнштейн, П. Виноградский, А. Вишневский, А. Ведов, А. Воронский, Р. Валдер, Б. Выровцев, Б. Гессен, С. Гопкинин, К. Горин, Н. Данилевский, А. Деборин, Гр. Деборин, Ш. Дволайцкий, Г. Дмитриев, Ф. Дучинский, Мих. Дынник, В. Егоршин, Н. Завадовский, Г. Зайдель, Я. Захер, Н. Зонштейдер, Л. Зильбершлаг, П. Новов, Ф. Кашелин, Ник. Карев, К. Кирилин, Е. Ковалевский, В. Колесников, К. Корнилов, А. Кон, Ст. Кривцов, Н. Куранов, М. Лесин, Н. Лещинер, Н. Лукин-Антонов, Н. Лунцол, А. Максимов, Дм. Мирецкий, акад. Н. Марр, А. Мендельсон, К. Миленов, В. Милютин, Я. Мирецкий, Ф. Михаловский, А. Михайлов, А. Мелин, С. Моисеев, А. Надеждин, В. Невский, Н. Орлов, К. Пашуканис, В. Невинов, В. Полянский, Н. Покровский, Н. Рахуновский, А. Реуель, Я. Розанов, М. Рубинштейн, Н. Рубинштейн, И. Рубин, Д. Рязанов, Н. Сапир, П. Сапожников, Вл. Сарабьянов, Н. Сартин, А. Серебровский, А. Слесинов, Вас. Слесинов, Л. Спокойный, Ю. Стеклов, А. Столяров, П. Стучка, Я. Стан, Ф. Толесников, А. Тимирязев, С. Томсинский, Г. Тышинский, А. Удальцов, И. Фурцин, Ю. Франкфурт, Ц. Фридлянд, В. Фриче, З. Цейтлин, Г. Шмидт и другие.

Адрес редакции: Москва, Тверская, 48. Тел. 4-84-21.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

Непринятые рукописи не возвращаются.